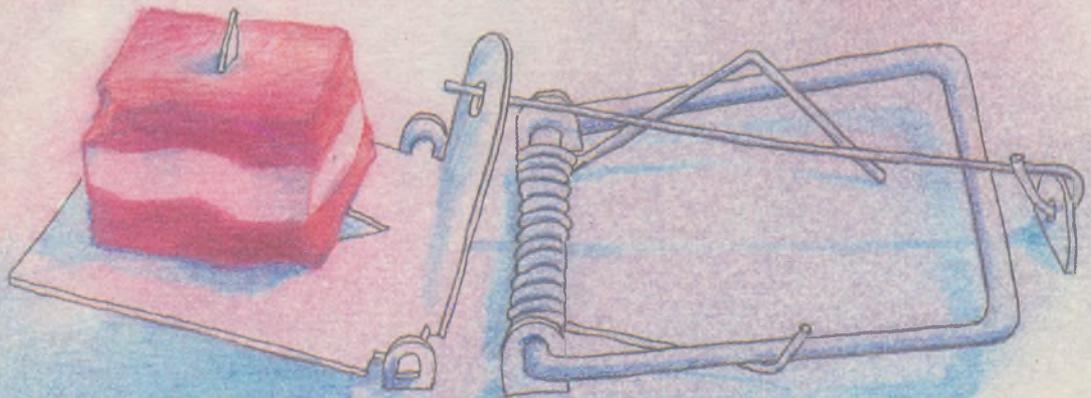


1990 № 11 (47)
НОЯБРЬ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЛАЙМА ЖИХАРЕ
ПАВЕЛ ЖУКОВ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЛЮДМИЛА ЗАДОРНОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР НОМЕРА

НОРМУНДС НАУМАНИС

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

Сдано в набор 9.09.90. Подписано в печать 26.10.90. Л-000053. Формат 60×90/8. Офсетная бумага № 1, 2. Офсетная печать. 10+0,5 усл. печ. л., 21,5 уч. л. отт., 14,7 уч.-изд. л. Тираж 140 000 [на латышском языке 87 000, на русском языке 53 000]. Номер заказа 1429. Цена 50 коп. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 226081, РИГА, БАЛАСТА ДАМБИС, 3. АБОНЕНТЫЙ ЯЩИК 35. ТЕЛЕФОНЫ: гл. редактор 224166; зам. гл. редактора 224100; отв. секретарь, техн. редактор 225654; редактор отделов прозы, поэзии, культуры, публицистики 229743; консультант прозы и поэзии 227208; художник 210030. Отпечатано в типографии Латвийского газетно-журнального издательства, 226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

ЛИТЕРАТУРА

Аншлавс Эглитис. «Портрет» (1)
Эдуардс Айварс. Стихи (13)
Илан Полоцк. «Истории, рассказанные самому себе» (14)
Владимир Кучерявкин. Стихи (20)
Игорь Яркевич. Рассказы (22)
Елена Файналова. Стихи (26)
Николай Кабанов. Стихи (27)
Григорий Акмолинский. Рассказы (28)

КУЛЬТУРА

Мейнард Оуэн Уильямс. «Латвия, дом латышей» (32)
Ежи Гротовский. «Ты — чей-то сын . . .» (40)
Игорь Клех. «Двадцать лет львовского витража» (45)
Юрис Стренга. «Don't Worry! Be Happy!» (48)

ПУБЛИЦИСТИКА

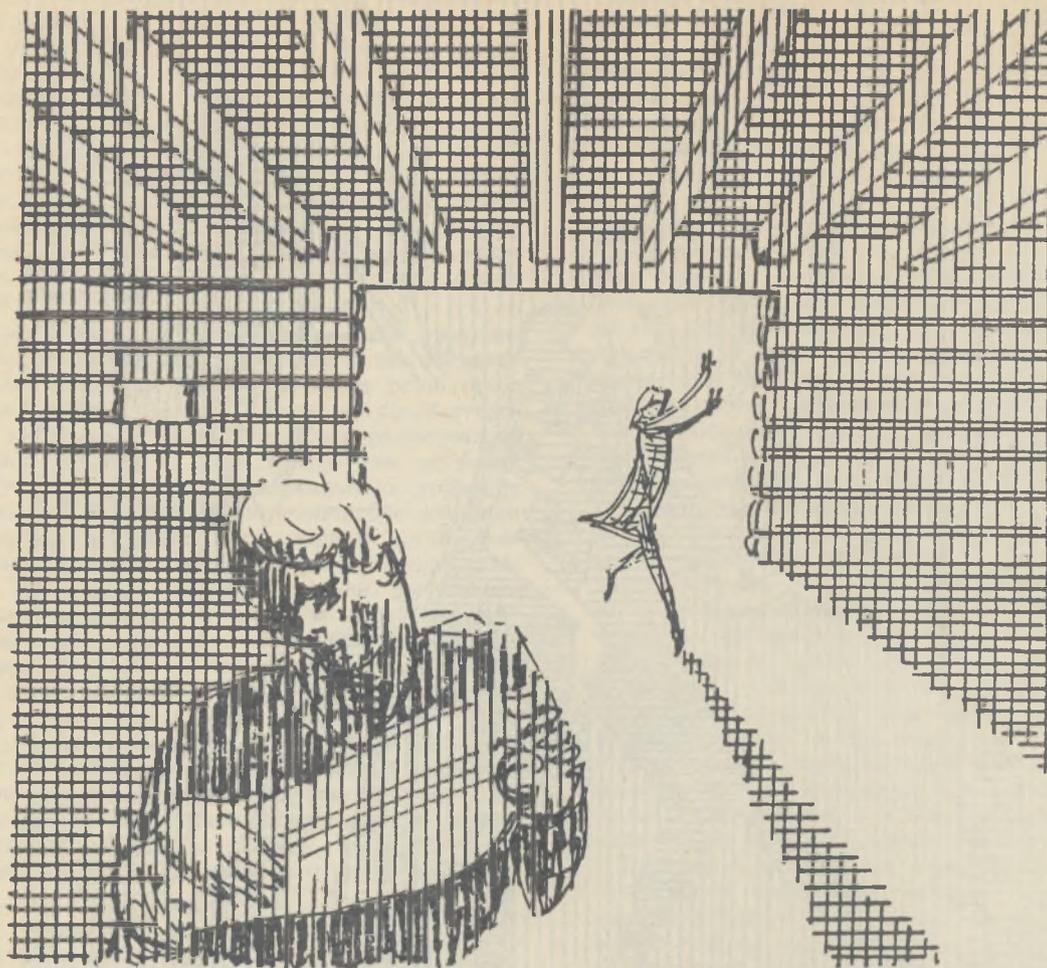
Екатерина Борцова.
«Я страдаю с вами . . .» (52)
С. Мамонтов. «Походы и кони» (55)
Эва Рубене. «Я лучше, чем можно представить» (66)

ЛИТЕРАТУРА

Лариса Ванеева. «Антигрех» (70)

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС СМ. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

АНШЛАВС ЭГЛИТИС



ПОРТРЕТ

Перевела ВИОЛА РУГАЙС

Зима только-только начиналась. Реденький слой снега вытертым фланелевым одеялом устилал лужайки бульваров. Серые, как старый мешок, тучи едва не цеплялись за дома, уныло палившие заплаканные глаза окон. Вознесшийся над городом шпиль Петровской церкви до половины скрывался в клубах тумана, уподобляясь столбу, подпирающему небесный шатер.

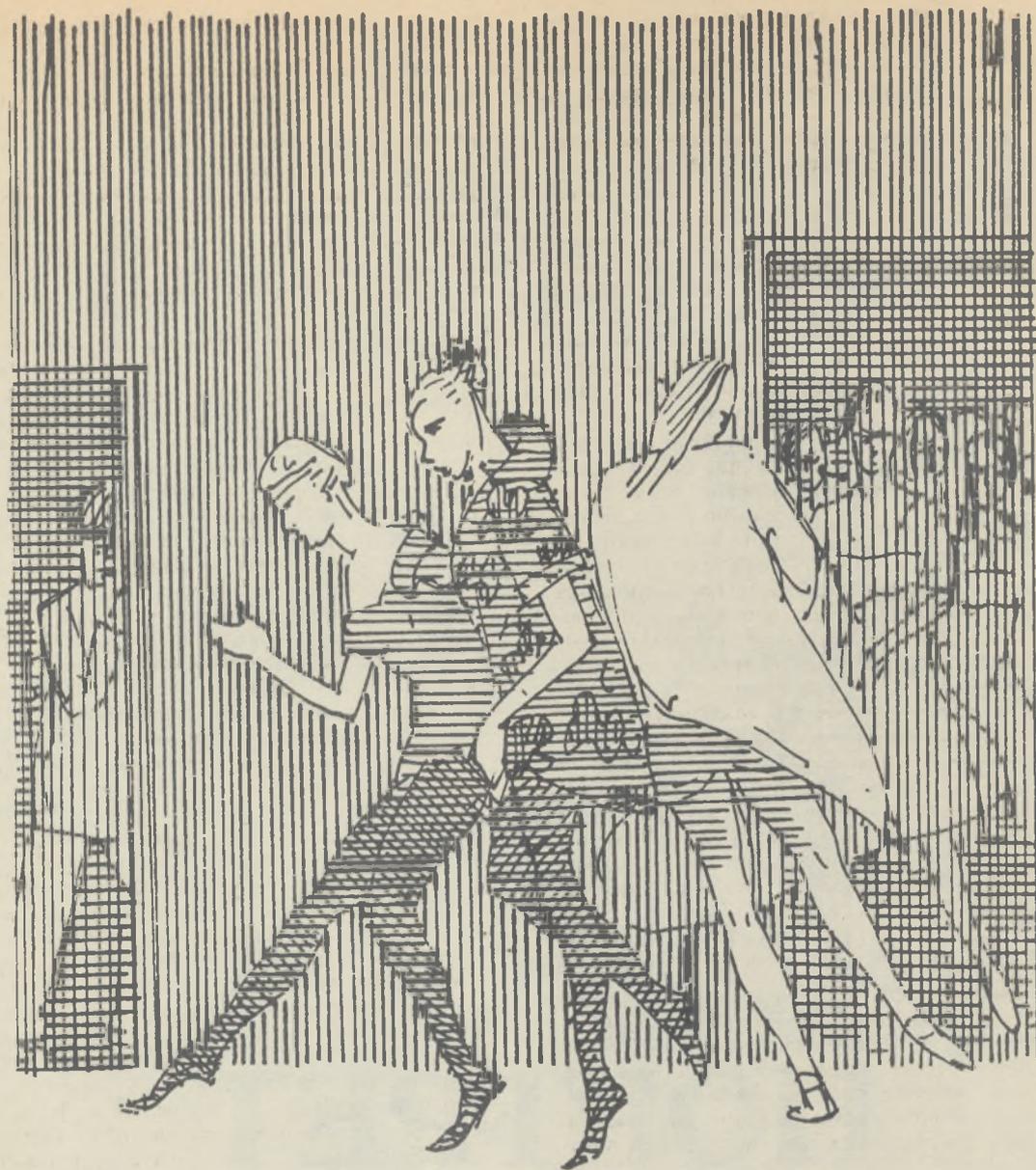
Улицы были по-воскресному пустынные, и потому-то Клав Райпал смело шагал через самый центр Риги, по улице Свободы и бульвару Райниса, хотя давно уже привык петлять закоулками, чтобы не сталкиваться со старыми знакомыми и не видеть сочувствия на их оторопелых лицах.

Клав шел, погруженный в раздумья. Мудрый и несчастный Эдгар По сказал когда-то: чтобы мужчина чувствовал себя счастливым, ему необходимы четыре вещи — здоровье, любимая женщина, цель и свободный от зависти ум.

У Клава не было ничего из вышеназванного, и он чувствовал себя несчастным. Здоровье стало сдавать. Вечно его преследовали хрип и кашель, кряхтенье и перхота, дерущие грудь и чертовски настырные; он быстро уставал, плохо спал по ночам, потел. Рука его стала до того холодной, вялой и тощей, что ее и пожать при встрече было противно. В свое время Клав сам презирал такие руки. — Любимая женщина? По лицу его скользнула полынно-

горькая усмешка. Нет больше таковой. Немало она помучилась, пока терчала вместе с Клавом в кабаках, оберегала от дурных приятелей и сносила самые желчные издевки и попреки, какими только может осыпать свою подругу художник, чья карьера трещит по всем швам. — Цель? Какая цель еще могла быть у него в жизни? — Свободный от зависти ум? Единственное, что оставалось у Клава, так это зависть, жаркая и обжигающая; она нежитью набрасывалась на него и душила всякий раз, стоило ему повстречать кого-то из прежних сотоварищей, преуспевших в жизни.

Клав замер. Прямо перед ним выросло белое здание с благородной колоннадой. Опера. Мавзолей его мечтаний. Медленно, по-стариковски шаркая, он добрел вдоль фасада до артистического входа, отступил немного и посмотрел вверх. Вот они, маленькие оконца под самой крышей — декорационная мастерская. Там Клав проработал целых пять лет. Не скоро, но уверенно он, тогда еще студент Академии художеств и самый младший во всей мастерской, выдвинулся в помощники декоратора; по эскизам мастера он строил макеты и руководил технической стороной постановки. У него были на диво сноровистая рука, верный глаз, молниеносная смекалка и размах настоящего декоратора, это признавался всеми. Еще бы чуть побольше выслуги, приходящего с годами навыка, опыта, назовите это как угодно, — нельзя же, в самом деле, вдруг доверить



Рисунки автора

постановку такому молодому человеку лишь на том основании, что он способен с ней справиться... Одним словом, самостоятельный дебют был не за горами. Сознывая свое превосходство, Клав в ту пору держался заносчиво, одевался смело, шегольски. Сперва над ним смеивались, потом стали ему подражать. И там же, в проходе, ведущем на сцену, он встретил девушку из кордебалета Инту, которой, согласно теории Эдгара По, суждено было стать вторым из четырех слагаемых мужского счастья. Сколько раз выходили они вместе через этот самый артистический подъезд! Мысленный взор Клава с нежностью скользнул по тоненькой, но упругой фигурке Инты, задержался на ее чуть раскосых китайских глазах, которые так мило щурились, когда она смеялась, на полных губах, всегда чуть-чуть вытянутых вперед, словно для поцелуя. Вот странно — даже теперь, сквозь обтерханное пальто, Клава кольнула давняя горячая боль, застарелая ревнивая ненависть к своим предшественникам, каковых, увы, немало у всякого поклонника красивой и легкомысленной танцовщицы из кордебалета. Но тогда все это забывалось, все прощалось само собой; любовь превратила порхающего мотылька в умную и серьезную девушку. А потом пошло: эта вечная работа по ночам, взбадривание себя водкой, которое частенько оборачивалось настоящими оргиями, эта проклятая богема, собутыльники-танцовщики, обреченные всю жизнь толочься в кордебалете, да выпивохи-декора-

торы, всю жизнь прозябающие в поденщиках у мастеров, эта злосчастная иллюзия, будто художнику положено изведать излишества, безумства и самое дно жизни... Ко всему прибавились еще постоянные лютые сквозняки декорационной мастерской, невыносимый смрад протухшего клея, густые, ядовитые клубы пыли, которые, подобно разноцветному облаку, всплывают над каждым куском холста от старых декораций, какого ни коснись. Все вместе взятое и подточило характер Клава, здоровье и карьеру. Из оперы пришлось уйти, начались скитания по провинциальным сценам; Клав заливал тоску в буфетах местных обществ, за кабацкой стойкой, и вот он тащится — исхудалый, обратившийся в тень, грязный, небритый, оборванный, и от него уже с самого утра в воскресенье разит перегаром. Клава душила смертная ненависть ко всему сущему, даже к своей бывшей подруге, которая так долго и отчаянно не отступалась от него еще и тогда, когда не осталось больше надежды воспрянуть к прежней жизни. Чем ниже опускался Клав и чем заметнее были успехи Инты, тем более грубым, безжалостным, колючим становился он в своей уязвленной гордыне. Последние месяцы прошли у них в постоянных ссорах; зачинщиком всегда был Клав. А в тот вечер, когда Инта впервые танцевала сольную партию — крохотную, но свою, — Клав не впустил ее к себе.

Клав отвернулся от белого здания и пошел дальше.

В какой-то мере этот путь отражал его карьеру — он направлялся из оперы туда, где жизнь выставляет напоказ нищету и отрепья. Миновал темные, сырые своды железнодорожного виадука, он вышел к большим складам, которые и в грязной извостковой побелке по-прежнему именовались Красными амбарами. Он не был одинок на широком дворе Центрального рынка. Людской поток, увлекая за собой, подсказывал, куда идти. По берегам человеческой реки через каждые двадцать шагов стояли шарманчики и с усталым или же рассеянным, во всяком случае, совершенно несообразным выражением лица вертели ручку своей музыкальной машины. Как странно — самые бодрые марши и веселые танцы, если сыграть их на шарманке, становятся удивительно тоскливыми, такими же тоскливыми, как понурая морская свинка, что сидит на музыкальном ящике в клетке, или обезьянка, которая зябнет даже в своей шутовской курточке и колпаке с бубенцами.

Между рядами амбаров открывались широкие проходы, в которых бурлил говор толпы. Но в толпе чувствовался и определенный порядок. Плотные людские реки текли в противоположных направлениях, каждая по своей стороне улицы, где прямо на булыжной мостовой разместились торгующие своей бедностью. Чего только там не было! Прейскурант этого огромного универсального торжища стоило бы издать в двадцати томах, наподобие энциклопедии. На грязных подстилках или попросту на булыжнике было разложено все, что только может принадлежать человеку в пору его взлетов и падений. Вы можете приобрести здесь искусственную ногу и воздушную балетную пачку, крахмальный воротничок пробста и длинные шпильки, какими закалывали волосы гризетки на рубеже веков. Вы найдете здесь лакейскую ливрею и орден министра, шприц морфиниста и обручальное кольцо с сердечками и голубками, грациозную фарфоровую маркизочку рядом со старыми деревянными башмаками. Все, что заставила отдать нужда, что попало в чужие или неумелые руки, что украдено, найдено, откопано на чердаках, сейчас лежало вдоль прохода темными, грязными грядками, словно морской сор, вынесенный на берег житейской бурей.

Толпа между двумя потоками была менее густой, и в ней снова люди, старавшиеся сбыть какую-то одну или несколько вещей поценнее — новые или, по крайней мере, до блеска начищенные сапоги, висящие в связке на плече, пальто, вывернутое лоснящейся подкладкой наружу и перекинутое через руку, сомнительного свойства золотые часы, которые продавец придерживал за цепочку, пока покупатель их рассматривал.

Не одна только голытьба заполняла торг. Здесь толклись еще и антиквары, новоиспеченные богачи, художники, замные фантазеры, надеющиеся среди отбросов найти сокровище. Каждый из этих кладоискателей мог рассказать тысячу легенд о том, как в безнадежной свалке истрепанных бульварных романов обнаружился потерявший томик в переплете подлинного французского стиля — фанфарного или веерного; как из кучи оббитой посуды и черепков удавалось выудить сахарницу — настоящий Вэджвуд, голландский фаянсовый кувшин или бокал богемского стекла; как среди мебельного лома и рухляди были откопаны изделия Чиппендейла, Шпиндлера, и то и наших отечественных краснодеревщиков из Бауски. находку затем реставрируют, полируют, показывают родным и знакомым, а иногда — перепродают дальше, и зачастую не приходится долго ждать, как вещь, пройдя через многие руки, снова плавно осядет в горах черепков и тряпья возле Красных амбаров, вполне возможно, чтобы опять пуститься в чудесное путешествие, подобно капле воды, возвращающейся из лужи в облака. Но счастливые находки так же редки, как выигрыш в лотерею или на ипподроме; страстные завсегдатаи барахолки по духу родственны игрокам — все они мечтают сорвать большой куш, который вовек не дается в руки. Захаживал сюда и Клав с тайной, но, увы, напрасной надеждой за бросовые деньги подцепить что-нибудь ценное. Даже сейчас, явившись по вполне определенной и неотложной надобности, он жадно

ощупывал глазами груды вещей. Однако на этот раз в них сквозила бедность.

Клав свернул за дощатую ограду, туда, где шла профессиональная мелочная торговля. Там теснились лавчонки готового платья и обуви. Каким-то особым, дешевым и противным глянецом отмечены вещи мелочного рынка, хотя доставлены сюда прямо от портного. В них еще долго держится запах бедности, затхлости однокомнатной квартиры с окраины, где их шил и уютжил нищий портной. И шил-то, заузив, обкорнав, выгадывая каждый клочок материи. Обувь же, казалось, блестит не оттого, что новая, а лишь оттого, что начищена. Это самый неинтересный уголок рынка.

Дальше следуют мебельщики: громоздятся целые пирамиды оббитых этажерок, облезлых шкафов, шатких столов, драных диванов-клоповников — продавленные сиденья их такие же бугристые, как булыжная мостовая, на которой они стоят. Над всем этим великолепием обшарпанной полировки, покореженной фанеры и выкрошенной деревянной резьбы ослепительно блистают зеркала всех форм и видов и отражают светлый божий мир в своих поцарапанных, пятнистых и волнистых стеклах так же косо, криво и нелепо, как пищащая братия — прекрасодушные мечтатели — в своих творениях.

Вплотную к мебельщикам жались лавки с металлическим ломом. Клав вот уже целый год не брался за кисти, но сейчас невольно остановился перед небольшим магазинчиком, доверху забитым латунными, медными, бронзовыми и никелированными поделками. Все оттенки патины и прочих застарелых налетов — от черной прозелени болотной тины до серого, как моль, ярко-зеленого, как ликер, и желтого, как порошок от тараканов, — переливались перед ним, словно на знаменитых полотнах с закатами Моне или Сислея, а еще верней — словно в осенней роще. Рядом лепились одна к другой лавки, торгующие старым железом, точнее — ржавью; здесь гамма красок уже не была столь обширна — всего лишь от цвета запекшейся крови до рыжего зарева волос на голове плута.

Наконец Клав вошел в скрытый за выщербленным позеленевшим кирпичным забором собственно старинный мелочной торг, или блошинный рынок, как он именовался в народе. Просторный двор был сплошь завален невероятно изношенным и грязным рваньем и хламом. Здесь тянулись длинной чередой совершенно истлевшие, превратившиеся в месиво шубы, одеяла, белье, туфли, сапоги, опорки. Местами поднимались составленные шалашиком решетки, на которых, подобно дочерна сгнившим фруктам, целыми гроздьями висели старые башмаки, мало-мальски залатанные, подбитые, щедро смазанные ворванью, с трещинами, заглаженными сапожным варом.

Сюда-то Клав и направлялся. Засунув руки в дырявые карманы, он ходил, вытягивая шею над поднятым воротником, и исподлобья разглядывал башмаки. В ладони у него грелся серебряный пятилатовик, сегодня непременно нужно было купить обувь. Старые башмаки годились, правду сказать, только для сухой погоды: сношенные подметки давно уже были заменены в них старыми газетами, которые приходилось каждый день тщательно закреплять. В сырость он оказывался все равно что босиком. Да и верх у башмаков напоминал скорее кружево, чем кожу, и если на ногах не случилось носков, то вид они имели весьма неприглядный.

Клав отцепил от решетки пару солдатских «танков», которые, наверное, стащил и продал какой-нибудь сверхсрочник. Подметки их являли собой мозаику, искусно сбитую из всевозможных мелких обрезков кожи и резины. Верх казался целым, но стоило хорошенько надавить на него большим пальцем, как залеplенные варом трещины в полуистлевшей коже открылись, и ботинок заулыбался, словно дряхлое морщинистое лицо. И все же по сравнению с теми, что у него на ногах, эти ботинки были хоть куда; Клав принялся торговаться.

Торг не задался. Когда цена упала до пяти латов, Клаву пришло в голову, что новые ботинки следовало бы обмыть, и он снова стал сбивать цену, чтобы выгадать на чекушку.

Так он, стена и сетуя, обошел едва ли не всех обувщиков, приценился к доброй сотне пар, но всякий раз, когда нужно было расстаться с последними пятью латами, сердце его болезненно сжималось: неужто нынче, а то и завтра весь день нечем будет промочить горло? Со стыдом и грустью он понемногу стал осознавать, что и на этот раз вернется домой в тех же самых старых башмаках, в которых безбожно мерзнут ноги. Жалобно наморщив лоб, Клав топтался на одном месте и озирался вокруг. Трактир был неподалеку... Но тут его взгляд задержался на ворохе старых клеенок. Среди них, видно, благодаря своей гладкой, лаковой поверхности, замешалась какая-то картина — небольшое покоробленное полотно, без подрамника, скрутившееся, как береста. Клав подошел и пнул его остатками своего башмака.

— Ну, ты, лопоухий, не пинай ногами добро! — крикнула на него торговка, баба необъятной толщины, в такой же пестрой, как куча клееночных лоскутьев, одежде. Клав ничего не слышал. Он смотрел на потрескавшуюся, заляпанную грязью картину. Среди пятен едва проступали благородные очертания лба, частью уже осыпавшегося, под ним — живые глаза, глядевшие прямо на зрителя. Клаву был хорошо знаком этот трюк живописцев, блистательно использованный лукавым Леонардо в портрете Моны Лизы; особым образом выписанные глаза все время словно следят за тем, кто смотрит на картину. Конечно, не это привлекло Клава, а страстное, исполненное достоинства, пронизательное выражение глаз и лица. Так мог глядеть лишь человек, который познал жизнь, принял ее со всем добрым и злым в ней, ничего больше не страшится, и потому почти все ему под силу.

— Сколько стоит картина? — неожиданно для себя, твердо и уверенно спросил Клав.

— Пять латов, — насмешливо бросила баба, смерив взглядом обносившегося покупателя.

Клав прикусил губу. Издевка толстухи его уколола. Тут уже речь шла об искусстве и художнике. Он разжал ладонь и с небрежностью денди швырнул бабе свой пятилатовик. Старуха, опешив и немного застыдившись непомерно заломленной цены, вытащила из кучи тряпья и протянула Клаву распавшийся на четыре части некогда очень богатый багет, который был до того источен жучком и гнилью, что грозил тотчас рассыпаться в руках, словно торф.

Проклиная свою опрометчивость, Клав завернул остатки рамы в полотно, сунул покупку под мышку и поспешил прочь. Скорей отсюда, подальше от барахолки — хоть и ничего больше не купишь, без денег тут слоняться неприятно. Да и ноги мерзнут, спасу нет.

Спустя полчаса Клав уже был в своем подвале на Вороньей улице. Жилище вполне отвечало его нынешнему общественному положению и платью. Это был склад пиломатериалов при захудалой столярной мастерской; окном здесь служила заложенная стеклом щель. Вдоль стены, впритык один к другому, стояли два топчана; у второй стены поднимались метровой ширины полки со стопами мебельной фанеры. Под самым потолком сохли тесно уложенные доски и брусья. Земляной пол покрыт толстым слоем опилок и стружек. На складе ютился еще один подмастерье, тоже не дурак выпить, как и сам Клав.

Настроение было препакостное. Никогда еще, даже в минуты самых крупных своих промахов, обычно вызванных пьяным небрежением, Клав не презирал себя так, как сейчас. Каким же надо быть мозгляком, слюняем, чтобы пойти за башмаками, а купить — даже не водку, что еще можно понять и при случае оправдать, но — старую картину! Он в сердцах шваркнул свое приобретение на стопу фанеры, затем, не раздеваясь, потому что в подвале было холодно, завалился на свой топчан и погрузился в мрачные мысли.

Спустя какое-то время он желчно покосился на покупку. Свиток слегка развернулся, и снова прямо на него с портрета уставился тревожащий самоуверенный взгляд. Клав поднялся, схватил полотно и подошел к оконцу,

которое было до того сальное и засиженное мухами, что казалось матовым.

Картина, похоже, сравнительно новая — произведение конца прошлого века, — но очень уж грязная, мало что можно различить.

Шурша стружками, Клав прошел в мастерскую, настоящие джунгли полуготовой мебели. Добела отшлифованные и отфанерованные, зажатые в прессы узлы и детали предметов комнатного убранства не только сплетались, змеились и тянулись по всем углам и стенам, но и висели под потолком. Подобно праху вечности, все здесь покрывал воздушно-легкий слой тончайшей древесной муки.

Клав растопил стружками печурку, вскипятил воду, а затем взял мягкую тряпицу, немного мыла, скипидара и начал очень осторожно очищать полотно от толстого слоя грязи. Спустя час картина уже играла на свету. Темными оставались лишь глубокие борозды, оставленные в слое краски жесткой щетиной кисти, но это даже подчеркивало энергию письма. Клав вымыл и раму — под покровом грязи обнажилась затейливая деревянная резьба с сохранившейся во многих местах настоящей старой зеркальной позолотой. Инструменты и клей были под рукой, и Клаву не составило труда починить раму, разгладив холст, натянуть его на кусок фанеры и закрепить в багете. Клав поставил картину на свет и немного отступил от нее.

Это было творение не просто умелой, но виртуозной и вдохновенной руки. Никаких мелочей. Несколькими точными мазками обозначены благородный высокий лоб, утонувший в тени, но оттого еще более выразительные глаза, твердый нос и буроватая тень под ним, несимметричные, тонкие, энергичного рисунка губы. Ослепительно белый старомодный воротничок красиво оттенял смуглое лицо и подчеркивал изысканность неброского костюма в тонах темного пива. Смелое, мастерское письмо художника вполне отвечало властной, непринужденной позе молодого мужчины и его пылкому, волнующему взгляду.

Клава охватило смятение. Не много встречал он столь впечатляющих, проникновенных портретов. В свое время он, как и все, кто прошел через ученичество в живописи, восторгался безумной экспрессией или жгучим холодом отрешенности в автопортретах Рембрандта, неповторимым, сдержанным благородством образов Тициана, сладостной истомой юношей Джорджоне, экзотической духовностью грандов Эль Греко, но этот неизвестный мастер не восхищал его, а прямо-таки забирал за живое.

Клав смотрел не отрывая глаз. Суховатое, жесткое лицо, исполненные жаждой действия черты, небрежная, раскопанная, однако не лишенная непринужденной элегантности поза — это же он сам, во всяком случае, его идеал, воплощение старых добрых деятельных порывов — свободный, уверенный в себе человек-победитель. Бедняга Клав грязными пальцами тербил воротничок своей заношенной темно-синей рубахи, еле удерживаясь от слез.

Подойдя к незаконченному туалетному столику, на котором уже было укреплено большое круглое зеркало, Клав долго мрачно вглядывался в стекло; навстречу пялилась обрюзгая, поросшая щетиной, рано состарившаяся физиономия пропойцы. Клав одернул пиджак, откинул голову, пытаясь придать лицу гордое, уверенное, победительное выражение, однако вымучил лишь смешную гримасу.

Он достал бритву, широкой клеевой кистью взбил в пену ту же марсельскую смесь, которой чистил картину, побрился и хорошенько умылся. И снова стал перед зеркалом. В самом деле, сейчас в нем отразилось хотя и болезненно бледное, но остро очерченное интеллигентное лицо.

Пока Клав изучал себя и картину, опустились сумерки. Громко хлопнув дверью, в мастерскую ввалился сосед Клава, необычайно высокий, сухой и плоский человек со странной, какой-то скособоченной походкой — плечом вперед, словно он постоянно протискивался в щель. Вся его фигура напоминала огромный крюк — плечи высоко вздернуты, голова наклонена набок, а огромный серповидный нос глядел строго по вертикали вниз, словно примериваясь, куда бы клонуть. Лицо у этого немолодого уже человека при-

обрело цвет орехово-коричневой морилки, которая, казалось, продубила кожу до самых мышц. Тонкий, зато выдающийся далеко вперед нос книзу от переносицы становился все темнее, достигая на самом кончике такого глубокого, густо-лилового оттенка, какой образуется лишь от водки, употребляемой повседневно и многолетно. На редкость длинные руки болтались по бокам, будто вальки на постромках, а красные, с мороза, пальцы были большие, корявые, грязные, как только что выдернутые из земли морковины. Он был одет в синюю робу и потертый нагольный полушубок.

Проскочив до середины мастерской, он оторопело замер перед Клавом и, пошатываясь, еще долго хлопал глазами.

— Фу-ты ну-ты ножки гнуты! — продребезжал он, будто проехал на кованых колесах по булыжнику. — Святую субботу себе устроил, что ли? Ишь, какой бритый да гладкий. Уж не к бабе ли собрался? И то мастер знай дивится, как это ты — молодой человек и безо всякого интереса до женского пола. А это что еще за башибузук? — спросил он, заметив картину. — Чегой-то у него нос расквашен?

— Не мели ерунды, не видишь — тень под носом.
— Скажешь тоже — тень, красное же. Где взял-то?
— Купил.

— Так я тебе и поверил. Тогда это твоя первая покупка за год, если не считать водки... Пстой, да ведь ты поутру шел башмаки покупать. Ну давай, показывай. Эге, да на ногах-то старые! Стало быть, пропил денежки?

— Картину купил, сказал же.

— Да что ты, картину?! — долговязый с грохотом повалился на скелет будущего дивана и начал взвизгивать, что означало — он смеется. — Нет, ты, точно, выжил из ума. Куда она тебе, на подметки? А что, материя вроде крепкая и краски на ней густо положено.

Он потянулся кривым пальцем с корявым, невероятно черным ногтем, чтобы пощупать верх картины.

— Не тронь! Поцарапаешь, — сердито одернул его Клав.

— Скажи на милость, собиратель сокровищ, — пробурчал длинный, затем вытащил из кармана початую бутылку, отхлебнул из нее сам и предложил Клаву. Дружески распив водку, они напекли в углях картошки, достали хлеб и молча поужинали. Клав, наморщив лоб, все время думал о чем-то, поглядывая на приятеля.

— Густ, дружище, завтра ты одолжишь мне свои ботинки, — внезапно проговорил он.

— Держи карман шире! Нечего было тратить деньги на всякие финтифлюшки! Ничего, босиком побегаешь. Глянь, вон они, ботиночки! — Густ вытянул тощие ноги-оглобли и со стуком сдвинул огромные, смазанные ворванью танки. — Картинка! Только тебе, парень, их не носить.

— Завтра они мне будут нужны, — спокойно возразил Клав, прошел в склад и начал устраиваться на ночь. Картину он взял с собой и поставил так, чтобы можно было глядеть на нее лежа. В сумерках картина казалась еще более загадочной, изображенных на ней человек — еще более властным и аристократичным.

2

Как обычно, Клава разбудил стук молотков и свирепое завывание циркулярной пилы. Едва открыв глаза, он впился взглядом в картину и добрую четверть часа рассматривал ее. Затем бодро вскочил с топчана и стал проворно собираться. Умывшись и причесавшись, он как мог вычистил свой костюм, тщательно обрезал свисавшие по краям брюк махры и с полчаса бился над своим, некогда дорогим, галстуком, сясья завязать его так, чтобы не видно было рвани и пятен.

Одевшись, он прошел в мастерскую. От резкого электрического света, падающего на чистые белые доски и фанеру, заболели глаза. Воздух, точно на мельнице, был полон мелкой белой пылью, в которой призраками двигались пятеро рабочих. Клав подошел к верстаку Густа, взглянул на его брови — пыль на них осела горой.

— Ну, давай сюда ботинки, — сказал он, словно напоминая об уговоре.

— Да пошел ты... — огрызнулся Густ, злой, как и всякий пьяница поутру.

— Снимай, быстро снимай, в носках походишь. Мои тебе будут тесноваты.

— Ты уберешься отсюда или нет?! Стоит над душой, канючит, — заорал Густ, и остальные начали оглядываться на них. Но тут Густ посмотрел Клаву в лицо и осекся — перед ним был совсем другой человек: уверенный в себе, спокойный, дружелюбный и в то же время повелевающий.

— Вот навязался на мою голову, — захныкал Густ. — Не дай бог, пропнешь, что я тогда стану делать? И куда тебе приспичило бежать?

— Не тяни время, быстро скидывай, — торопил его Клав.

Густ еще выбранился, стянул танки и швырнул Клаву. Тот поднял их, понюхал и скривился.

— Опять намазал тухлятиной. Ходи теперь в таких.

— Видали? — пожаловался Густ приятелям. — Снял с друга последнее, да еще хаёт.

Обувшись, Клав по узкой лестнице взбежал в тесную конторку к мастеру. Невысокий ростом, мастер был угловатый, литой, как чугунная чушка, и почти неподвижный. Он тяжело навалился на некрашенный стол и что-то читал в своем гробсбухе, запустив в его листы все десять неуклюжих пальцев; на одном из них недосчитывалось фаланги. Он еле заметно повел головой в сторону вошедшего и хмуро взглянул на него.

— Доброе утро, мастер! — начал Клав. — Неужто вам не холодно? Я много моложе вас, но тут без пальто никак бы не усидел.

— Ну, твое пальто я бы тоже не снимал, а хорошую вещь таскать жалко.

— Да, суконце на вашем превосходное. И знаете, с синим бархатным воротником вы прямо как барин.

— Ишь ты, и воротник приметил! — рассмеялся мастер. — Только он не синего, а черного бархата.

— А нет, мастер. Вы же помните, я прежде имел дело с красками и уж в чем-чем, а в цветах разбираюсь; синий, особенно при электрическом свете, выглядит почти черным.

— Побьемся об заклад?

— Идет! На бутылку пива. Пошлите Густа, пусть при- тащит.

Мастер подошел к шкафу и вынул пальто, бережно расправленное на плечиках.

— Ну, маляр, — воскликнул он, — раскошеливайся!

— Чтоб мне лопнуть, и правда черный, — проговорил Клав, нежно поглаживая воротник. — Послушайте, мастер, у меня к вам большая просьба.

Усмешка на лице мастера мгновенно сменилась кислой гримасой.

— Одолжите мне ваше пальто до обеда.

Мастер вздрогнул, как ужаленный.

— Пальто? Год всего ношено! Ну и загнул! Бредишь, что ли? За койку месяцами не платишь, работник из тебя тоже никакой, ладно если в мастерской подметешь или бейцовой по доске пройдешься. Из жалости только и держу тебя, а ты вон чего удумал — пальто...

— Мастер, вы добрый человек и потому пальто мне дадите. У меня мать-старушка больная. Сейчас ей совсем невмоготу. Неужто я посмею навеститься к ней таким оборванцем и вконец разбить ее старое сердце? Густ уже уступил мне свои танки.

— О матери ты поди расскажи псу в подворотне. Вот уж не думал, что ты такой прохвост. Нет, нет, на пропой я пальто не отдам.

— Мастер, неужели я, по-вашему, круглый дурак? Да захоти я выманить у вас вещь, разве стал бы о большой матери рассказывать? Я бы втолковал вам, что иду получить какие-то деньги, наследство там или долг, и пообещал бы всем выставить угощение. Вот тогда бы вы мне поверили. Известное дело — скажешь правду, никто не верит. Будто у пьяницы и забулдыги и матери быть не может.

— Ну так одолжи у Густа, — возразил мастер, уже несколько смягчившись.

— У Густа шуба овчиной воняет, а ваше-то пальто — и сухо прекрасное, черное, и воротник бархатный. Старушка порадуется — вот какой удачливый у меня сынок!

— Эх, леший тебя забодай! — сплюнул мастер. — Но смотри, чтобы к двенадцати был на месте! Не то — попомни мое слово — в полицию сдам.

Когда Клав, обрядившись в заветное пальто, вошел в мастерскую, работники даже рты пораскрывали. У двери, ведущей на склад, висела верхняя одежда подмастерьев. Из одного кармана торчал приличный с виду шарф, пестрый с черным. Клав вытащил его.

— Слышь, — сказал он, — раз уж сам мастер мне пальто доверил, так и ты. Яшка, шарфа не пожалей.

Не дожидаясь ответа, он обернул шарфом шею и исчез за дверью склада. Подмастерья только руками развели.

Какое-то время Клав в упор разглядывал портрет, затем решительно вышел вон.

Он направлялся той же дорогой, что и вчера, но на сей раз не таялся, как дохляк или старикашка, а четко печатал шаг. Сегодня примораживало сильнее, и солнце то и дело высывалось в окна между тучами, чтобы оглядеть с высоты столичный город Ригу. Когда Клав приблизился к белому зданию оперы, оно так ослепительно сияло под ярким солнцем, что путник невольно остановился. Здесь, перед огромным нарядным зданием, Клав впервые за все утро ощутил сомнение в успехе задуманного предприятия. Он казался себе опустошенным. Клав слотнул слюну и, сжавшись в комок, озирался вокруг, словно ожидая помощи. Погоди-ка, что там, на той стороне улицы? Словно берег родины, оттуда приветливо звал к себе погребок гостиницы «Рим». Одну рюмашку — и все снова станет хорошо.

Он чуть ли не бегом вбежал в погребок. Густой, теплый, напоенный пряными ароматами воздух ресторана принял его в объятия, как всепрощающий отец блудного сына.

— Рюмочку курземской! — бросил Клав, оттаявший до глубины души.

Человек за стойкой налил. Клав протянул руку и — дал ей безвольно упасть: у него ведь не было ни сантима денег. Так они и стояли лицом к лицу — водка в стройной, слегка запотевшей рюмке, чистая, прохладная и влекущая, как невеста, и Клав, сникший, дрожащий, мяклый, точно воздушный шарик наутро после карнавала.

— Будь что будет, — прошептал Клав и, схватив трясушейся рукой рюмку, опрокинул ее в рот, словно свиной шарик метнул.

В большом буфетном зеркале напротив он мог наблюдать за чудесными превращениями собственного «я». Глаза вспыхнули, лицо порозовело, оживились его черты, расправились вялые складки — шарик снова мог взлететь. И полетел. Несмотря на ранний час, ресторан был достаточно полон. Обождав, пока буфетчик не прошел на другой конец длинной стойки, Клав тихо выскользнул из погребка. Выпятив грудь, сдвинув шляпу на глаза, он размашисто зашагал прямо к артистическому подъезду оперы.

Заметив швейцара, торчащего в стеклянной клетке за дверью, Клав подбросил палец к полям шляпы и осведомился:

— Что, директор пришел?

— Да, но... он сейчас занят! — крикнул вдогонку швейцар, а Клав уже свернул в проход, коротко постучал в дверь кабинета и вошел.

У директора как раз сидел композитор Клотынь, автор нового балета «Играл я, плясал»¹, недавно перебрывшийся в Ригу из лиепайской оперы. Это был еще нестарый человек, склонный к полноте, в очках, с лицом широким, благодушным и желтым, словно круг сыра, при этом черты его были такие же мелкие, неправильные и кроткие, как дырки в сыре. Директор же, сухой, прямой и острый, как

нож, сидел напротив, и оба, насколько можно было судить, о чем-то ожесточенно спорили.

— Прекрасно, что я застал вас обоих вместе! — с развязностью сухого висельника воскликнул Клав и протянул руку — нарочно сперва композитору и лишь потом директору. — Мне кажется, третий на сей раз не лишний — кто будет писать декорации к новому балету?

— Я рад, господин Райпал, снова видеть вас, так сказать, вставшим на ноги, — с холодной язвительностью произнес директор. — Мы действительно в данный момент обсуждали вопрос о декораторе и решаем, кого предпочесть — Посу или Мачерниака.

— Ни тот, ни другой не годятся, — уверенно возразил Райпал. — Поса, в сущности, способен лишь разрисовывать почтовые карточки, ему милы плакучие ивы, залитые солнцем роши, кусты сирени и цветочные павильоны. Он выпишет вам каждую мелочь и сделает декорации яркие, как переводные картинки. Вы только вообразите себе жуткую сцену с мертвецом из нового балета «Играл я, плясал» на обихоженном к родительской субботе кладбище с желтенькими свежими дорожками и мило убранными моголками...

Композитор беспокойно заерзал на стуле.

— А Мачерниак, — продолжал Клав, — это салонный живописец. Его декорации будут грандиозны и элегантны; деревенский дом обретет островерхую крышу, как первоклассный ресторан в стиле китайской пагоды, печь в овине и кузница будут напоминать каминны в замках французских сеньоров, а склеп — индийскую гробницу. Дайте Посе оформить детскую сказку «Мальчик-с-пальчик», а Мачерниаку — оперетту, только не подпускайте их к трагическому балету, к старинному народному преданию.

— А что, господин Райпал, кажется, прав, — встревоженно проговорил Клотынь.

— Что ж, пригласим самого профессора Цауркална, — сказал директор.

— Цауркална! — воскликнул Клав и громко расхохотался. — Вот так находка! Уж лучше сразу закажите декорации какому-нибудь архитектору или археологу. Славная получилась бы штука — грозные ритмы Клотыня на фоне реконструкций правления по охране памятников!

— А кого же предлагаете вы? — резко бросил директор.

— Откровенно говоря, я не нахожу никого лучше Райпала. Этот балет, с его глубоко латышской основой, следовало бы превратить в столь же значительный спектакль, каким в свое время был «Индулис и Ария»¹, когда декорации Куги всем нам на десятки лет внушили представление о древних замках латышей. В этом балете собрано все, что было страшного, темного, дремучего, коварного в памяти нашего народа; тут за каждым углом подстерегают злые силы — колдун, ведьма, оборотень, дракон, тень мертвеца, — и светлый народный разум борется со всей этой нечистью. Здесь надо показать тихий оwin, который широко и дремотно расселся на холме за вашим отцовским домом, дыша вековой копотью и растущим вокруг любистоком; в его темное и прохладное гумно вы побайвались входить не только в ребяческом возрасте. Здесь нужен тот тенистый кладбищенский взгорок, что стоит у дороги за вашим выгоном, поросший подмаренником и польнонь, мелким березничком и кленами. Каменная ограда совсем утонула в земле, а где были ворота, теперь лишь полуобрушенные столбы с трухлявой перекладиной, на которой еще держится черепица. Обомшелые кресты скрываются в высокой траве, все вместе это ничуть не похоже на кладбище, однако стоит вам войти туда, и кажется — даже птицы умолкают, замирает ветер, а уж прогуляться там ночью у вас и вовсе не хватит духу.

Клотынь простер руки к директору.

— Вот, честное слово, — мне кажется, я сам все это говорю! — воскликнул он. — Когда я писал музыку для этих сцен, нарочно поехал на хутор к отцу и обежал все заветные места. Ей-богу, дадим Райпалу попробовать силы.

¹ Литературная основа вымышленного автором балета — пьеса Я. Райниса под тем же названием. (Прим. перев.)

Директор испытующе посмотрел на Клава. Спокойный и уверенный, тот ответил ему гордым, смелым взглядом, как человек, ни на миг не сомневающийся в успехе. Льющийся из высокого окна свет подчеркивал исполненные энергии черты его сухощавого лица. На губы от носа легла темная тень. Будто на картине, подумал директор. Что, если его дела обстоят не так плохо, как люди говорят. Вот уже три года, как он ушел из оперы. Может быть, человек много повидал, пережил, возмужал. Одет старомодно, однако прилично. Взгляд директора медленно опустился к ногам Клава, к старым, уродливым, тускло освещаемым ворванью Густовым танкам. Они шевельнулись, будто пытаются спрятаться. Брови директора презрительно поползли вверх.

— Господин Райпал, — словно взвешивая что-то про себя, проговорил он. — Немало художников переходит из столицы на провинциальную сцену, однако очень редко удается кому-либо снова вернуться сюда. Я что-то не припомню ни одного такого случая за последнее время.

— Хорошие постановки тоже чрезвычайно редки. Я что-то не припомню ничего выдающегося за последний год, — бросил Клава с той вызывающей усмешкой, благодаря которой он три года назад нажил в опере не одного врага.

Директор молчал. Самоуверенные слова Клава заделали его, но в то же время и заинтриговали. Немало известных художников месяцами обивали порог его кабинета, чтобы выклянчить себе постановку, а этот бродяга, люмпен, является и требует заказ, словно нечто давно обещанное. А взгляд-то, взгляд — просто возмутительно самоуверенный.

— Даю вам два дня времени — сделайте эскизы к нескольким картинам, вот тогда и поговорим, — заключил директор и поднялся. Клотынь сердечно пожал Райпалу руку и, полубюняв его за плечи, проводил до двери. Он и сам охотно прикладывался к рюмке — известно, рыбак рыбака видит издалека.

Выйдя в вестибюль, Клава остановился в задумчивости. Первый ход он выиграл. «Эскизы к нескольким картинам...» А у него нет ни красок, ни кистей, ни холста, ни бумаги. Что делать? Таких близких друзей среди художников, кто допустил бы его к себе в мастерскую и к своим материалам, у него тоже нет. Не заложить ли и впрямь пальто мастера? Нет, не годится... В это время из прохода на сцену выпорхнули в реюющих цветастых халатиках поверх черного тренировочного трико балерины, спешившие на завтрак в буфет. С ними была Инта. Заметив Клава, Инта на миг остановилась, слегка порозовела, но отвернулась и прошла мимо. Пролетело три года с тех пор, как она последний раз стучалась в дверь его мансарды.

— Инта, — вполголоса окликнул ее Клава.

Она снова остановилась, не глядя на Клава. Тот сглотнул слюну и отважно вымучил:

— Ты не можешь одолжить мне десять латов?

Жалость и что-то похожее на брезгливость читались на лице Инты. Вот вам и гордец Клава Райпал, который когда-то даже в нищете держался невыносимо надменно.

— Обожди, — выдохнула она и исчезла в проходе, ведущем на сцену и в гримерные. Клава ждал. Швейцар с издевкой смотрел на него из стеклянной клетки.

Минуту спустя она вернулась, молча протянула деньги и спустилась в буфет.

Клава отер пот, весь дрожа от стыда и унижения. Затем, глубоко набрав воздуха, вышел вон.

Бегом, словно за ним гнались, он ворвался в погребок «Рима».

— Я, кажется, забыл вам заплатить прошлый раз, — сказал он буфетчику, помахивая десятилатовой бумажкой, — пожалуйста, налейте еще одну.

Единым духом осушив рюмку, он немного пришел в себя.

Да, Инта очень переменялась. Пополнела, держится с достоинством, уже не та бойкая, заносчивая девчонка, которая ни на минуту не позволяла забыть, что она — слабое создание: то играет своими китайскими глазками, то капризно надует губки, словно требуя, чтобы перед ней повинились. Даже походка у теперешней Инты стала дру-

гая — спокойная, властная. А почему бы и нет? Она в театре на первых ролях, и критика ее балует. А он кланчит деньги.

— Буфетчик, еще одну!

Он пил, внутренне терзаясь. Еще одна рюмка — и он забыл бы про все свои планы, а тогда уж, бог весть, не подтвердились ли бы опасения мастера за свое пальто. К счастью, Клава снова взглянул в зеркало за стойкой и вспомнил портрет. Поспешно расплатившись, он направился в ближайшую лавку художественных принадлежностей и на остаток денег купил темперы, пару хороших кисточек из беличьего волоса и ватманской бумаги. Зажав свертки под мышкой, он подался было домой, как вдруг спохватился — а пьеса? «Играл я, плясал». Он читал ее давным-давно, детали совершенно забылись. На покупку уже не было денег. Клава отправился в библиотеку.

Вначале у него немного кружилась голова. Читальня порой угрожающе кренилась, в горле першило от выпитой на пустой желудок водки, однако постепенно он так втянулся в работу, что очнулся лишь в восемь вечера, когда раздался звонок, возвещающий о закрытии читальни. Но и работа уже подходила к концу, оберточная бумага на пакете была вся разрисована планами оборудования сцены и набросками декораций. Торопливо собрав вещи, он рысцой припустился к дому.

Работа в столярной давно закончилась, но разъяренный мастер и любопытные его помощники все еще оставались в мастерской, обсуждая неслыханную дерзость, какую позволил себе Клава. Мастер без конца ругал себя простофилей и глупцом-благодетелем. Когда вошел Клава, все расселись по кругу, словно судейская коллегия, на белых скелетах диванов и кресел. Мастер медленно поднялся, и, сощуриль глаза, угрожающе двинулся на Клава. А Клава сиял, как солнышко. Он обеими руками обхватил мастера за плечи и, светло глядя тому прямо в лицо, воскликнул:

— Мил человек, дорогой вы мой, что бы я делал без вашего пальто? Зато теперь — теперь я снова в седле. Друзья, — обратился он к остальным, — ну и закатым же мы разошлись, весь подвал ходуном пойдет! Спасибо, Яшка, — бросил он шарф мрачноватому с виду подмастерью. Затем, сняв пальто, помог одеться мастеру: — Залезайте-ка внутрь, доброе пальтецо, теплое и легкое.

И скомандовал Густу:

— Собери чего-нибудь пожевать, у меня весь день крошки во рту не было.

Он взял рулон бумаги, ловко развернул его на большом верстаке под яркой трехсотсвечевой лампой. Погладив ослепительно белый лист, он спросил у мастера, который, как и все остальные, полсловечка не мог выдать и в недоумении глядел на Клава, будто на совершенно незнакомого человека:

— Знаете, что здесь будет? Декорации к балету «Я играл, я плясал напролет всю ночь...»!

— Стало быть, все же нахлобачился, — пробурчал мастер.

— Нет, на сей раз нет, — ответил Клава, даже не повернув головы. Он уже снова погружался в работу.

Лист был приколот к столу, краски и кисти расположены под рукой. Приосанясь, Клава тонким французским угольком сделал несколько штрихов.

— Густ! — крикнул он. — Принеси мне чистой воды в какой-нибудь посудине!

Мастер развел руками.

— Значит, про больную мать ты мне все-таки соврал. — И, уходя, добавил: — Только смотри, свет долго не жги.

Клава склонился над листом бумаги и не чувствовал даже вкусных запахов сала и картошки, которую Густ здесь же, в мастерской, начал жарить на жестяной пачурке.

3

Два дня и две ночи Клава проработал почти без отдыха. Ему не мешали ни вжиканье рубанков, ни дробь молотков.

¹ Пьеса Я. Райниса цитируется в переводе Д. Самойлова.

Он успел полностью закончить эскизы к трем картинам балета.

Между делом Клав набросал еще несколько эскизов костюмов. Ничего не прибавляя и не отнимая, запечатлел на листе Густа с его выгнутой в дугу спиной, ногами-оглоблями и руками, как тележные вальки. Лучшего хромца — Деревянную ногу и вообразить было нельзя.

Пока Клав работал кистью, Густ, управившись в мастерской, трудился над рамками для готовых эскизов. Укрепив лист ватмана на фанере, он прибил по его контуру изящно профилированные реечки, выпросил у мастера отменной дорогой бронзы и так ловко покрасил рамку, что издали казалось, будто на ней настоящее сусальное золото.

Мастер, как и остальные, теперь то и дело подходил к Клаву и следил за его проворной кистью.

— Да, да, — бурчал мастер, — кто же мог от тебя, пропойцы несчастного, ожидать этого? — И опасливо прибавлял: — Уж не слишком ли красным ты размалевал небо? — Или: — Ей-богу, да ты посмотри, дом ведь совсем косой!

— Нет, мастер, не косой, такова сценическая перспектива, — отвечал на это Клав и снова склонялся над листом.

В третью ночь Клав лег спать пораньше, чтобы явиться к директору на свежую голову. Заказ на декорации к балету надо было вырвать любой ценой: Клав хорошо понимал, что это его последняя попытка подняться, вернуться к людям.

В назначенный день и час Клав явился в оперу. Клотынь тоже был здесь — он следил за подготовкой спектакля не менее ревниво, чем львица за львенком. Вопреки своей бюргерской внешности, Клотынь имел воистину художническую душу, не полагался на авторитеты и нимало не желал того, чтобы на постановке его балета какой-нибудь известный, набивший руку мастер лишней раз блеснул выучкой и рутиной. Клотынь жаждал свежести, новизны, да кроме всего прочего Клав ему, как ни странно, понравился.

Клав быстро распаковал эскизы, бросил взгляд на окно, мгновенно оценил освещение, выбрал место и поставил их в ряд. Каждый излучал свою цветовую гамму: густо-оранжевый, иссиня-зеленый, вино-красный.

Эскизы были написаны без затей, однако смело и раскованно, и безыскусная экспрессия линий, ясность упрощенных очертаний действительно таили в себе нечто от исконно латышского духа, каким проникнуты прославленные акварели Язепа Гросвальда из жизни стрелков. Увалень-композитор, всплеснув пухлыми руками, вскочил с места.

— Ну просто великолепно! — вскричал он. — Здорово! Послушайте, директор, а ведь нам повезло!

Директор, как и положено официальному лицу, старался скрыть свое изумление. «От этих пьяниц-художников, — думал он, — никогда не знаешь, чего ожидать. У них вроде бы даже иссякший талант может вдруг полыхнуть небывалым жаром. И тогда каждый мазок, каждое кричащее сочетание красок у этих люмпенов от искусства дышит такой отчаянной смелостью и задором, о чем не смеет и мечтать обуржуазившийся декоратор на твердом жалованьи или профессор академии». Позвонив рассыльному, он велел позвать балетмейстера.

Балетмейстер, человек скорее низкого, чем среднего роста, слыл одним из самых элегантных рижских денди. Будучи попросту некрасив, он умел, однако, неправильные черты своего рубленого, костистого лица и несурящую телосложения так подчеркнуть и подать в стиле à la mops-tre, что стоит присмотреться к нему поближе. Круглую бритую голову он преобразил в грозный череп гунна, набрякшие, немного вислые веки он носил с великолепной светской томностью, а длинные выпуклые зубы осклаивал в дьявольской блистающей усмешке, будто некий фантом или урод из Виктора Гюго. Длинную шею, узкие, заметно опущенные плечи, низкую талию он с помощью объединенных усилий портного и своей гротескной фантазии скомпоновал в такую странную, демоническую и неотразимо притягательную фигуру, что гимназистки за версту бежали

ему навстречу. Однако он и в самом деле был художник божьей милостью, наделенный прихотливым, порой прямо-таки захватывающим дух воображением.

Балетмейстер Арвид Алвикис лишь спустя некоторое время повиновался зову директора и тихо, плавно, как тень Люцифера, проскользнул в кабинет. Клав встал за дверью, чтобы не сразу попасться ему на глаза.

Балетмейстер окинул помещение взглядом и картинно поднял палец с огромным перстнем, облепленным неприличными индийскими символами, давая знать, что заметил эскизы. Он довольно долго всматривался в них из-под толстых усталых век, сложил вместе указательный и большой палец левой руки, не забыв грациозно отставить мизинчик, поднес к губам и причмокнул.

— Пальчики облизнешь! — заявил он. — Весьма, весьма! А кто автор? Видно, я созрел для должности ведущего критика — ничего уже не понимаю. Может быть, кто-то из молодых?

— Молодой и в то же время старый. Да вот он, — сказал директор, указывая на Клава.

Художник и балетмейстер оказались лицом к лицу.

В начале своей карьеры они оба здесь, в опере, были соперниками. Собственно, Клав был единственным, кто угрожал первородному праву Алвикиса на дендизм. Но то, что Алвикису стоило долгих трудов и размышлений, Клаву в те поры давалось само собой. Сейчас у обоих по-кошачьи вспыхнули глаза. Алвикис был одет à la ouvrier. Но как! Пиджачная пара — гнедой конской масти, да из такой нечеловечески грубой диагонали, что ее явно где-то выткали по особому заказу. Под пиджаком — свитер странной комковатой вязки из невероятно грубой шерстяной пряжи цвета истлевших гнилушек; на ногах корявые рыжие башмаки из буйволовой кожи с фантастически толстыми подошвами и отстроченными носами. Чрезвычайно обдурманно и дерзко контрастировали с этим тщательно составленным «пролетарским» нарядом невесомый, как лепесток цветка, лимонный платочек в нагрудном кармане, широкий, абсолютно гладкий никелевый браслет, а на нем часы с черным циферблатом.

Алвикис зорко оглядел Клава — не переплюнул ли тот его своим черным мешанским пальто, грубым Яшкиным шарфом и вонючими Густовыми танками — но, похоже, не пришел ни к какому решению. Впрочем, подобно всем поистине одаренным людям, он несколько не испугался возвращения соперника и сердечно пожал Клаву руку. Однако грань, разделяющую их сегодня, следовало подчеркнуть.

— Эскиз с кладбищем я покупаю. Двести латов плачу сразу, об остатке потолкуем позже.

С этими словами он нарочито небрежно сунул руку в брючный карман, вытащил комок денег и протянул Клаву две мятые сотенные бумажки.

— Спасибо, — просто сказал Клав. — Приятно, когда твоя работа попадает в хорошие руки... только мне, возможно, этот эскиз какое-то время еще будет нужен? — продолжал он, вопросительно глядя на директора.

— Пожалуй, что будет нужен, — задумчиво проговорил тот и, не желая отставать от балетмейстера, добавил: Овин забираю я, — и вынул из бумажника три сотенных.

— Ну, значит, мне не остается ничего другого, как купить третий эскиз! — воскликнул композитор и тоже полез в карман.

— Надо бы позвать Инту, — сказал Алвикис.

— Да, да, она же танцует партию Лелде, пусть порадуется, — подхватил Клотынь и выбежал из кабинета.

От напряженного, подозрительного слуха Клава не ускользнул особый оттенок, с каким Алвикис произнес имя Инты. Неужели Инта теперь принадлежит ему?

— Ну, я пошел, — поспешно бросил Клав директору.

— Ладно, отправляйтесь навстречу, в мастерскую. Там вы встретите кое-кого из старых знакомых... подберите себе помощников, составьте смету и приступайте к делу. Времени осталось не так уж много. Вам предстоит написать целых шесть эскизов, а впереди еще макеты и все прочее. Желаю успеха!

Клав простился и понесся по такой знакомой узкой лестнице наверх, в мастерскую.

Но тут вдруг он вжался в первый попавшийся дверной проем. Из гримерной вышла Инта. В прошлый раз Клав увидел ее здесь в тренировочном трико, халате, небрежно напудренную, теперь же — едва узнал: она выступала во всем блеске и изысканности примадонны. Костюм цвета дынной мякоти, меха, озорная шляпка, чешуйчатые цокающие туфельки скользнули мимо ошеломленного Клава, обдав его облаком ароматов, и уже через мгновение внизу, в вестибюле, послышался негромкий голос и смех, в котором так влекуще смешались задор и легкая грусть. Инте отвечали мужественные голоса Алвикиса и Клотыня.

Клав прильнул к серо-зеленой, выкрашенной маслом стене коридора, узкого и голого, будто проход в гробнице. Так он стоял какое-то время, чувствуя, как на голове сами собой рассыпаются прядями волосы и падают на влажный лоб.

Утонченная эlegantность давнего соперника, блеск бывшей подруги — все это было в чуждом ему мире, далеком и недосыгаемом, как сполох на небе. Клав взглянул на свои тусклые от жира ботинки, дрожащей рукой пьяницы провел по колючему сукну пальто, принадлежащего столярных дел мастеру, и почувствовал, как им завладевает странное, глумливое безразличие. Он перевел взгляд наверх, на декорационную мастерскую, пошелестел в кармане только что полученными сотенными бумажками и ощутив, как во рту от шек тонкими струйками сбегает слюна, рассмеялся, а затем, пошатываясь, однако проворно устремился к выходу. Ведь совсем рядом, на оперной площадке, манил к себе погребок «Рима», а еще верней — одной улочкой дальше — темный кабачок в старом трухлявом домишке, бесчисленные закоулки которого казались प्रदेशными жучком норами.

Однако сделав несколько шагов, Клав остановился и, тяжело дыша, прижался лбом к холодной стене. Он понял, что наступает решающая минута. Если он сейчас сдастся, то считай пропало все достигнутое, а с ним и последняя надежда вырваться из погибели. Казалось, кто-то силой толкает его на улицу, в кабак; под ложечкой жгло и давило, от невыносимой жажды сводило щеки и шекотало десны — ничто на свете не могло сравниться с удовольствием оросить их хорошим глотком водки или прохладным горьковатым пивом. Клав едва не плакал. Всеми силами он старался вызвать в памяти удивительный портрет, висевший среди стоп фанеры в далекой столярной мастерской, и пытался во всех деталях представить себе черты молодого мужчины. Тревога его постепенно улеглась, но горечь, вспыхнувшая от встречи с Интой, не унималась. Чего-то еще не хватало, что бы разжечь в себе упрямство, волю бороться и выстоять — ему, честолюбцу и франту, который возвратился на круги своя в столь жалком виде. Немедля сменить одежду, попробовать снова вступить в единоборство с Алвикисом и превзойти его? Где там! В этом искусстве Алвикис далеко ушел вперед. Все, что есть сверхмодного и редкого в крупнейших магазинах, он, конечно, загодя изучил и заказал. Нет, этот путь Клаву уже не годится. А что же ему теперь вообще годилось? Какие-то стройные девушки, не то балетчицы, не то певички мелкого калибра, шелковисто прошелестели мимо, удивленно смерив взглядом сгорбленного, одетого по лучшим образцам городских задворков Клава, который никак не мог набраться духу и пройти в мастерскую.

На лестнице послышались шаркающие шаги, кто-то поднялся, пыхтя и отдуваясь; в коридорных сумерках Клав узнал старого Усне, ведавшего складом материалов при декорационной мастерской. Он работал в опере со времен ее становления — при немецких декораторах Вюмере и Патциге, при Александрове, расписавшем нарядный занавес, при Куге, да при всех... Усне видал всякие виды. В годы бурной юности он закончил училище барона Штиглица в Петрограде, писал декорации в неисчислимых провинциальных театрах России, зарабатывал на моментальных портретах в цирке, скитался по всей Европе и наконец осел в рижской опере, сам уподобившись живой легенде.

Старик знал и мог оценить всех и каждого, кто только переступал порог мастерской. Занозистый по натуре и большой педант, он делал свое дело с такой яростной вьедливостью и дотошностью, что стал совершенно незаменим. Сознывая это, он не считал нужным ни перед кем скрывать свое мнение — хоть дурное, хоть хорошее, мог, если надо, сцепиться с самим директором и всегда добивался своего. С Клавом Усне в свое время бранился не переставая, но зла друг на друга они не держали никогда.

Клав хотел было отвернуться, однако выцветшие юркие стариковские глазки под седыми лохматыми бровями уже застигли его, и щуплое, поросшее щетиной лицо хранителя мастерской растянулось в лукавой усмешке. Он опустил наземь большой пакет и остановился.

— Ну, здоров, новоявленный декоратор! Что это ты стенку подпираешь? Чего не топаешь наверх?

— Усне, Усне, — вздохнул Клав. — Похоже, я туда вовсе не дойду.

— Да брось! Вишь, я дорогого хрому накопил. Ты ведь плохих красок и прежде не жаловал, а теперь небось оранжевую будешь лить как воду. Повидал я твои эскизы. Директор вызвал вниз, чтоб я посмотрел, дескать, как человек бывалый, можно ли доверить тебе работу. Посмотрел я и говорю — хороши! Один был такой желтый, что сразу вспомнилось — в мастерской вся оранжевая вышла. Я — бегом через дорогу, к Камарину, вот — курил.

Клав с безнадежным видом отмахнулся.

— Держись! — ободрил его старик. — Нынче у тебя лучше пойдет дело, чем прежде. Ты с виду уже не тот фертик, что был когда-то, на рабочего человека стал похож. Пошли. Я скажу тебе, кого из ребят взять в помощники, а кто от рук отбился. Ты Дузиня и Цигузиса помнишь?..

Но Клав, охваченный тупым оценением, ничего не слышал. В коридоре теперь все чаще мелькали люди: начался дневной спектакль. Усне потоптался на месте, словно раздумывая, как быть, затем усмехнулся в усы и проговорил:

— Пойдем-ка отсюда, тут такая толкотня.

Взяв Клава за локоть, он подвел его к большому двухстворчатому, окованному жестью дверям и впахнул в высокое, как собор, просторное помещение, полное теней и музыки. Старая добрая сцена! Но какой незнакомой, призрачной показалась она сейчас! Глянув наверх, Клав ощутил себя Гулливером в платяном шкафу королевы Бробдингнега — с бездонной выси целыми горами спустились огромные разноцветные полотнища. Остолбеневший Клав, не помня себя, отступил в сторону. Прямо перед ним, в просвете между двумя широкими кулисами, предстал величественный храм с мраморными колоннами. Могучие гранитные колоссы богов, высясь над толпой жрецов и весталок, отбрасывали жуткие тени на грубые каменные глыбы циклопических стен... Что это, знакомые звуки?.. Ах, да! Заключительный аккорд первого действия «Аиды».

Ведущий спектакль в своей будке у самого края сцены склонился над щитом с выключателями и дважды чем-то шелкнул. С легким рокотом прошумел занавес, внизу, в зале, раздались гулкие аплодисменты. Мимо Клава хлынул пестрый, цветистый поток: полуголые храмовые танцовщицы, весталки в белых одеяниях сомнительной свежести, жрецы с длинными, как огурцы, египетскими черепами, которые вблизи оказались совсем помятыми и оцарапанными. Вот протискивается и сам верховный жрец — высокорослый бас, — держа в руках жезл, который обвиняет очковая змея в облезлой бронзе с торчащей из равного чрева паклей. За ним следует Амнерис, едко выговаривая статисткам:

— Надо же так измудриться — то вы у меня впереди, то я у вас за спиной...

Никто из них уже не узнает, даже не замечает Клава.

Еще миг, и пестрая толпа исчезает, но ее место заняло невесть откуда взявшееся скопище серых созданий, таких

же серых, как пыльный, исцарапанный и дорогой сердцу пол сцены. Серые фигуры, словно вспугнутая стая крыс, бросаются враспынную, начинают то сгибаться, то тянуться вверх, словно исполняя танец роботов из какого-то балета о нищете большого города и бессмыслице машинерии. Но что это? Грозные колосы, чьи несокомерные угловатые лики вознесены куда-то в полумрак, под самые перекрытия, дрогнули и, смешно и жутко раскачиваясь в каком-то подобии танца, присели, съежились и в считанные мгновения растаяли один за другим, будто комочки жира на горячей сковороде, обернувшись ничтожной кучкой проволочных обручей и грязной марли, которую единственный рабочий воистину оскорбительно и кощунственно вскидывает себе на плечо и уносит. Между тем уже обмякли и толстые, дубоподобные столпы и циклопические стены, обнажив огромное, сценическое пространство, охваченное несколькими ярусами дощатых галерей и перечеркнутое на головокружительной высоте мостами. Левая стена, по которой змеятся бесчисленные веревки и тросы для подъема декораций, напоминает орган с невиданно тонкими трубами. По углам и закоулкам громоздятся всевозможный хлам — паникадила, паруса, мачты, необходимые для сегодняшнего спектакля. Какое-то время на сценической площадке царит абсолютный хаос. Серые копошатся и снуют туда-сюда, толкая, волоча и составляя дощатые подмостки и решетки. И лишь одна фигура движется в сплошной неразберихе спокойно и величественно, словно волшебник или дух, — это мастер сцены. Он время от времени с достоинством наклоняется и чертит на полу магические знаки. Затем, подбоченясь одной рукой, взмахивает другой к небесам, и тотчас в клубах пыли из бездонного потолочного кратера опускаются огромные желтые паруса. Серые хватают их снизу, расправляют и, вогнав в пол не то крюки, не то буравчики, привязывают к ним паруса за углы. И вот — перед глазами Клава вознесся во всем черном египетском великолепии роскошный шатер дочери лучезарного фараона.

Клава не мог оторвать глаз от этого зрелища. Его объело странное вместе с тем знакомое ощущение. Хотелось и плакать, и громко смеяться. Из ничего — из лучины, из лоскутьев марли и холста — создавать изумительные картины, вынуждать зрителя раскрыть рот от удивления, замереть от ужаса, расцветить в улыбке от наслаждения — это ли не великолепная, колдовская работа? Его работа! И тут вдруг глаза Клава обрели былую зоркость. Вон там можно было бы и попроще, тут поярче, а тут... Причудливые картины будущего балета заиграли у Клава перед глазами, и он почувствовал, что робость, бессилие и неуверенность покидают его.

На сцену уже начали собираться исполнители. Первыми появились трое мальчишек в длинных красных балахонах; их роль — овеять Амнерис длинными пышными опахалами из страусовых перьев.

— Рогатку купил? — спрашивает один. Второй, подпернув египетскую хламиду, достает из кармана резиновую катапульти.

— Ого, черт, тугая!

— А мне — нипочем, — отвечает владелец и сгибает руку: — Видал, мускулатурка!

Мальчишки с завистью поглядывают на осветителей, которые с беличьим проворством лазят по башням из железных решеток, что высятся с обеих сторон сцены, но вот загудел на все голоса оркестр, и ведущий уже дает им знак отправляться на место. Врывается стайка танцовщиц — вымазанные черным, безобразно всклокоченные арапчата нимало не беспокоятся о своем виде — его уже ничем не спасти, зато три нагие прелестницы с шоколадной кожей, которым предстоит протанцевать лишь несколько секунд, пока скучающая Амнерис не отошлет их усталым мановением руки, до последнего крутятся и вертятся перед большим зеркалом в углу.

В темном гриме, сосредоточенная, быстро входит Аида. Мелозга тотчас расступается, давая ей дорогу. Остановившись возле ведущего спектакль, она раз-другой с силой

выдыхает воздух, ту же стягивает покрывало на плечах и ныряет в яркий свет сцены... и вот уже сквозь бормотание оркестра прорезается ее голос, чистый, как хрустальная грань.

Клава почувствовал, что дрожит всем телом. Атмосфера сцены, дух и лихорадочный ритм театра снова захватили его как бывало. Снова под ногами горела земля. Поблаженничав еще немного, он заторопился в мастерскую.

Когда Клава отворил железную дверь в декорационную и полной грудью вдохнул своеобразный запах, чтобы не сказать зловоние, протухшего клея и истлевшего тряпья, он на миг смутился, как девушка, которой некий забытый танцевальный мотив вдруг напомнил давнюю чудесную минуту. Но уже в следующее мгновение на другом конце мастерской под общий смех и знакомую ругань свалили на пол огромный кусок декорации, предназначенный на смыв, и над ним поднялось непроглядно густое облако пыли, словно от выстрела пушки наполеоновских времен. Облако пронзил острый солнечный луч, заиграв тысячу красок, будто пробился сквозь цветные стекла древнего собора.

Клава с наслаждением нырнул в пыль, обуреваемый сумасшедшим желанием вновь пустить широкие кисти на длинных палках в пляс по безграничному раздолью задников, стенок и кулис. Он поздоровался, собрал всех вокруг себя и с чуть-чуть наивным, но искренним подъемом воскликнул:

— Друзья! Это ли не самая большая и самая лучшая декорационная мастерская во всей Прибалтике! А вы — самые умелые декораторы. Балет «Играл я, плясал» прекраснее всех, что ставились когда-либо; так соорудим же для него лучшие декорации в этом сезоне! Идет?

— Идет! — откликнулись голоса из пыльного облака.

— Тише едешь — дальше будешь, — вставил кто-то из сомневающихся.

— Тише едешь — чаще спотыкаешься, — возразил Клава.

Можно было приступать к работе.

Вечером того же дня Клава прошуршал по засыпанному стружкой подвалу столярной с такой важностью и достоинством, словно сам судья, и жестом трибуна вскинув правую ладонь вперед, заставил умолкнуть все инструменты.

— Привет труженикам! — сказал он. — Выпейте за мое здоровье. — Он извлек два полштофа спирту. Парни только переглянулись.

Злой, как оса, весь красный, выскочил из своей клетушки мастер:

— Смотри, не вздумай устраивать тут пикник среди рабочего дня, проваливай со своей сивухой...

И тут же осекся: Клава поднес ему к носу две сотенных.

— Мастер, я покупаю твоё шикарное пальто, — объявил он, — и твой танки, Густ, и твой шарф, Яшка. — Он бросил каждому по четвертному. Затем снял шляпу, некогда черную, а теперь ржаво-болотного цвета, и продолжал: — Шляпа у меня своя еще хоть куда. Ну, братцы, с нынешнего дня я начинаю малевать в опере декорации и за месяц огребу больше денег, чем вы можете наскрести тут за целый год.

Столяры, не сводя с Клава глаз, медленно отложили инструменты, отерли о фартуки руки и сгрудились вокруг него.

— Ага, вот значит, как обернулось, — удивленно и не без зависти протянул мастер. — Да неужто ты, старый забулдыга, и впрямь отступишься от рюмки?

Между тем проворные руки бесшумно раскупорили бутылку со спиртом, развели его водой и плеснули в большой обшарпанный бокал из толстого стекла, который постоянно валялся на пыльном подоконнике в ожидании подобного случая. Сосуд этот имел одно отличное свойство — его всегда следовало осушать до дна, ибо из-за отбитой ножки поставить кубок недопитым на стол не было никакой возможности.

Соблюдая, как должно, старшинство, подмастерья первую чарку втиснули в побуревшую от политуры ладонь мастера. Задумчиво поглядев на беловатую мутную жидкость, которая мало-помалу яснела, превращаясь в водку, он сказал:

— Ну ладно, ребята, но только — один полуштоф, и сразу за работу. Надо нынче же поставить в пресс все четыре гнутые дверцы для шкафов.

Кубок живо обежал всех работников, вызывая на их лицах жуткие гримасы, и бумерангом хлопнулся в ладонь мастера.

— Ты свои сотенные сам попрдержжи, — сказал мастер Клаву. — Во-первых, пальто обошлось мне только в девяносто латов, а во-вторых, тебе теперь понадобится совсем другое пальто — с плечами прямыми, как доска, и широкое, как матрасный мешок. И по оперному паркету тебе не в танках шаркать, а в штиблетах из тонкой кожи. Ребятам можешь оставить денжат, если такой богатый, а со мной — особь статья.

Опершись спиной на полусколоченный шкаф, мастер с гордостью окинул взглядом свое царство и своих подданных.

— Не в тряпках сила, мастер, а в том, что у человека внутри, — возразил Клав и стукнул себя в чахлую грудь с такой силой, что даже закашлялся. — Пальтецо теперь мое. Это мне на счастье, мастер.

Клав прошел на склад, заботливо упаковал картину, поместив ее между двумя кусками фанеры и тщательно укутав углы старой рамы мягкими стружками и рогожей. Затем с единственной своей вещью под мышкой — больше у него и вправду ничего не было — снова вышел в мастерскую, где уже стучали молотки и скрипел пресс.

— Ну так будьте здоровы, мастер Скапар, не поминайте лихом. Я отряхаю прах столярки со своих танков, но в день моего торжества вы будете со мною, — нараспев, уподобясь сектантскому проповеднику, возгласил Клав и направился к выходу.

Добрый мастер потянулся к нему, сунул в карман переплаченную сотню и, когда Клав уже отворял дверь, проговорил:

— Мастер Шнапс — это тебе не мастер Скапар, так ли просто отпустит он своего верного подмастерья?

Не прошло и трех дней, как прежние сотоварищи по мастерской, проработавшие в опере не один год и издавна помнившие Клава и его легкую руку, начали жаловаться, что теперь он превратился прямо-таки в машину. Вместе с Усне Клав образцово распределил работу, и помощники вскоре почувствовали, что на этот раз придется малевать куда усерднее и исправнее, чем обычно. Сам Клав, если только не был занят на монтировочных репетициях на сцене, с утра до ночи трудился над эскизами и макетами в полукруглом кабинете художника, в юго-восточном углу под крышей оперы. Кто-то из приятелей однажды только заикнулся о выпивке — и еле унес ноги.

В деньгах Клав не нуждался, это знали все и удивлялись, почему он так подчеркнуто щеголяет в огромных, смазанных ворванью танках и грубошерстном костюме, в пестром шарфе из искусственного шелка, словно это были невесть какие шедевры парижской моды.

Он был со всеми приветлив, но раздражающе загадочен. Даже поболтать по-приятельски не желал ни с кем, кроме Усне. Разумеется, Клав вскоре стал предметом сплетен и разговоров для всей оперы. Балерины, особенно те, что еще помнили Клава чрезвычайно элегантным и утонченным, то и дело совались вздернутыми, легкомысленными носиками в пыльную мастерскую, но усилия их были тщетны. Так уж водится — возвращение блудного сына всегда производит большее впечатление и эффект, чем медленное и многотрудное восхождение пай-мальчика. Девчонки уверяли даже, что Клав теперь выглядит гораздо интереснее, и громко восхищались своеобразным, изысканным и небрежным шиком его заметно помятой одежды. Впрочем, надо отдать Клаву должное — стоило ему взять себя в руки, и он даже в нищенском одеянии мог пройтись гоголем, не хуже цыгана или воспитанника балетного училища.

Замкнутость и непроницаемый вид Клава разжигали общий интерес все сильнее, и всякий раз, когда его вызывал к себе директор, на пути его оказывались целые шпалеры любопытных.

На четвертый день, уходя домой, Клав в тихом уголке лестницы встретил Инту.

— А! — воскликнул он и хлопнул себя по нагрудному карману. — Я ведь все еще не вернул тебе долг. Спасибо. В тот раз ты здорово меня выручила.

Протянув деньги, он намерился было продолжать путь.

— Клав! — с обидой воскликнула Инта.

— Да?

— Ты что, зазнался? Мы ведь не чужие. Как жизнь?

— Какая может быть у пьяницы жизнь... Разве не знаешь?

— Но теперь-то ты не пьешь.

— Не пью?.. Недавно один человек хорошо сказал: не думай, что мастер Шнапс так просто отпускает своих подмастерьев.

— Ну вот, вечно ты так... И почему бы тебе не одеться поприличнее? Деньги, как слышно, у тебя есть.

— Неужели я стану писать лучше, если надену на себя что-нибудь в полоску или в клеточку?

Облитые коричневой лайкой пальцы Инты словно невзначай коснулись галстука Клава, ту же затянули узел. Клав взял ее за локоть своей узкой, худой ладонью и пожал, прощаясь. Инта торопливо спросила:

— Ты не сердись, что я прошлый раз прошла мимо тебя на этом самом месте?

— Вон ты о чем... А я думал, ты меня и не заметила. Нет, не сержусь.

— Видишь ли, я в тот раз...

— Побоялась, как бы я не подумал, будто ты требуешь долг?

— Нет, но...

— Нашла меня слишком жалким?

— Нет, нет... ты сейчас выглядишь лучше — раньше был чересчур смазливый...

— Ну так просто спешила, тебя ждали.

— Чепуха. Правду сказать, я и сама не знаю, почему не подошла в тот раз.

— Потому что не знала, зачем я заявился в оперу, и потому, что тогда еще девчонки не чесали язычки и не подкарауливали меня на каждом углу, как сейчас.

— Клав, ты такой же несносный, как и раньше.

— Надеюсь, что и научился кое-чему вдобавок. Прощай.

И он сбежал по лестнице так же легко, с такими же соскоками, как прежде.

Такие короткие, но многозначачие беседы между Интой и Клавом повторялись все чаще. Клотынь и Алвикис наблюдали за ними с опаской, но испытывали при этом неодинаковые чувства. Клотынь был провинциал, недавно перебравшийся в Ригу; он завоевал здесь успех с такой быстротой, которая ошеломила его самого. Слишком ленивый, чтобы по-настоящему гнаться за карьерой, он, как большая часть латышей, предпочитал предаваться повседневному жизненным утехам. И чем привычнее были они, тем больше удовольствия доставляли ему. Однажды обзаведясь друзьями, он не искал новых. В опере он сдружился с Алвикисом и Интой и по мере сил держался за них. Инта, разумеется, нравилась Клотыню, и он ухаживал за нею как мог и умел, но, судя по всему, композитор был создан для роли, или, вернее, — был обречен на роль постоянного друга дома. Слишком нерасторопный, чтобы вступить в борьбу за свое счастье, он в конце концов удовлетворился бы возможностью греться возле чужого огня, с радостью подбирая крохи на пиру своего друга.

Иным было положение Алвикиса. Года три-четыре назад, состязаясь с Клавом Райпалом, он бы и не заметил Инту в толпе балетных девочек. Но Инта стала избранницей Клава. И точно так же, как древние воители охотно обряжались в доспехи поверженного врага и седлали его коня, так современные состязатели охотно садятся на место побежденного соперника и забирают себе его подругу. К тому же, за эти годы Алвикис открыл в Инте

множество достоинств, о коих прежде и не подозревал. Начнем с того, что она, к изумлению Алвикиса, оказалась весьма способной танцовщицей. Алвикис поддерживал Инту сколько мог, а теперь, когда она выдвинулась в солистки, надеялся получить награду за свои труды и покончить с холостяцкой вольницей. В последние три года, минувшие после падения Клава, Алвикису все удавалось как по писаному. Он купался в великолепном самоудовлетворении и все более восхищался собой как художником жизни, мастером. Внезапное появление в театре давно забытого Клава подсыпало песочку в мудро смазанный механизм доброго самочувствия Алвикиса.

Несколько недель подготовка к спектаклю шла как по маслу. Клав трудился будто одержимый и покидал мастерскую только для того, чтобы посоветоваться с балетмейстером, композитором, осветителем и мастером сцены. На этих совещаниях частенько присутствовала Инта — исполнительница роли Лелде. Клав все время оставался серьезным и деловитым, просто несносно деловитым.

К его наряду все уже притерпелись. Балетная мелюзга начала носить вместо пестрых галстуков шарфы в стиле апаши, ссылаясь на то, что иначе жмут воротнички, а кое-кто даже разгуливал в огромных танках, уверяя, что эта обувь — самая полезная для чувствительных ног балетчиков.

Клав был очень требовательным, даже капризным художником; с кем-нибудь другим техническая obsлуга сцены давно уже поцапалась бы, но Клав всегда умел подмаслить требование шутливым словом, позолотить легкой лестью, расшевелить честолюбие мастеров или просто увлечь их своей азартностью. Однажды ему вздумалось подвесить софит в таком месте, где не было блоков. Он не успокоился до тех пор, пока сам не завел мастера на колосники — в подобное чреву огромного рояля помещение под самым хребтом крыши, где на головокружительной высоте над пучиной сцены натянуты, как струны, звенящие и сверкающие тросы, на которых держатся декорации и лампы. Полом там служит редкая деревянная решетка, сквозь которую глубоко внизу видны мелкие, как муравьи, суеязящиеся фигурки репетирующих или строящих декорации людей. По этому ненадежному и весьма пыльному перекрытию оба неловко, с опаской, бродили до тех пор, пока не нашли-таки место, куда можно встроить еще один блок.

Тяжелее всех приходилось осветителю. Всякий раз, подбирая свет для очередной картины, Клав подсаживался к мастеру в его будке — впритирку к суфлерской — и не отступал часами, пока не продумывал до мелочей сложные световые эффекты своего феерического балета. На сцене все башни, мостики и углы были утыканы дополнительными прожекторами, и когда осветитель наконец возопил, что тут двух рук мало, чтобы справиться со всеми рубильниками и выключателями, которые мощно кустились над главным аппаратом перед стулом осветителя и гроздьями свисали со стен будки и потолка, Клав небрежно посоветовал ему взять в помощь ноги. Осветитель разозлился. Но уже в следующий раз Клав увидел, что он, обув мягкие войлочные туфли, орудует нижними выключателями так же ловко, как хороший органист нажимает на педали и дергает регистры.

Многоопытный директор, однако, в глубине души не был уверен, что все сойдет гладко. Чем ближе становился день премьеры и чем планомернее и четче действовал Клав, тем с большей опаской наблюдал за ним директор и тем горше сожалел, что самый главный спектакль сезона доверил какому-то выскочке. Он постоянно подсылал заведующего литературной частью следить за Клавом в опере и неоднократно приказывал швейцару шпионить за декоратором вне стен оперы. Но Клав всякий раз ускользал от соглядатая, то нырнув в какой-нибудь дом с двумя выходами, то ловко заскочив в трамвай.

На четвертой неделе дурные предчувствия директора сбылись. Как-то утром в кабинет директора вошел или, вернее сказать, плавно прочествовал балетмейстер Алвикис. Балетмейстер, по всем статьям порядочный и деловитый человек, частенько вызывал у директора раздраже-

ние. Он абсолютно все в жизни, работе и искусстве воспринимал как отменную шутку, любой, самый прискорбный случай служил для него лишь пищей для остроумия. Никогда, хоть бы и в минуты отчаянной спешки и суматохи, не гасла на его лице неизменная немного дразнящая улыбка, не ускорялся плавный шаг, не становились резче гибкие движения.

— Декоратор Райпал, — доложил балетмейстер, — вот уже несколько дней не появляется в опере. Правда, три действия балета совершенно готовы, а до премьеры еще целая неделя.

Ни одна черточка не дрогнула на сухощавом лице директора. Он молча кивнул. И так, начинается! Осталось целых два действия и лишь неделя времени, пахивало катастрофой. Директор не узнавал сам себя. Как он, с его осмотрительностью и пронизательностью, мог ввязаться в такую жалкую откровенную авантюру! Она в конечном итоге могла опасно поколебать его служебное положение. Немало жаждущих занять его место околачивается в кафе «Тимбукту» — этом сборище рижских бездельников, сплетников и интриганов, — они только того и ждут, чтобы малейшую промашку расславить на весь свет как гибель оперы.

«А что, видно, я еще не совсем стар, — размышлял директор, уставясь взглядом в зеркально-гладкую полировку роскошной чернильницы из черного мрамора, где смутно отражались его посеребренные виски, — если способен побрататься с таким сорвиголовкой, как Клав, и поставить на карту свои положение и карьеру». Но и это приятное открытие не рассеяло опасений.

Директор разослал на поиски Клава с полдюжины людей. Адрес, который оставил Клав, оказался ложным. Пришлось навести справки в префектуре.

К общему удивлению выяснилось, что Клав вовсе не ютился в каком-нибудь подвальчике или мансарде, что соответствовало бы его платью, а занимает весьма респектабельную квартиру на бульваре Аспазии. Квартира, однако, была заперта, дворник не видел Клава уже несколько дней. Ищейки обежали все известные питейные заведения, выпрашивая и вынюхивая, но все было тщетно. Прошел еще день — о декораторе ни слуху ни духу.

Директор созвал всех устроителей спектакля на военный совет. Совет решил, что постановку должен завершить по эскизам Клава штатный художник театра. Однако уже через несколько часов заведующий мастерской Усне прибежал с жалобами, что ничего хорошего не получается. Эскизы не соответствуют макетам, макеты — начатым росписям; Клав хотя и работал очень тщательно, однако вечно что-то менял и поправлял, ни с кем не делился своими замыслами. Директор в отчаянии просил Алвикиса как великого охотника до всяких мистических шуток, чтобы тот помог декораторам расшифровать замыслы Клава.

К вечеру третьего дня земля под ногами стала казаться директору пылающей лавой. У него уже не оставалось слов, коими проклинать собственное легкомыслие. Директор приказал играть последнюю картину в драпри и посылал к черту любого, кто осмеливался показаться у него в кабинете.

Однако больше чем кого бы то ни было, исчезновение Клава опечалило Инту. Пропуская репетиции и ни с кем не делиясь, она объездила чуть ли не все закоулки и окраины Риги — кабаки, по которым она, бывало, разыскивала Клава три года назад. Эта повадка — вдруг исчезнуть, и пусть потом ищут кому надо — была присуща Клаву и прежде. Однако ни в прокуренных дырах на Мельничной улице — «У большой собаки» и «У толстых девок», где так охотно собирались поэты-инстинктивисты, ни в «Цесисском бульваре» у Ново-Гертрудинской церкви, ни в кабаке у скотобойни, ни в захудалых пивных Милгрависа, Болдераи, Латгальского форштадта его не было, и кабатчики да буфетчицы, знавшие Клава с прежних времен, уже давно его не видывали. Инта и печалилась, и злилась на себя за то, что хлопочет о неблагодарном Клаве, который и разговаривать с нею толком не желал.

(Окончание следует)

ЭДУАРДС АЙВАРС



ШРАМ НА ЛИЦЕ ГОРОДА

Люди продолжают пересекать этот участок
в строго определенных местах,
Иногда даже гуськом.
Пьяные опираются плечами и руками
О несуществующие стены как
квалифицированные мимы.
Их можно понять:
Этот квартал снесли только вчера.

КАК ИСЧЕЗАЕТ СТРАХ

Побледнел.
Побледнел. Побледнел.
Побледнел, побледнел,
Побледнел, побледнел, побледнел...

Я ВИДЕЛ В ПАРКЕ ЧЕЛОВЕКА

Быть может, это Мандельштам,
А может быть, еврей прохожий.
Но как поэт стоял он там,
К тому же на скворца похожий.

И был замечен он едва,
Лишь губы — губы шевелились,
Шепча безвестные слова,
Те, что во рту уже теснились.

ЧЕЛОВЕК И МОРЕ

Я свешиваюсь через край лодки
И пальцем пишу на краю моря:
«Здесь был Боря».

Забрел я как-то в акварель,
И балерина там была,
И, расставаясь у угла,
Я ей шепнул: почти апрель.

НОВЕЛЛА

Нам тебя застрелить придется —
Ты похож (на кого, неважно).
Хорошо; на того, кого прикончим так и так.
Ну, хватит тянуть, скажи всем «пока».
Пронзительная тишина, воронье, красный снег.
Такие времена, должен быть убит человек.

Однажды и обычный человек на столб взберется,
На землю упадет и разобьется.
Но даже умирая в соболезную гаме,
Упорно отбивается ногами.

Пока собор стоит еще,
Никто глаза мне не зашьет.
А мне — на землю водку лить,
Пока собор еще стоит.

Нутром, уголком глаз ощущаю
Женские ноги — сотнями.
Слово «сотнями» придает ногам стройность.
Отказываюсь от желания онанировать
Или ломать стены.
Авторучка впиивается в бумагу:
«Блюз черных колготок».

Фиолетовый квадрат на песке.
В детской игре развязался
Платочек девчонки.

Сорочка спустилась с вешалки на пол,
Совсем как курица с насеста.
Еще раз напомнив,
Что каждый миллиметр в моем доме
Живой.

ЗАГАДКА САМОМУ СЕБЕ

Моя рука трудится, всовывая
В щель автомата с газированной водой
Желудочную таблетку.
Скажи, кто я такой?

И Л А Н П О Л О Ц К

ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ САМОМУ СЕБЕ

Сначала несколько вступительных слов.

Я вернулся с Дальнего Востока, овеянный ветрами дальних морей. Это была не просто фраза. Выйдя из залива Петра Великого, мы пошли на Сахалин, а оттуда — к Курильским островам, на Кунашир. Залив Измены, в котором болтался наш сейнер «Ишхан», открывался к Тихому океану. Татарским проливом ушли на север в Охотское море. Долго петляли между глухими Шантарскими островами. Снова пришли в Японское море. И так далее.

Обо всем этом я рассказал в серии очерков. Работалось над ними легко и приятно. Дело было в том, что редактор газеты, любивший «свежатинку», с удовольствием слушал мои рассказы — сбивчивые и восторженные. Он питал вкус к эффектным фразам и не отказывал себе в удовольствии произносить их. И вот однажды он поднялся во весь свой шестифутовый рост и внятно изрек: «Пиши! Сколько хочешь и о чем хочешь! Не вычеркни ни одной строки — обещаю!»

И действительно. Не вычеркнул. Вылетел лишь один абзац, да и то волей дежурного редактора. В нем говорилось, что ночами мы долго беседовали с капитаном «о книгах и женщинах, о Сталине и Хрущеве...»

Писалось свободно. Мне не приходилось хватать себя левой рукой за правую. Просто я знал, что о Тамаре и Кольке, о днях на Шикотане писать не стоит. Не потому, что это было неинтересно — отнюдь нет. Просто... не стоит, и все тут. Не время.

А вспомнить это хотелось. Для себя. Может, еще для кого-нибудь. Хотелось кинуть на бумагу обрывки воспоминаний — без композиций, без сюжета. Даже без выводов. Думалось — а вдруг какие-нибудь выводы появятся сами собой. Это было даже интересно.

... Первым человеком, которого я увидел на судне, была Тамара, наша буфетчица, кастелянша и стюардесса. Кроме того, она была еще уборщицей. Это объяснялось тем, что на таком маленьком судне, как наше, ей приходилось в одном лице совмещать все должности. Она отвечала за быт двадцати здоровых мужиков — единственная женщина.

Мы стояли у причалов судоремонтного завода и готовились к выходу в рейс. Нас уже давно ждали на Сахалине, но на заводе не торопились. Судно должны были выпустить к какому-то празднику, чтобы достойно подвести баланс. По какой-то причине этого не получилось, кажется, запил сварщик, и мы продолжали спокойно болтаться у стенки. Команда фактически пребывала на берегу, а на судне жили только радист из Находки, я, прописанный на судне, и Тамара — здесь был ее дом.

На судне она работала, а «дом» ее был, что и говорить, невелик — несколько квадратных метров, койка за полотняной занавеской да шкафчик в переборке. Хранила она там свою немудреную косметику, кофточки, пару модных туфель и фотографии. Там же прятала пустые бутылки.

Меньше всего она походила на «прислугу на все».

Меня встретила высокая хрупкая женщина с тонким строгим лицом. Легкая рубашка, перехваченная в талии широким поясом, открывала длинную шею с ямочкой между ключицами. У нее была чистая голубоватая кожа и тонкие сильные кисти. Окинув меня спокойным холодноватым взглядом, она пригласила к столу. Поставила чай, масло, толстые ноздреватые ломти хлеба и ушла на камбуз перетирать кружки. На судне никого не было, и Тамара приводила в порядок свое хозяйство.

Мы сдружились. Раз в два с половиной дня я стоял суточную вахту. В свободное время уезжал в город, бродил по сопкам Владивостока, а устав, садился на катерок и пересекал бухту Диомиды, спеша домой. Меня уже тянуло в теплый

уютный кубрик, к неторопливому вечернему чаю. Поджав под себя ногу, Тамара сидела на табуретке напротив меня и домашничала, как она называла эти вечерние часы: что-то штопала, подшивала, считала простыни и наволочки.

О себе говорила она мало. Да и я больше молчал. Мне нравилось просто рассматривать ее спокойную холодноватую красоту. Я знал, что плавает она уже семь лет, с двадцатилетнего возраста, недавно списалась с краболова, «чтобы поспокойнее было». Была замужем, развелась.

Весеннее солнце пригревало все сильнее, и иногда мы растапливали одеяла и грелись на палубе. Как-то я заметил на ноге у Тамары длинный узкий шрам. Он начинался на внутренней стороне ноги выше колена и уходил под плавки.

— Что это, Том? — спросил я.

— А, черт! — досадливо поморщилась она. — Вот вечно так. На пляж выйдешь, все плятятся...

— Ну, извини...

— Да ладно. Это у меня с молодости, когда мы с подружкой на Севере в лагерях работали...

— Как это работали?

— Ну, не понимаешь, что ли?.. Наседками мы были. Нас подсаживали в зону. Мы раскалывали тех, кого надо было. Наседками таких называют... И кто-то нас предал. Подружку мою убили. Всадили девки нож ей в матку и распорол до пупа. А мне вот... повезло. Скользнул нож только. А тут охрана прибежала. Отбили меня... После этого и с мужем разошлась.

— Понятно, — только и сказал я.

Тамара легла на живот и положила голову на руки.

Не знаю, оттуда она это вынесла или нет, но со своей холодноватой сдержанностью она умела великолепно применяться к обстоятельствам.

Судно стало постепенно заселяться. У Володи, капитана, то и дело гостило разное начальство. Ко всем Тамара присматривалась, ничем не выдавая, что она думает о гостях, которым ставила выпивку и закуску, но когда она вступала в разговор, то находила совершенно точную интонацию. Никогда я с ней не показывался вне судна, но, думаю, с этой тонкой строгой женщиной можно было бы прийти в самую интеллектуальную компанию — и там она оказалась бы на месте. В крайнем случае, весь вечер сидела бы молча, улыбалась время от времени и, прищурясь, курила бы длинные японские сигареты.

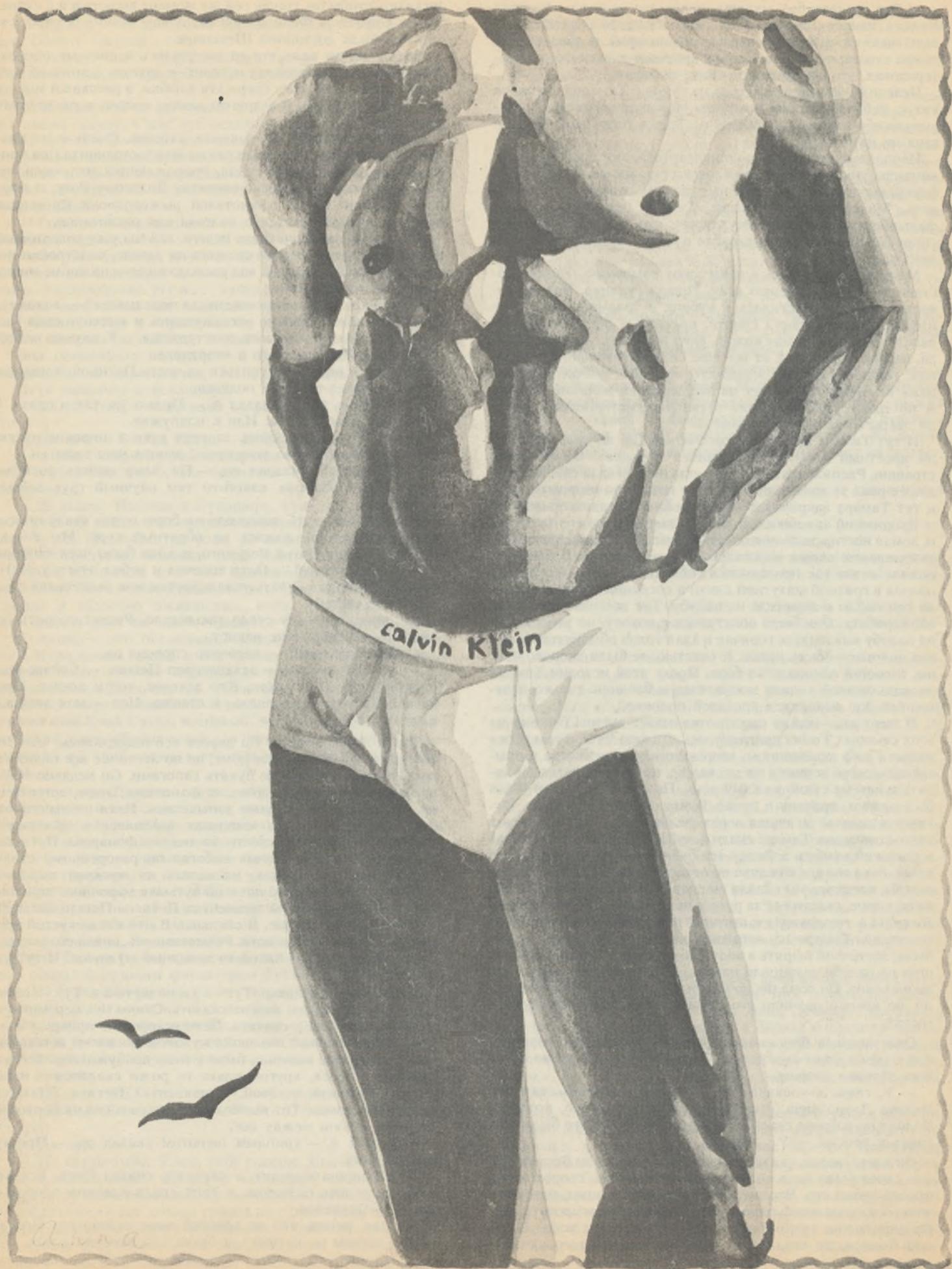
Пришел и поселился в кубрике, на нижней койке Колька Сайдачный. Белесые его вихры торчали клоками над красным бугристым лицом. Мы с ним как-то подружились, и от него я услышал о Томкиной репутации.

Оказывается, у нас на судне была своего рода достопримечательность Приморрыбфлота.

— О, браток, это еще та баба, — говорил Колька. Мы сидели с ним на корме, с ногами забравшись от ветра внутрь стоящей на борту пушки, и покуривали. — Ты думаешь, она почему ушла с Крабфлота? Спокойной жизни захотела? Фига! Её за блядство оттуда выгнали. Понимаешь — с Крабфлота!.. Во баба!

Я понимал, что так изумляло и восхищало Кольку.

Краболовы уходили в море на шесть-семь месяцев. Это были огромные плавучие заводы, все население которых составляли молодые здоровые девки. Все эти семь месяцев на судне кипели страсти. Рыбачки бурно выясняли отношения — кто с кем спит, кто у кого отбил парня, — смачно материли соперниц, а порой, когда страсти накалялись, вступали в рукопашную. И замполиту, и капитану, помимо прямых своих обязанностей, работы хватало. Но в общем, все это было в порядке вещей, и особого внимания на эти дела никто не обращал.



anna

— Эта шалава без мужика никак не может, — говорил Колька, цвиркая сквозь зубы длинной желтой слюной. — И ведь мало ей одного. Несколько ей подавай, и обязательно лбами столкнет их! — и Колька кратко и энергично охарактеризовал, что он думает о таких шалавах.

Незадолго до моего прихода на судно с Тамарой случился казус. Ребята, которые помогали ей выкручиваться, рассказывали обо всем со смешками, но Томка тогда была перепугана не на шутку.

Неподалеку от «Ишхана» пришвартовался сейнерок. Часть команды ушла на берег, а человек семь-восемь остались на борту, вытащили припрятанные запасы спирта и стали гулять. Маясь неясной тоской, Тамара перегнулась через фальшборт и покликкала мужичков: что там, мол, глушить спирт без закуски, заглядывайте в гости, заодно и мне веселее будет.

Мужички завалились в нашу кают-компанию. Тамара поставила на стол соленую кету. Пошла гулянка. Через полчаса Тамара спустилась в кубрик с тралмастером. Поднявшись, тот хватанул спирта, крикнул и обессиленно отвалился в угол. Снимая кожан, вниз поспешил другой. Тамара, нервно вздрагивая от все еще неудовлетворенного желанья, голая и горячая, ждала его на узкой коечке. Парень, даже не снимая сапог, лег на нее, вдавил в жесткий матрац. А по трапу уже грохотали остальные, нетерпеливо дергали дверь: «Время, мать твою!..»

И тут Тамара чего-то не рассчитала. То ли силы свои, то ли яростный пыл изголодавшихся мужиков, но ей стало страшно. Распяленная на койке, она не успевала свести ноги, как ее рвал за колени другой. Уже пошли по второму кругу, и тут Тамара закричала: «Дайте себя в порядок привести!»

Входивший замешкался, Тамара вытолкнула его за дверь, и, ломая ногти, стала поднимать паёлы, металлические щиты, закрывавшие вход в межпалубное пространство. В чем мать родила — вот где пригодилась гибкость ее тела — она проползла в грязной мазутовой слизи в соседний кубрик, открыла там паёлы и вылетела на палубу. Тут как раз подходили наши ребята. Они было покатались с хохоту, но увидев, как на палубу выкатилась горячая и злая толпа обманутых рыбаков, поняли — быть драке. К счастью, те были здорово пьяны, и гостей покидали за борт. После этой истории Тамара несколько дней ходила молчаливая и бледная, только искусанный рот выделялся кровавой полоской.

И надо же — какие штуки откальвает жизнь! Одному из этих семерых Томка приглянулась. Да как! Что он там успел увидеть в ее искаженном, запрокинутом лице, когда в прыгающем свете ночника насиловал ее, не знаю, но стал он ходить к нам на судно каждый день. Пьяным. Во хмелю Федя был мрачен, драчлив и пугал Томку до потери пульса. Путаясь в леерах, он падал через фальшборт и втискивался в кают-компанию. Тамара скалила зубы, бледнела и вжималась в узенький камбуз, а Федор все бубнил какие-то слова и лез к ней, пока мы его вежливо не оттащивали за штаны. Но однажды, когда все мы сидели внизу в кубрике, он поймал Томку на корме, схватил ее за руку и прохрипел: «Люблю, стерва! Ложись! А то зарежу!» и потянул ножовочное полотно из-за голенища. Тамаре не осталось ничего другого, как, в чем была, ласточкой нырять в воду. По счастью, тут мы, услышав шум на палубе, высыпали наверх, и Коля первый понял, что происходит. Он сбил Федю на крышку трюма, и мы беззлобно, но крепко поучили его ногами: знай, как вести себя в гостях.

Оклемавшись, Федя маленько сориентировался и снова полез к нам в кают-компанию. Он сел в углу и мрачно обвел всех темным взором.

— У, гады... — сказал он и уперся в нашего старпома Исаака Давидовича, старенького и бестолкового, которого Володя по доброте своей взял в рейс, чтобы у того была прибавка к пенсии. — У... еврей!

Он хотел, верно, сказать «жид», но на Дальнем Востоке такие слова были не в ходу и не в чести, и он, скорее всего, просто забыл его. Что он там бурчал, расслышал, наверное, только я, сидевший рядом, но не успел среагировать, как Федина голова гулко стукнулась о переборку: успел Петя, наш боцман. Он взял Федю за кадык, прижал того к стенке

и сказал, чтобы он, гнида, сей же момент выметался с судна. Так и кончилась Федина любовь. А мне иной раз кажется, что она была достойной Шекспира...

Нет, в самом деле что-то сместилось в системе оценок. Вот сейчас вспоминаю эту историю и другую, о которой расскажу ниже, и не могу сдерживать улыбки, а расскажи мне их кто в другое время и в другом месте, может, и по-другому реагировал бы...

Значит, собрались мы, наконец, уходить. Очень я это красиво в свое время описал: и слезы жен, остающихся на причале, и длинные гудки судов, провожающих нас, пока мы медленно ползли по нескончаемому Золотому Рогу, и жаркие объятия Зины, пышнотелой рыжеволосой Петькиной жены, с которой он всего полгода как расписался.

Делать на пароходу было нечего, всё мы уже подготовили к рейсу во время долгой стоянки на заводе, надстройки покрашили. Всей командой мы расположились на корме и покойно себе покуривали.

— Что-то сейчас моя рыженькая поделывает? — вздохнул Петя. Он лежал, вольно раскинувшись и вытянув свои бесконечные ноги. — Скучает, толстущечка... К хахалю небось побежала. Или ждет его в квартирке.

Чего-то я решил вступиться за честь Петинной жены, которую и видел-то всего полчаса.

— Да брось ты, — сказал я. — Прямо уж так и сразу. В кино, наверное, пошла. Или к подружке.

И тут из-за надстройки, засунув руки в широкие рукава бушлата и непонятно усмехаясь, вышел наш капитан.

— Ну, орлы! — сказал он. — По дому небось соскучились? Идем обратно, какой-то там научный груз забыли снабженцы.

И точно, нас чуть положило на борт: судно стало описывать циркуляцию, ложась на обратный курс. Мы только вышли в залив Петра Великого, и хода было часа полтора.

— А вот спорим! — Петя вскочил и отбил чечетку. — На коньяк! Ей-богу — спать укладывается моя рыженькая с каким-то хахалем!

Не знаю, чего ему стало так весело. Решил спорить солидный наш Маркони, радист.

— Как проверим? — деловито спросил он.

— А очень просто, — затараторил Петька. — Сейчас пришвартуемся — и в такси. Кто захочет, тот и поедет. Проверим. Если все в порядке, я ставлю. Нет — моя закуска, ваше все остальное.

Так и договорились. По дороге все изошрялись, чего мы там найдем в Петькином доме, но по лестнице все поднимались молча, стараясь не бухать сапогами. Он недавно получил квартиру в новом доме, на 8-м этаже, лифт, естественно, не работал, и мы даже запыхались. Петя неслышно открыл дверь, и мы на цыпочках ввалились в прихожую. Карандашным лучом своего японского фонарика Петя осветил столовую. Лучик побегал по разоренному столу. Остановился на крабах, на салате из мускула морского гребешка и на изрядно початой бутылке марочного коньяка. «Есть! — возбужденно прошептал Петя. — Пошли дальше!»

И мы пошли дальше. В спальню. В ней стоял густой аромат табачного дыма и пота. Разметавшись, спала его кисонька, а рядом с ней — какой-то невидный мужичок. И тут уж мы застыли.

Стало как-то неловко. Тут — уж не шуточки. Тут — семья рушится. На глазах, можно сказать. Стоим мы, переминаемся, не знаем, что и сказать. Петя осторожно прикрыл жену одеялом и легонько похлопал мужичка по плечу: вставай-ка мол... Жуткое, наверное, было у него пробуждение. В глаза фонарик уперся, кругом какие-то рожи скалятся — и все молча. «Вставай, вставай, — прошептал Петя. — Разлегся, как у себя дома». Тот выполз из постели и сел на корточки, засунув ладони между ног.

— Гольй я, — хриплым шепотом сказал он. — Простудиться могу.

— Медицина вылечит, — серьезно сказал Петя. Все эти диалоги велись шепотом, и Зина спала крепким здоровым сном. — Одевайся.

Хахаль, поняв, что по крайней мере сейчас его бить не будут, штаны не натянул, а буквально вскочил в них.

— Оделся? — добродушно спросил Петя. — Вот и хорошо. Шейку закутай.

Он подвел его к дверям и дал такого пинка, что тот, по-моему, просто перелетел через перила и гулко шмякнулся вниз.

Петя вернулся из прихожей и приглашающе указал нам на дверь: прошу, у нас тут остались чисто семейные дела.

На другое утро из-за него отход задержался часа на полтора. Петя пришел бледный, помятый и какой-то не в себе. И лишь когда мы отшвартовались, привели все в порядок и снова собрались на корме, Петя рассказал, что случилось после нашего ухода.

— Грустно мне стало, сил нет. За что ж ты меня, сука, предала, подумал. Сел к столу, выпил коньячку, задумался, как я ее увечить буду. И что-то меня разморило. Завтра, решил я, с ней поговорю. А пока все ж таки в своем законном доме. Разделся, лег. Ну и . . . заснул. А утром Зинка просыпается, тянется ко мне и ласково так мурлычет: «Сенечка, голубчик. . .» Ну, я спросонья не разобрал, что там вчера было, и брякнул: «Какой я там тебе Сенечка! Петя я!»

Она посмотрела на меня — и брык с постели. Только захрипела. Я перепугался, «скорую помощь» вызвал. . .

Петя замолчал и всхлипнул.

— Да ты что? — испуганно вскрикнула Томка. — Неужто? . . .

— Да нет, — сказал Петя. — Инфаркт у нее.

— А еще говорят, у баб инфарктов не бывает, — с мрачной глубокомысленностью заключил Трал. — Ничего, они живучие. . .

. . . В заливе Измены в Кунашире, куда мы пришли после Сахалина делать съемку поля анфельции, все время моросил дождь. Температура воды не поднималась выше двенадцати градусов. Основная доля работы падала на нас со Славкой, водолазов, но и всей прочей команде приходилось несладко. Поэтому вечерами мы все слушали циркуляры о погоде и радостно оживлялись, когда становилось ясно, что циклон идет на нас и придется убраться на Шикотан.

Кунашир — это последний, самый южный остров Большой Курильской гряды, и его можно найти даже на самой мелкой карте. Малая Курильская гряда видна только на крупномасштабных картах. Шикотан — или, по-японски, Сикотан — крупнейший ее остров, и именно здесь знаменитый мыс Край Света, воспетый поэтами. И в самом деле, когда-то у его обрыва кончался худо-бедно обжитой мир и начинался Тихий океан, а что там за ним было — один бог знал.

На подходе Шикотан потрясал фантастической красотой своих мягких покатых сопков, покрытых изумрудной зеленью. Извилистая береговая линия таила в себе маленькие — по тихоокеанским масштабам, конечно, — уютные бухточки. И если сравнить ее с бутылкой, то вход в бухту был как горлышко — длинный и узкий, только что бортами не царапали о высокие темные скалы. Проскочив сквозь это горлышко, мы попадали на гладкое зеркало воды, окруженное сопками. За их защитой не был страшен никакой циклон. Впрочем, Володя как-то показал мне ржавые остовы судов на берегу. В одну несчастливую ночь ход циклона акkurat совпал с прямым фарватером бухты, и он ворвался в нее. На берег, как щепки, вылетели двенадцать судов. Так и остались лежать там на веки вечные.

Но, конечно, не пейзажи Шикотана и не достоинства его причалов вызывали у нас столь радостную реакцию.

Когда мы вошли туда первый раз, Коля прочел мне краткую лекцию.

— Ты вот что, — сказал он. — Главное меня слушай. И не откальвайся. А то плохо будет. Девки уташат и изнасилуют.

— Да ну?

— Не скаль зубы. Точно тебе говорю. Знаешь, какие они там голодные ходят! Спирт-то возьмешь с собой? А?

В голосе Коли появились спирительные нотки. Дело в том, что фактически все запасы спирита на судне хранились у нас, в туго набитом рундучке запасливого и прижимистого Славки. Когда он убедился, что эти сокровища меня не очень волнуют, он стал мне доверять ключ, и в принципе я мог

брать спирта сколько хотел. По традиции, перед уходом в рейс водолазы ставят команде пару графинов спирта и получают железное право отказать всем и всякому — кроме случаев необходимой медицинской помощи.

— Значит, возьмешь спирт, — повеселел Коля. — Тогда твое дело без меня совсем плохо будет. Точно говорю. Ты смотри. Сюда на навигацию свозят пять-шесть тысяч молодых девчонок. Живут они по десять человек в комнате, вкалывают у разделочных столов, как карлы, когда рыба идет. Тут тебе не до охраны труда. Стоят по шестнадцать-восемнадцать часов. И сухой закон. Если они после работы балдеть будут, все планы полетят. А бабы молодые, лет по девятнадцать-двадцать. Оторвы — не дай господи! Мамины дочки за тридевять земель за длинным рублем не поедут. А ребят на острове раз-два и обчелся. Всех не обслужат. Проходит месяц, другой, и начинают девки беситься. Так что ты за меня держись, вдвоем они нас не осилят. . .

Коля, конечно, больше пугал меня. Никто нас не насиловал и в кусты не затаскивал. Но что было, то было — девки смотрели на нас голодными глазами.

Мы пошли на вечер в клуб «Океан» — огромный, с высоким потолком дощатый барак. Море разлитое женских голов встретило нас. Над водопадом русских, черных, рыжих локонов и кудрей местами возвышались темные бушлаты моряков. Один бушлат пригласил мою соседку. Кольхнув бедрами и бросив косо торжествующий взгляд на подруг, она поплыла в танго.

— Повезло Надьке, — горько вздохнула аппетитная пампушечка. — Второй раз приглашают.

— Чего там повезло! — вмещался Коля. — Вы что ли хуже? Мы здесь, вы напротив. Соединимся?

— Ну, это как сказать, — кокетливо повела плечами пампушка, но Коля пресек эти антимионии с прямою римлянина. — Спирт есть.

— Так чего ж вы молчали! — вскинулась еще одна из компании. — У нас навага есть! И варенье из рябины! Пошли отсюда!

И мы пошли, и сели за навагу, мазали хлеб толстыми слоями варенья и пили спирт вместе с милыми добрыми девчонками, которые смотрели нам в рот и попутно штопали наши робы и все время потчевали нас, а как мы добрались на судно, я не помню, потому что мы, скорее всего, так и не добрались, а заночевали на пристани.

Все, что я пишу, кто-нибудь когда-нибудь будет читать, и об этом все время помнишь. С одной стороны, видеть своего читателя — это хорошо, а с другой — не очень, так как невольно то притормаживаешь, то приглаживаешь повествование. Что греха таить, хочется тебе показаться и посмелее, и помужественнее. . . Но эти истории, что я вспоминаю «без руля и ветрил», стараюсь излагать с предельной откровенностью. И, честное слово, переспя я с кем-нибудь на этом веселом острове, так бы и рассказал об этом. Но чего не было, того не было. . . И, конечно, не потому, что не с кем было. Выбор был на загляденье: тут уж Коля не врал. Но мне куда интереснее было просто ходить и глазеть на то, что делалось вокруг.

Глазеть было на что. Несколько дней не шла рыба. И тут как раз подгадал День рыбака. Местное начальство распорядилось выкинуть в магазины вино. Дешевую крепленку покупали ведрами. На комнату в бараче в среднем приходилось полтора-два ведра. С самого утра магазин осадил гомонящие девичьи толпы. А к вечеру остров был пьян. Бараки, чьи светлые ряды карабкались по зеленым сопкам, гудели и галдели до утра.

Коля, стреляный воробей, почти насильно влил в меня несколько ложек теплого растопленного масла. Даваясь от отвораченья, я проглотил его и сейчас был ему благодарен: только легко кружилась голова и воспринимал я все с резкой, почти болезненной остротой. Вот вывалилась из соседней комнаты высокая красивая девчонка, прислонилась к косяку, разметав длинные черные космы, застонала, почти заплакала: «Никому я не нужна, никто меня не хочет! Никто мне ноженьки не раздвинет. . . о, господи!» Увидела меня, отвалилась от стенки и застыла, придерживаясь рукой:

«Парень! Хочешь — дам? Я, знаешь, какая горячая. . .» И тут ее утащили обратно. . .

. . . И уж не помню, с кем бродили всю ночь, остерегаясь жгучей травы «ипритки», чьи губы целовал, чьи полные теплые груди грели мне руки. Пришел в себя только на пирсе. Начинало светать, бараки затихали, на зябкую стылую воду ложилась полоска рассвета.

— А Томка-то что? — вспомнил Коля.

— Ох, Томка-то. . .

На переходе к Шикотану Томка ходила ошестиненная и злая, как кошка. Не скрывая своей ненависти к нам, веселым и оживленным предстоящим свиданием, кидала на стол тарелки, швыряла масленки. Капитан только посмеивался. Тамара ему нравилась, и он многое спускал ей, на что она по неписаным законам кают-компании не имела права.

Мужик он был дошлый, умный и все понимал. Да, впрочем, все было ясно. Плохо было Томке, совсем плохо. Второй месяц никто не баловал ее. Просыпаясь ночами, я слышал, как постанывает она и скрипит под ней койка. А теперь вот жеребцы уходят размагничиваться к этим шалавам, а я вас обслуживай — так нет же, не будет вам обхождения. И летели винтом по столу тарелки. . .

На берег Тамара сходить не стала, а у трапа поймала меня.

— Милый, дорогой, — быстро заговорила она, заглядывая в глаза и как-то странно изгибаясь в талии, — выручи Томку, принеси водки, на вот тебе деньги, принеси только, не обмани Тому, прошу очень. . .

Кто я такой был, чтобы читать ей морали?

— Сколько?

— Две бутылки.

— Ладно. Только смотри, Томка. . .

— Иди, иди, знаю.

И подтолкнула с трапа: скорее.

Водку я ей принес. И мы ушли с Колей.

В кубрике еще никого не было. Команда гуляла на веселом острове. Я откинул полог нижней койки. Тамара лежала разметавшись, раскинув руки, и тяжело, хрипло дышала; над ней стоял густой сивушный дух. У головы каталась пустая бутылка; вторая, наполовину опорожненная, стояла в рундучке — на завтра на опохмелку.

— А ведь хорошая баба, — неожиданно сказал Коля. Он лежал на спине и чесал меж пальцев. — Своя в доску. И чего ей так не везет? — И, помолчав, глубокомысленно заключил: на передок слаба.

А через месяц, когда мы со Славкой уже пахали дно у Южно-Курильска, Коля понял, что в этой слабости была Томкина сила, и сгорел. Черт их знает, где они находили место уединяться. На верхней палубе, наверно, в шлюпках — больше негде было. Все судно двадцать метров в длину. Но Томка неузнаваемо изменилась, округлилась лицом, повеселела и варила нам отменные компоты по воскресеньям. Коля у нее стал Коленькой, ходил все время в отглаженных рубашках, и на берег они всегда сходили вместе. Томка вела Колю под руку, ни от кого не скрываясь, и брала у него деньги на туфли и пудру. А Коля ходил этаким смущенным гоголем.

Правда, совсем уж основательно в этом положении Тамара утвердиться не смогла. То, что он мужик, Коля никогда не забывал и не позволял это Тамаре. Как-то пришли опять мы на Шикотан, опять Тамара злилась, отпуская нас на берег, — но уже по другой причине, а вернуться вовремя на судно мы так и не успели: по распоряжению продпункта судно отогнали на середину бухты. Мы и просидели всю ночь на берегу и добрались, голодные и промерзшие, на борт лишь к часам девяти. Завтрак нам Тамара подавать отказалась. Время вышло — и все тут, и плевать я на вас хотела. Так она бушевала в кают-компании, пока Коля тяжело не поднялся из-за стола и не звезданул ей по физиономии. Тамара аккуратно влетела в камбуз, откуда показалась молчаливая и смиренная, с чайником в руках и буханкой хлеба под мышкой.

И все-таки шалава она была. Убедился я в этом на Сахалине. Володя, наш капитан, давно положил на нее глаз. Надо сказать, что на таких небольших — да, впрочем, и на всяких — судах это вполне в порядке вещей. Стюардесса об-

служивает капитана. Если он хочет ужинать у себя в каюте, она приносит и убирает прибор. «Постели-ка постель», — однажды говорит капитан. И несколько погодя: «Оставайся». Кто предлагает, кто просит, а кто и просто приказывает.

Мы дружили с Володей, и он не скрывал от меня, что Тамара ему нравится. И тем не менее, она никогда не оставалась у него в каюте. Человек он был порядочный и хотя знал, что его никто не осудит за то, что он воспользовался своим неписанным правом, Володя держался.

Рейс уже подходил к концу, мы стояли на нашей базе в Антонове. Вернувшись с берега, я собрался было зайти к капитану, как увидел, что иллюминаторы его каютки наглухо задраены.

— Не лезь, — ухмыльнулся тралмастер. — Томка там у него.

Сев рядом с Саней, я стал помогать ему плести металлические огоны. Штука это была хитрая, и я быстро исколол себе пальцы. Надо было расплести тугой и масляный стальной трос на отдельные пряди, подраспугнуть тугие витки троса и по одной просовывать пряди между нитками.

— Я этих тросов не одну сотню заплел, — хрипло сказал Трал. — Как из водолазов ушел. Это уж после Москвы было. . .

— Когда это ты успел в Москве побывать? — удивился я. Вопрос был не из очень умных — что ж удивительного, если человек в наши дни побывал в Москве, — но Саня казался мне настолько слитым с судном, морем, сетями и рыбой, что. . . что как-то странно было представить его на московских улицах. — А вот успел, — хитро сказал Саня, прижмурился и даже головой помотал, что-то там свое вспоминая о Москве.

— В Третьяковке, конечно, побывал, — поддел я его, — на Красную площадь сходил. . .

— Да нет, — простодушно сказал Саня. — Мы всю неделю из Внукова так и не вылезали.

— Как это? — тут уж я сам удивился.

Саня с удовольствием стал рассказывать. Но уж лучше я перескажу его повествование своими словами. Санина речь представляла собой нечто удивительное. Как-то взял я с собой в кают-компанию секундомер, и когда Саня открыл рот, нажал на кнопку. А потом произвел несложные подсчеты. Он матерился в среднем каждые шесть десятых секунды. Остальные слова изредка служили связками. Тем не менее, речь его была эмоциональна, содержательна и насыщена.

Значит, в свое время Саня служил водолазом на спасательном судне. Надо сказать, что моряки на Дальнем Востоке вообще получают много; больше всех спасатели, а из них — водолазы. Платят оклад, северные, широтные, премии за спасение и что-то там еще. Как-то в Бристольском заливе случилась беда у одного нашего траулера, и спасатель «Гордый», отвалив от пирса, помчался к берегам Америки. Не успели справиться с этим делом, как радиограмма: идти на помощь в другую сторону. И еще одна. И еще. Словом, спасатель, не заходя в порты, болтался в море без малого полгода, и когда возвращался во Владивосток, на счету у водолазов лежала кругленькая сумма, которую им предстояло со вкусом истратить за время отпусков и отгулов, которых собралось тоже немало. Капитан заранее передал по радиации все необходимые данные, и к моменту прихода «Гордого» в порт все расчеты в бухгалтерии были закончены. Получив в кассе деньги и еще не успев переодеться, водолазы — их было трое — решили отметить швартовку и поехали в «Золотой Рог». Что они там заказывали и что делали, я уже не помню, но Саня многозначительно сказал: «Они нас там долго помнили». Когда «Золотой Рог» закрылся, они перебрались в «Волну», но и оттуда их попросили часика в три. Делать было нечего, и водолазы поехали на такси за 6 километров в аэропорт, где гуляли до шести утра. Это было просто обидно, веселье только начиналось. И тут Саня пришла в голову гениальная мысль.

«А не махнуть ли в Москву?» — спросил он, и двое приятелей с удовольствием поддержали его. Или, может, он ничего не говорил, а просто направился к кассе и взял три билета до Москвы на ближайший рейс. Мелочиться, когда

хотелось выпить, не имело смысла, потому что в карманах все равно оставалось по несколько тысяч.

В Москву они прилетели утром, как раз к открытию ресторана в аэропорту. Перелет прошел плохо, ребят мучило, еле шевелились толстые языки, как ободранные рашпилем, и, едва спустившись с трапа, они припустились в буфет.

Вечером их вынесли из ресторана и положили на красные бархатные скамейки в зале ожидания. Проспавшись, они помылись в туалете и снова пришли в ресторан, откуда вечером... смотри выше.

— Ничего не помню, — со сдержанным восторгом рассказывал Саня. — Во гуляли! Весь зал поили! Оркестр только для нас и играл!

Так неделю они жили на скамейках.

А между тем за двенадцать тысяч километров дела складывались таким образом, что спасателю пришлось срочно выходить снова в море: путина шла тяжелая, многие суда нуждались в их помощи. Водолазы как в море канули. Старпом объехал их дома. Кормильцев там и не видели. Но старпом был мужик тертый, и он кинулся по ресторанам. Таким образом он добрался до аэропорта, где ему сказали, что видели трех водолазов, улетающих в Москву. Старпом купил билет и сел в тот самый самолет, что ровно неделю назад унес его водолазов в стольный град. Прилетев утром, он увидел их опухшие и небритые физиономии. Водолазы только вставали ото сна.

— Так вашу и разэдак! — сказал старпом, подходя к команде. — Путешественники! Сколько у вас в кармане денег-то?

Набралось рублей пятнадцать. «Как раз на опохмелку», — пробурчал Саня.

— Как же вы возвращаться думали? — ехидно осведомился старпом.

— Так, Андреич, — забубнили в голос все трое. — Так разве мы волновались? Мы же знали, что ты мужик свой, не бросишь...

— Марш к самолету! — скомандовал старпом и повел свою команду на взлетное поле. Рейс во Владивосток — такси до пирса — на борт — и снова в море.

«Ах, хорошо погуляли!» — с душой сказал Саня Трал...

Как Тамара ушла от капитана, я не видел. Стало темнеть, и я спустился в свой кубрик, но дверь была заперта.

— Это кто там? — быстро спросила из-за двери Тамара.

— Да я, открой!

Она, не поднимаясь с койки, откинула крючок.

— Колька-то пришел?

— Не видел.

Коля пришел с берега через полчаса. Ему уже доложили о происшедшем. В кубрике было душно, я поднялся наверх и сидел на борту, болтая ногами. Коля сел рядом.

— Она внизу? — после долгого молчания спросил он.

— Внизу.

— Сейчас я к ней спущусь, — с расстановкой сказал Коля.

— Ваши дела, — сказал я, — сами и разбирайтесь. Но я тоже спущусь, чтобы ты там дров не наломал.

— Ну-ну, — неопределенно сказал Коля.

Как там у них шло выяснение отношений, я сверху со своей койки не видел, только слышал горячий Томкин шепоток: «Коленька, миленький...» и потом два сочных удара. Коля выпростал ноги из-под полога, оббил руки о штаны и ушел из кубрика. Наутро Тома красовалась тяжелым синяком под глазом, а вся команда со своеобразным интересом наблюдала за развитием событий. Но их не последовало. Коля был отменно вежлив с капитаном, исправно нес службу, а Володя делал вид, что в общем все нормально.

Наверно, так оно и было, но я все же спросил капитана, не скрывая ехидцы, что ж он неотреагировал на украшение под глазом у буфетчицы. Конечно, не мое это было дело, но я чувствовал, что Володя сам ищет этого вопроса.

Он никогда не обходил острые углы жизни. Поэтому и был хорошим капитаном.

— Ну что тут сказать, — он развел руками. — Дурак я, за это и попал в дурацкую ситуацию. Кругом я виноват перед Колей, и подними он шум, плохо бы мне пришлось... Он молодец, что и говорить... О себе я этого сказать не могу.

А потом нас внезапно послали на Шантарские острова, и стало не до этих дел. Был сентябрь, а сверху на нас уже шел мелкий сырой снег, мы со Славкой коченели в ледяной стылости и сутками не могли отогреться. Стали мы все злые, начали кидаться друг на друга, и теперь, когда говорят о психологической совместимости, я всегда вспоминаю эти недели на Шантарах, вспоминаю с неприязнью, потому что мало приятно знать, какие запасы злобы и неуживчивости ты в себе носишь...

... Но все кончается. Завершился и мой рейс. Вернулся я во Владивосток, получил большие деньги, ходил по лучшим ресторанам, ел рябчиков и трепангов. Рябчики, вскормленные на горных лугах, очень мне понравились, а трепанги — нет: напоминали они безвкусную резину, и ощущал я лишь аромат лука. Подружился я с хорошими ребятами, стал захаживать в редакцию, постепенно расставаясь с привычками и обликом матроса-аквалангиста первого класса. И вернувшись домой, окончательно вспомнил, кто я и что я, и часто рассказывал друзьям и просто знакомым разные байки о страшном проливе Линдгольм и утопшем капитане, который плавал под потолком каюты своего погибшего судна и которого мы вытаскивали на палубу по частям. Рассказывал и о том, что здесь написано, — о тонкой строгой Тамаре, которая умирала без мужчин, о моем друге Кольке — за драку сел он на год в Николаевске-на-Амуре, меня в тот день не было рядом, — о веселом острове Сикотане.

А писал вот о другом. О маленьком судне, что работает у далеких берегов, о том, как поднимается к твоим глазам морское дно, о свирепых и трусливых камчатских крабах, о голубых льдах под красными скалами.

Так оно все и было. Но все время хотелось мне рассказать вот обо всем этом.

И вот взял и написал...



ВЛАДИМИР КУЧЕРЯВКИН

Когда в гардеробе светло и чудесно,
И дым поднимается, словно от Бога,
И где-то в углу шустро бегают песни,
Призывно, светло и для вида чуть строго,
Тогда надеваешь в душе, как бродяга,
Пальто, там, и шляпу, и палку сжимаешь,
Отбросив крутую дневную бодягу,
Свободно по жизни и бегло хромаешь!

Но если нахмурилось все в гардеробе,
И щеткою грязною смотрит, сощурясь,
Тогда — словно двери таинственно гроба
Далеко в душе есть на сердце, а бомба,
И бездною смотрят раскрытые вежды,
И хочется быстро уйти в катакомбу
И там сохранить хоть какую надежду.

ХОЛОДНЫЙ ПЕЙЗАЖ СТЕПИ С ПИСАТЕЛЕМ

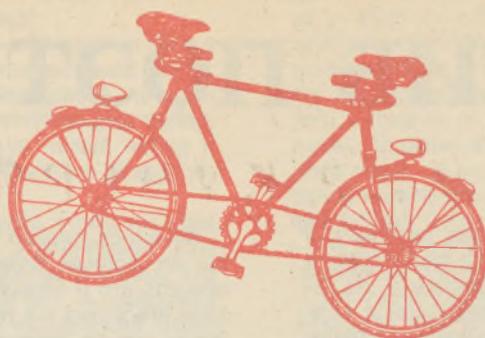
Наклоня задумчивый глаз за ворота,
Где писатель снимал аппаратом следы
Жирных мух, по степи наследивших чего-то,
Я сидел у окна, словно дева в темнице.
Ну а он, пробежал он по улице вдаль,
Свой прекрасный блокнот обнимая,
И блестел, как потертая на гимнастерке медаль,
Фотоаппарат свой слегка нажимая!
И качал головой я в степи за ворота,
Где осенние травы намокли дождем,
Где летела, там, птица, или ветер ненастный
Пролетал над осенней тревожной землей.
Я ж глядел у окна, а писатель, он тучей
Проходил над холодной этой землей
И холодным мне псом обернулся, могучий,
Будто чуял отчизны гнилье.
Сам осенний листок на ветру, весь прекрасный и мертвый,
Иль дождем мимо окон проходил он,
Мимо бревенчатой серой стены,
Где глаза мои в окнах летели, как птицы.

Когда рассказывал ты что-то из газеты,
То морщилось и прыгало лицо,
А двор, деревьями полуодетый,
Был уж совсем задохшимся борцом.

«Да здравствует», — хотелось бы подумать,
Но медленный скандал уже ослабевал,
И двор спокойно отлетал, косясь угрюмо,
Как будто он в груди моей уж побывал.

Когда придет моей стране каюк,
И сердце странное ее престанет прыгать,
И космос вещей ей протянет вещей крюк,
Чтоб никогда уже не трогать.
Я, словно некий принц, приеду в экипаже
И эту осень проведу в моем слепом дворце,
Ну а она, усталая, в глаза спокойно скажет,
С улыбкой безмятежной на лице,
Мол, все, прости... Но помнишь ли столетья,
Когда мы мощной дланью шевелили строго,
И мир ходил кругом в отчаянном балете?
Теперь — шабаш. Давай молиться Богу.





Когда бежит по проводам искра трамвая,
И уж скрипит в асфальт железная лопата,
И, будто шляпу с головы снимая,
Приходит день, веселый и хрипчатый,
Когда по небу колесница побежала,
И солнце поднялось над пахнущим заводом,
Что медленным ударом тайного кинжала
Идет в сознание встающего народа —
Тогда они встанут и едут на трамвае,
Расходятся куда-то в проходные,
Где утренние ВОХРы, весело зевая,
Глядят на них как бы почти родные,
Куда-то входят, тихо разбредутся
И над станком своим вертящимся склонятся. . .

ЕДУ НА ТРАМВАЕ В КИНО

Фуражка на затылке покачнулась,
Поднятая рукою, полной власти,
И как подрезанный серпом сердитым колос,
Я произнес себе в душе тревожно: «Здрасьте».
То два милиционера сели мне напротив
Спиною, лица которого не помню,
И, как увесистая тетя Мотя,
Страх становится все страшнее и огромней.
Но они весело и тихо обсуждали,
Кого в наряд, кого куда по службе,
И тайные в словах какие-то медали
Все брякали в словах взаимной дружбы,
Равняя взоры на знамена горсовета
И на Неву глядя не очень неохотно,
Где что-то плавало, подобье, что ль, корвета
Или эсминца с пушкой всенародной,
Они заканчивали тихо разговоры
И, будто пьяные, меня насквозь глядели,
А у меня в груди повсюду разбегали воры,
Как на базаре, там, в Багдаде или Дели.

Ложимся ль на пол мы, иль выпьем чаю,
Гадаем на звезду или цветок,
Иль голову вдруг императора встречаем,
Когда мечтою устремился на Восток,
Герои всех эпох, слепые, точно книга —
Посеял Кто-то — и расту, как злак,
И стал себе какой-нибудь Гонзаго
В продутых ветром с моря улицах и снах.
И падаем, смеясь, похожие на листья,
Куда-нибудь на гладь осенних вод,
Или становимся старинною террасой,
Или порхаем на устах, как анекдот.
Увы: какой уж миг не понимаю,
Где небо, где ладонь или крыло,
Сегодня вот проснулся в Идумее,
И, сам старик, в Россию понесло.
Уста наполнены тяжелой гарью,
Но медленно вздохнул — и новый сон,
В котором новою невиданною тварью
Рождаюсь, словно чей-то стон.

НА ЯРМАРКЕ

7 марта 1987 года на 7 линии
возле метро «Василеостровская»
я продавал глиняных зайцев.

Садятся на сознание то и дело,
Как злой паук на тонкое тело,
Два черных и с усами, два милиционера
И в стороне мои разматывают нервы.
Но мне молчат, в перчатках пальцами играя,
Которые, случись, лицо сломают, как сарай.
Но я стоял, и дерево росло.
И будто в их глазу весло
Поднимется, уронит капли, тонет, к нам гребя,
И гордых подминает под себя.
Но ярмарка: шумят, толкаются и покупают,
И блеск в лице, но гадина слепая
Ползет в толпе, ладони протянув,
Как будто хочет взять себе жену.
Горит весь снег, мучительно и страшно,
И весь табун позорами украшен,
Ты взял, купил, я подсчитаю рубль,
И мне в груди сыграют нежно трубы.
Проехала карета: два больших коня,
Витрину с отраженьем заслonya,
Где я, совсем потерянный в тенях,
В пальто одетый и почти что прах,
И вновь они: толпу усами разрезают,
А то скакнут, как хищный заяц,
И повели, а мне на сердце горячо,
Но я стою, как стойкий старичок.

ИГОРЬ ЯРКЕВИЧ ПОГИБ ПОЭТ...

*Мы наш, мы новый мир построим...
(Из песни)*

1.

Если действие может происходить в городах любимых и популярных, то почему бы ему, действию, не происходить в городе совершенно неизвестном? Какие причины и декларации мешают рассказать о городе провинциальном с первых дней его основания и до сих пор не сумевшем толком заявить о себе? Нет таких причин, тем более и к тому же тень О'Генри, стоящая за плечами, подливающая в стакан и зажигающая спичку, возбуждает и наставляет.

Слышал я много раз об этом городе и безобразиях, творящихся в нем. Но они не радовали меня, и я сразу же переключался на другое, на то, о чем твердо знал: «Это мое». С некоторых пор стал я злой и недоверчивый, многие местные темы разлюбил, занимаюсь только идиотизмом Розанова и урологической болезнью жены. Все же остальные принимаю к сердцу постольку-поскольку, лишь бы не залезало глубоко и, собственно, самого сердца не касалось.

Но тут с утра звонок, и проклятые судьбы захохотав замкнулись на моей квартире. Старый приятель из Маргарина (ударение желательно делать в втором слоге; разумеется, свое название город получил не от той дряни, которую можно купить в нашем магазине, расположенном на первом этаже бывшего доходного дома, а в честь древнего мужика Марги, чья судьба, если честно, малоизвестна, несмотря на некоторые дополнительные разыскания) бросил меня с головой в болото страстей, там я и до сих пор. Но в тот момент я написал на носовом платке пару строк из Надсона и бросился спасать.

Маргарин — город на территории одной из северо-восточных областей, был убог, как бердяевский бог, и помпезен, как недоучившийся крейзи. Жители обожали свое начальство, местную больницу и двух высланных из Москвы за мелкое хулиганство художников, встреченных в городе как родные. Местный секретарь любил пройтись по блядам, и одной из них посвятил стихотворение, где довольно удачно «попка» была зарифмована с «пробкой». Пару лет назад на речном вокзале Храпаренко ненароком был завербован в шиизм и хиппизм; говорят, когда-то в городе прошла пара конференций с участием деятелей литературы, жидо-масонства, революционного движения и вообще культуры. Главной достопримечательностью города был архитектурный ансамбль 18 века, неизвестно какой половины, состоявший из церкви, построенной в 19 веке, и светских палат. Теперь здесь располагался местный КГБ, чьи сотрудники соглашались с удовольствием, переходящим в самопожертвование, провести экскурсии для наиболее интересных посетителей. Местная интеллигенция любила зайти сюда за угол опраться.

Но жил в городе человек, чье имя не должно затеряться в Маргаринском летежном холоде. Меня всегда интересовали люди, до и после своей смерти остающиеся неизвестными и неизученными. Верный Шестову, как Савельич Гриневу, пытаюсь я найти в существовании этих людей потаенный и глубинный смысл. Поэтому, когда блаженный Ваня скажет мне о злой болезни Чурмина, чей исход предрешен, я не сошлюсь на неотложные дела, сублимацию и Катю, обещавшую сегодня вечером все, даже то, что она никогда не умела, а попытаюсь скрасить последние минуты человека, чье значение я никогда не преувеличивал, но отказать в праве на сострадание и сочувствие тоже не мог.

Чурмин, как и все порядочные люди в России в этот период, был поэтом. Вот, кстати, несколько его строк: «Во глупине воротника дымилась бычьей кровью шея, как дым отечества пуשה сквозь баснословные века». Поди плохие стихи!

Казалось, только бы и радоваться городу на своего поэта. Но не любили Чурмина в Маргарине. Старались всячески обидеть его и общаться с ним как можно меньше, не выпускали его в свет и в теневые стороны жизни не посвящали. Не брали его на закрытые беседы, где говорилось о необходимости прямо заявить на демонстрации перед исполкомом, что водка стоит десять рублей, и что местный театр и областный театр, и столичный театр — рутина, и колбаса стоит десять рублей, а педераста может всякий унижить, если пожелает, ибо защиты у него нет (в углу кричали — и про водку не забудь — и про джинсы-варенки напиши). Не приглашали Чурмина на беззаботные выпивки с побрякушками и обсуждением передач западного радио. Не пускали его на собрания, где читались доклады о декадансе и символизме, а втихомолку занимались черной магией. Не любили Чурмина за его строки: «В глухих Эдемских горах, где время навеваает страх».

Таким образом, в Чурмине большого поэта видели совсем немногие: семья да блаженный Ваня, старый мой приятель, добрый христианин. И когда Чурмин тяжело заболел, заразившись на ветеринарной станции, где служил разнорабочим, именно блаженный Ваня известил меня.

Болезнь Чурмина была протестом молодой здоровой творческой души против всего гнилого, что накопилось в Маргарине и вокруг него. Мало того, что Чурмина не признавала официоз-печать, куда он посылал стихи, но и друзья, сограждане отказывали ему в праве считаться творческим человеком. Чурмин злостовал: «Алла Пугачева, Глазунов, Челентано, Астафьев — их тоже не любят, но о них говорят. А обо мне даже ворона не каркнет». И Чурмин брел домой, волоча гири, отлитые из грязи маргариновой и дряни мира. Постоянные наскоки Чурмина на все живое и на людей, чья популярность была вполне объяснима и заслуженна, пагубно отразились на его нравственном иммунитете, и вскоре Чурмин заболел нравственным СПИДом. Блаженный Ваня свечку ставил, воду святую давал попить, телеграмму в ЦК посылал, конфетами финскими кормил, но ничего не помогало, и вскоре ситуация стала откровенно кризисной. Спасти умирающего было нельзя, но облегчить его страдания можно.

— Что нужно делать? — спросил я Ваню, после того как он, явившись ко мне в шесть утра, одетый черт-те как — а за ним волочился тяжелый шлейф маргариновых дел, многое рассказал мне о большем поэте.

— Напечатать, — светло улыбаясь, ответил он, почесывая пяткой икру и блаженно хрюкая.

— Где? — уточнил я. — В Париже? В Нью-Йорке? Под Римом?

— Нет, — снова захрюкал Ванечка, — тут. Иль в «Новом мире», иль в знамени каком.

Я не стану вдаваться в подробности отношений общества и государственных издательств. Скажу только, что и подробности, и отношения до сих пор остаются тяжелыми. Рассчитывать ни на что не приходится. Поэтому, когда в раздумьи я стал ходить по комнате, как большевик по камере, то словно бы ненароком увидел в зеркале следующую картину: — я с Тенгизом и Мамедом — людьми проверенными — идем в редакцию и делаем с ней такое, после чего она печатает Чурмина.

Но Ванечка, как всякий порядочный блаженный, прекрасно читал мысли. Он тронул меня за плечо с крещенья немытой рукой и попросил — без крови, ведь на святое дело идешь. После чего Ванечка лег спать в прихожей с кошкой, а я...

Я поехал поднимать Москву. «Новый мир» — в самизда-

те; такого столица не знала со времен «Иван Денисовича», знаменитого лагерника, но строки «чесет скальп остервенело человек в рубашке белой» должны выйти в свет под официальной обложкой, иначе зачем тогда все!

Что я испытал и какие муки вынес — это мне зачтется в тот день, когда Архангел возьмет нужные ноты на трубе, и Господь наш предстанет перед нами в славе своей, но я добился, чего хотел. Григорьев выкрал из типографии набор, Мамед рассыпал его, мы с Ароном делали новый набор и печатали журнал, отличающийся от задуманного редколлекцией только одним автором.

Мои люди перекрыли вокзалы и аэропорты, чтобы ни один номер ихнего «Нового мира» не попал в Маргарин. Там должен быть только наш «Новый мир». Когда я узнал, что в Маргарине подписчиков на этот журнал нет, а городская библиотека выписывает только журналы «Советский парашют», «Советский парашютист» и просто «Парашютист», также в Маргарин не добраться ни поездом, ни самолетом, а только машиной, да и то не всякой, а только с определенным номером, — я велел снять осаду с аэропортов и вокзалов, но надежнее перекрыть автомобильные дороги. Мамед на всякий случай хотел уничтожить весь тираж ихнего нового мира, чтоб в природе оставался только наш новый мир, но помня Ванечкин завет — без крови, мол, — я отказал ему.

Вечерами Ваня и жена говорили о Боге. Ванечка вскакивал, размахивал руками, произносил нечленораздельные звуки и другие сильные выражения, потом замирал, к чему-то прислушиваясь. Потом учил жену молиться. Иногда старался заговорить со мной.

— Бог для меня, Ванечка, часть нашей жизни, я не чувствую его оригинальности, — после чего замолкал, сквозь сигаретный дым поглядывая на город, потревоженный Чурминым. Ванечка всхлипывал.

— Ну ладно, Ванечка, чувствую, — успокаивал я его.

2

Когда тираж в количестве 10 экземпляров был готов, я разбудил и помыл блаженного, накормил кошку, сходил за лекарем для жены, поблагодарил по телефону за все Катю, и мы отправились. Решили ехать на байдарках, так как по дороге нужно было проверить пароходы. В Маргарине не было пристани, но случайный номер не нашего нового мира мог упасть с борта случайного парохода, доплыть до Маргарина, стать известным общественности и, таким образом, испортить последние минуты умирающего. Этого я допустить не мог.

По дороге я раскрыл журнал (надо же знать, что везешь). Чурмин первый и последний раз опубликовался в очень приличной компании. В номере были напечатаны в разделе «Из литературного наследия» повесть Троицкого «Под желтыми звездами Большой Медведицы» и драма Бухарина «Крестьянка и Верлен».

В разделе публицистики меня заинтересовала статья о нимфомании в Советском Союзе, где автор, известный социолог-наводчик, приводил малоутешительные цифры.

Но больше всего мне понравились стихи, в которых известный поэт рассказывал об аресте своего дяди в 1937 г. Тогда это показалось ему досадной ошибкой, но теперь, когда он узнал, что тогда арестовывали многих дядей, ему уже не кажется случайностью тогдашний арест дяди, и, более того, известный поэт сурово обвиняет гонителей своего несчастного дяди.

Один из моей команды долго наблюдал за мной, а потом подошел и сказал, показывая на страницу журнала со стихами Чурмина (действительно, я долго смотрел на эту страницу с чувством исполненного долга, как тень Кутузова на поле Ватерлоо) и сказал:

— А ведь плохие стихи-то, дилетантские, в лучшем случае — версификаторские, вторичные. Стоило ли самиздат гордить?

— Ну какие же вы все идиоты! — вскричал я, забыв о конспирации. — Чурмин создал для любви и известности

не меньше, чем ты или Ельцин. Кто, кроме меня, сможет помочь ему? Кроме Моисея — великому народу, Белинского — Достоевскому, Станиславского — русской революции, козла — козе, Гегеля — гностицизму? Плохие стихи, хорошие, дело десятое. Главное, ведь стихи — не доносы, а хочется увидеть их на бумаге, за которую держава отвечает, да к тому же типографским способом — ну что же — пускай увидит, и если он — держа в руках квазижурнал со своими стихами, впервые не им самим напечатанными — улыбнется хоть раз, — я, клянусь Жилем де Ре и еще кое-кем, второй такой напечатать. И будет у нас Чурмин живее всех живых, как сказал непомнюкто о непомнюкто.

Человек из моей команды снова спросил: «Но что тебе, эскаписту и цинику, до чужих улыбки и вечной жизни?»

— Только циник знает улыбкам цену. Только он может отделить святую жизнь от грязной пены. И если раньше циник березку сажал, душу свою спасая, глуша страстей нездоровый накал; теперь же циник несчастного опубликовал, и этим-то и покончил с мировым злом! — произнес я с пафосом, вполне оправданным.

— Да, — подтвердил мой собеседник, — хочешь дворец зла разрушить, хочешь князя тьмы уничтожить, хочешь 3 шестерки развалить — наплюй тогда на голодного ребенка, на одинокую старушку, на больного старика в уздной больнице — их спасением дела не поправишь. Даже патриотизм — и тот не поможет. А вот коль неизвестного поэта продвнешь — рухнет дерево грехов твоих, циник.

С этими словами мы и подплыли к Маргарину. Через час семья поэта получила номер с теплым письмом главного редактора, а горисполком — тот же номер с благодарностью за взлелеянный талант. На поклон к умирающему поэту отправился весь город. Дрожащей, слабеющей рукой прощаль Чурмин и благословлял алкоголика и секретаря (последний произнес прочувственную речь, в которой обещал внести в сообразительности определенное количество публикаций неизвестных ранее поэтов), рокера и славянофила, директора школы и начальника милиции, актрису и своих друзей, отказавших ему в творческом начале. У ног больного сидел блаженный Ваня и радостным хрюканьем встречал и провожал каждого посетителя. «Сила господняя с нами», — тихонько сказал он мне. Был полный апофеоз, семья умирающего принимала поздравления. Прошла жизнь, и номер нашего «Нового мира» с твоими стихами, брат мой Чурмин, — итог ее.

Местное начальство все-таки испугалось, хотя ранее дало разрешение на провоз и распространение самиздата (соответствующие бумаги до сих пор у меня), и ночью нас брали. Удалось уйти только мне, благодаря природной ловкости и опыту, приобретенному в глухих лесах и сортирах.

Теперь я веду прежнюю жизнь: завел кога, иногда сплю с женой и мечтаю переписать Розанова, как однажды Лев Толстой переписал не самый лучший, но и не самый худший рассказ Чехова «Душенька», страниц касаясь бородой.

ПОКРОВСКИЙ НА ШАБАШЕ

В данной истории, где правда переплетается с тем, что правдой никогда не было, мы не собираемся обвинять Покровского или тем паче, защищать его. Нам это не надо. Мы попытаемся проникнуть в ситуацию, в которой оказался герой, понюхать эту ситуацию, повертеть ее, опробовать со всех сторон да и положить на место — на радость тому, кто захочет это сделать вслед за нами.

Но приступим. Покровский в тот вечер нажрался так, что не мог не только Верховный Совет от Совета Министров отличить или горисполком от райисполкома, но даже хрестоматийного человека в штатском от просто совершенно случайно прогуливающегося человека отличить бы не смог. Страшен был Покровский в тот вечер, и русский бунт, бессмысленный и беспощадный, выглядел у него из-за плеча.

А начиналось все достаточно безобидно. Покровский дол-

жен был по делу встретиться с человеком мужского пола, 42 лет, беспартийным, национальности смешанной, в Москве не прописанным, но проживающим. Что это за дело — не секрет, но нас не касается. Словом, шла торговля наркотиками, валютой, а скорее всего — живым товаром, то есть аквариумными рыбками и канареечным семенем. В шесть часов вечера они и встретились. Однако знакомый Покровского пришел на встречу со своим знакомым и портфелем. Покровский решил прибавить к уже купленному, ибо было неудобно налегать на халяву полностью, но поскольку времени было много, а магазины в те времена закрывались рано, а народу было возле каждого больше, чем при штурме Бастилии, снежного городка и Зимнего дворца вместе уже взятых, и даже реабилитированных жертв 1917—1985 гг. не пропускали вперед при предъявлении реабилитационных книжек — Покровский был уверен, что ничего они больше не возьмут, и денег ему тратить не придется. Но взяла на удивление быстро, словно за 3 года до описываемых событий. Далее пошли куда-то: не то в котельную, не то в диспетчерскую, не то в мастерскую, где все и началось.

Если в семь часов Покровский пил портвейн и недобро поминал Репина и лучшего ученика его Бродского, то в 8 часов Покровский пил водку, закусывая хлебными палочками со сгущенкой, и защищал «Билль о правах» и «Гашиш» Голенищева-Кутузова; без пятнадцати девять тот же Покровский хватил самогону и сопоставил Любимова и Антониони в пользу хозяина самогона. В 10 часов Покровскому удалось освежиться пивом и проорать на всю многоэтажку: «Сонь, ну какие тут к матери кооперативы», зато в полдиннадцатого совершенно неожиданно для всех он высказался за будущую победу и соединение оргазма с плюрализмом. В начале двенадцатого, после того как друг торговца живым товаром принес еще водки, Покровский сделал полуофициальное заявление насчет того, что атеисты, недвусмысленно приказав: «Бога нет», негласно выдвинули аксиому «дьявол есть», да и кинули нас к этому дьяволу, предварительно попугав материалистическими оборотами. Вскоре он услышал, как стекла дрожат, да не те, что улицу от окна отделяют, а те — что часть улицы от другой.

II

У каждого русского человека между 30 и 40 годами появляется идея о спасении человечества только одному ему известным способом, а человечеству по различным причинам пока еще не известным. Идея оформляется, варьируется, обрастает положениями и поклонниками, переносится на листы, обсуждается и потом ложится в гроб вместе со своим хозяином, если к этому времени не заменится другой идеей, которую, впрочем, ожидает та же участь, что и предшествующую ей. В этом возрасте русский человек уже не хочет спасти себя — ему других подавай, и без проникновенной и всеобъемлющей идеи тут никак не обойтись. Из чего же они состоят, эти идеи? Скрывать не будем. Сочетание религиозных, экономических, мифологических, культурных и культурологических ссылок и комментариев и составляет идеи. Плюс собственный опыт, основанный на тяжелой, но неустроенной жизни данного индивида и функционера. А жизнь русского человека плоха, господа! Да и с чего же ей быть хорошей, могли бы мы спросить? Когда бы нам могли бы ответить? Но поскольку отвечать нам некому по целому ряду причин, не зависящих не только от нас, но и вообще ни от кого, то мы и не спросим. Но можем намекнуть, дабы желающий ответа и не получивший его совсем не расстроился. Дело вот в чем: перенасыщенность свободой в плане политическом (говори и пиши что хочешь, а особенно сейчас; поезжай куда хочешь и с кем хочешь, а хочешь — там и живи); отсутствие возможности в полной мере использовать материальные запасы (советские, зарубежные и интернациональные деньги) при полном обеспечении (а надо ли говорить о том, что каждый русский человек вместе с паспортом получает право на бесплатное трехразовое питание, за исключением компота и некоторых видов самогона, одежду, машину и аппаратуру любой национальности опять же бес-

платно по предъявлению паспорта и носа с горбинкой), дачу в любой закрытой зоне плюс нетронутые поля и озера; всестороннюю информацию по важнейшим вопросам, в том числе необходимым; возможность повсеместного чувственного удовлетворения; сверхуспешный сексуальный опыт. Все это и делает жизнь каждого русского человека тяжелой или, как выразился один наш приятель, близко знакомый с классикой, несносной.

Была такая идея и у Покровского. Что-то там насчет ночного города, страдания вызывающего, но эти страдания и искупляющего. В основном Покровский свою идею держал при себе и далеко отойти ей не давал, но иной раз она выходила из-под контроля и начинала жить самостоятельной жизнью, как зек в дореволюционной (додзержинской) тюрьме. Вот и сейчас, когда все уже выпили, а от одеклона Покровский отказался, сохраняя репутацию, но попросил отлить в карман на утро; вот и сейчас, когда все уже выпили, Покровский, загнав в угол, как Энгельс — Дюринга, Маркс — Энгельса, Каутский — Маркса, Ленин — Каутского, Бухарин и присные — Ленина, Сталин — Бухарина и присных, Берия — Сталина, Хрущев — Берию, Брежнев — Хрущева, Брежнева совесть замучила, чью-то женщину и чьего-то мужчину, с жаром принялся излагать идею, да так успешно, что вышеупомянутые мужчина и женщина совершенно позабыли своих хозяев, стали мечтать о том, чтобы слушать Покровского постоянно. В итоге создало определенное напряжение, разрешившееся добродушным русским скандалом и, дабы он не перерос в не менее добродушную поножовщину, Покровского пришлось выгнать. Вместо полотенца под голову возле батареи и отключенного холодильника получил Покровский возможность любоваться ночным городом сколько влезет.

Гудело в голове, за и вокруг, а более всего мучило то, что не мог он коротко и ясно объяснить некоторые свои позиции по современным вопросам. «Когда еще встретимся-то?»

Как только гудение в голове сделало некоторый перерыв, Покровский получил возможность взглянуть на часы и разобратся в переплетении всяких там стрелок, кружочков, исламской цифири; потом хотел позвонить жене, огорчить, что живой, потом решил вернуться и договорить, а заодно и помириться, потом постановил, что все-таки поедет к жене, а уж оттуда и позвонит всем по очереди.

Но как добраться до адресата постановления, боимся, не понял бы даже глава палестинской делегации, окажись он на месте Покровского; да, может, и глава какого-нибудь крупного центра по подготовке мазонов-скалолазов тоже бы ничего не понял, окажись он на том же самом месте. Да и мы, бывавшие не раз в этих крутых раскладах, тоже бы ничего посоветовать не смогли. Зато детально восстановить однозначность и безысходность судьбы Покровского в тот момент можем. Итак: метро было закрыто уже давно, а денег не было — а бесплатно в те времена не возили даже частники; идти пешком — не вернуться и послезавтра, да и попадаться на глаза случайным знакомым не хотелось. Путей, следовательно, не было никаких. В довершение всего Покровский, как поляки под Москвой, полностью потерял ориентировку и где находился, не мог бы сказать даже под угрозой нехорошей статьи.

Не смог Покровский и в подъездах остаться, не смог сквозь проволочную цепь кодов прорваться. И пришлось ему все же тащиться по улице, определяя путь по дыханию ветра и колебаниям недорезанных деревьев. «Господи, — думал он, — дал же ты испытание русскому человеку, изгнав Адамова и Евовну из рая и поселив их и предков их на земле их; зачем же ты это, господи? Нельзя разве было поселить русских людей где-нибудь там, где не ступала нога коммуниста?»

И в этот момент что-то звякнуло под ногами. Оказалось — трамвайная линия. А сзади — что-то засветилось. Оказалось — трамвай, как виденье наземное, шел на Покровского. «Сяду да поеду, — решил горемыка, — везде люди живут». И был бы прав, если бы не определенные замечания, выражаемые частицей-тварью «как».

А не надо было садиться, ох, не надо! То ли сыграли свою роль таинственные отголоски молодости, когда при послед-

них аккордах песни «Последние троллейбусы успели на трамвай» хотелось взлететь вместе с первым космонавтом к первому в мире очагу свободы латиноамериканского континента, когда верилось в то, во что уже не верилось ни до, ни после, когда... Можно было бы вспомнить еще то время, да сюжет наш происходит в другое время, но верить — мы еще окажемся там, вместе с делегатами XXI съезда и пропоём гимн пятилетке и совнархозу, а также бывшим лагерникам, несмотря ни на какие испытания оставшимся верными тому, чему надо... чему их и нас учили.

А может, не запах дымки времен погубил Покровского, а отсутствие бдительности, никогда не лишней. Ведь говорил же некто, руководящий секретным предприятием, выпускающим порванные и сломанные превентивные средства, — человек без бдительности —... (окончание идиомы по вполне понятным причинам засекречено). Можно было бы заметить, что никогда не ходил трамвай по этой дороге, что не полагалось ходить ему в центре правительственной трассы, ибо вовсе не для трамвая с его 5-копеечными обитателями была она построена. Сказать бы тут Покровскому «тьфу», сотворить крестное, — и может, обошлось бы. Пошел бы дальше, набрел бы на кого следует, глотнул бы свежего народного воздуха вытрезвителя — и завертелось бы все попержнему: пьянство, идеи...

Да ведь и время было неподходящее для трамвая. В это время бы только бронетранспортерам ползти с парада, да развозить народ автобусам с предпрятий, которым не нужна слава — вот и стоят они с самого начала своего существования без вывески, радуя глаз ее отсутствием. Дрожь порою понимает: это «Серп и молот», это ВГИК — а это что? И как только люди, работающие в местах без реклам, места свои не перепутают?

Но не это волновало Покровского, совсем не это. А хотелось ему поскорее ощущения какой-нибудь конкретности посреди пустоты городской — сиденья в трамвае, например. Поэтому и бросился он в трамвай счастливый, как иринец, победивший Ирак, и стал подпрыгивать в нем довольный, как араб, наступивший на бороду Хомейни. И не мучило его, что проплывающие мимо проспекты, перетекающие в переулки, переулки, перетекающие неизвестно во что с горячей посередине никогда не меркнувшей 13 буквой алфавита, дарованного нам неизвестно за что, были совсем непохожи на те городские дела, что наблюдал он еще совсем недавно. Да и не останавливался больше трамвай, будто только ради Покровского вышел он в ночь, а прочие остановки и мечущиеся между ними обездоленные сограждане Покровского его и не интересовали.

Но отогревающийся Покровский об этих мелочах не заболтался. Поговорить ему хотелось — да с кем можно было обменяться впечатлениями по поводу последних сообщений в пустом трамвае? Разве что с водителем? Заодно выяснить, куда идет трамвай и чем кончился сегодняшний — а может, вчерашний футкей? Встал Покровский, двинул по проходу, как богатырь да с каменным отчеством среди врагов земли киевской, поскольку каждое сиденье так и норовило ущипнуть его, повалить да и придавить, но нет — дошел Покровский до кабины хозяина, рванул дверцу — и замер... Не было никого в кабине — вот тебе бабушка и Уолтергейт! В пустой кабине шло какое-то переливчатое трогательное движение, некие зигзаги проскакивали от стекла к стеклу, бродили возле пульта, раскачивались на педалях и тормозах.

Отшвырнуло Покровского — и замер трамвай. Дверь кабины захлопнулась сама собой, и тишина гробового входа повисла над несчастным, как сказали бы популярные в славном дворянско-разночинском столетии делегаты съезда писателей этого столетия: дворяне да разночинцы.

И в эту секунду, которая запросто могла бы стать последней для Покровского, если бы не произошло то, что произошло — а именно: рядом взвизгнули тормоза — и Покровский увидел трамвай уж совсем пустой — ибо его, Покровского, в том визжащем трамвае точно не было. Как ни далек был Покровский в этот момент от всех земных реалий (а дорого бы и дал, чтоб возвратиться к ним), но все же заметил про себя, что кадр хороший — два пустых трамвая рядом, и стекло просвечивает и играет сквозь стекло.

У русского человека, заметим мы, постоянно бывают различные мыслишки и наблюдения, к жизни его никакого отношения не имеющие. Ну, например, русский человек зачастую к месту и не к месту повторяет: «А хороший кадр», и присутствующий рядом посторонний человек может подумать, что русский человек — крупный фотограф какого-нибудь трансконтинентального агентства или любимый оператор знаменитого режиссера. Любит также русский человек говорить: «А хороший сюжет», после чего незнакомец, не имеющий никакого представления о таинственной нашей душе, скажет, что русский человек крупный писатель, что будущий роман его, написанный на основе данного сюжета, принесет автору Нобелевскую премию или на худой конец — премию МВД. Но когда русский человек начинает рассуждать о делах политических и экономических — дело совсем плохо. Начинает казаться, что он — член известных международных клубов высокой репутации, что имеет самое непосредственное отношение к управлению мира, и ждут его во многих местах, чтобы получить от него дельный совет для разрешения запутаннейшей политической ситуации, а заодно помочь пристроить лежащий без дела капитал. И ведь никого не убедить, что русский человек не то что фильм, а квартиру снять не может; не то чтобы премию премий ему вручать не собираются, а просто спасибо никто не скажет за годы, проведенные в борьбе и тревоге; что же касается экономки, сам себе никогда не ответит русский человек, как бы так израсходовать оставшиеся деньги, чтобы и до последующего вторника хватило на все и на зиму можно было отложить. Но чувство ответственности и причастности никогда его не покидает.

Так вот о кадре, посильнее, чем муравьи на ногах и баба в облаках. Встали рядом трамвай, и тот, в котором ехал Покровский, и тот, в котором не ехал. Запахло метафизикой и трансцендентом. Про кабину и вспомнить боязно, двери заперты. «Спаси нас от метафизики такой», — подумал Покровский, еще подумал, разбежался да и в стекло головой. Окно не высадил, только голову понапрасну ушиб. Долго ли он метался в пустом трамвае, как щелоков разоблаченный? Долго. И кричал. И плакал. И решил наконец прикинуть к стеклу, которое выбить не смог, и попытаться найти смысл в пустом трамвае, рядом стоящем. И сразу же нашел, как рыба — в рыбе, марксист — в программе, мужик — в земле, диссидент — пока еще сказать нельзя где. Он понял, что его оставили одного с его же, Покровского, единоутробной и единосущной идеей.

Страны и века поплыли перед Покровским. Мировая история как некая темная история открылась ему, и многое стало ясно ему: древняя мифологема 33 богатырей в виде атлантов, шастающих к эфиопам; инк, долгие столетия смотрящий на восток, в ожидании его лучшего друга — белого человека; легионер, проходящий сверхсрочную в Риме; старый галл, сидящий посередине, значит, Галлии своей; русское общество 1861—1987 гг., разделившееся на отряды, виды, продотряды, подвиды, заградотряды и уже полностью запутавшееся в их пересечении, переплетении и усековении. Многие еще составные элементы идеи Покровского прошли перед ним и стали чужды ему. Не его эта идея — понял Покровский и — навсегда. Не Бродский он, понял Покровский, не первооткрыватель запутанных дел, а всего лишь жалкий версификатор.

III

Как добрался Покровский домой, как оправдался перед женой — рассказывать не будем. Как-то добрался и как-то оправдался. Но замолчал с тех пор Покровский, и перестал распространяться насчет идеи своей. Потому что слишком сильно стукнули Покровского насчет несовершенства его индивидуальности; может быть, не стоило бы этого делать столь сильно. Не верит больше Покровский в свое «я», не окутывает его призрачными реминисценциями и аллюзиями, каждая из которых нужна ровно настолько и ровно постольку, а только жалобно смотрит по сторонам. И грустно стало в русской столице.

ЕЛЕНА ФАЙНАЛОВА

НАБЛЮДЕНИЕ

Кто наблюдает рассвет в грандиозной восточной столице,
Вряд ли забудет ее золотые кошачьи глаза,
Черное жерло метро в половине седьмого утра
Между Спортивной и Фрунзенской;

вскрытое горло реки;
Призрачный стадион, очертания тайные метеобашен;
Хрупкую казнь тараканов янтарных на кухне,
Медновокрылых и легких, безумных, как ветер;

Вряд ли забудет, как кожа превращается в газировку:
Пузырьки прозрачных мурашек бегут по ней.

Все: тополя — образцы доверчивых
Спичек, мучительного умирания,
Снизу обугленные до венчика.
Знать бы все это заранее:

Трахались мало, но так тосковали,
Что и в объятьях друг к другу просились.
Будучи рядом, глаза закрывали,
Чтобы тоска усиливалась.

Здесь, в этой степи, слишком много простору
Для сердечного приступа, астмы метафор.
Длинный размер, которому выучил Бродский,
Заставляет кочевника петь то, что открыто взору.
Здесь постоянно думаешь, что ты — русский.
Это звучит, как лучшая из эпитафий.

Все, что ты можешь сказать и сделать, достойно смерти —
Лучшей участи, чем то, что ты наблюдаешь.
Стоит ли вкладывать медное в эти копилки.
От нежелания жить при дневном свете,
Как мы с тобой обсуждали давеча,
Я зарываю голову в простыни, как в опилки.

Только деревья пухлые, только деревья,
От снега оглохшие, в сумерках утопая.
Словно ангелы, сбрасывают оперенье
И кричат во сне, к рубашке небес лопатками прилипая.

В груди стоит сухой треск тоски.
Глаза пустые сухи.
Растрескались стручки-мозги,
Раскрылись кузнечики-стручки.
Тело преступника (голову сквозь виски)
Пробивают бамбуковые ростки.
Мы никогда еще не были так близки.

В груди стоит сухой треск тоски.
Там ящерицы хрустят,
Там чудеса, там леший бродит, легкие свистят.
Глаза засыпали сухие пески.
Лес рубят — искры летят
Сквозь паровозные свистки.
Нас передушат, как котят.

В груди стоит сухой треск магния. Там снег,
Там замыканье, ослепленный монтер.
Тот, кто за мною наблюдает во сне,
Страшен и нехитер.

Собаки в парках носятся пустых,
Зима стоит в сиреневых крестах.
Фаллические сонмы запятых
Являются в классических местах:
У фонарей, запутавшись в кустах.

Пыль на морозе — будто кол в груди.
Торопится прохожий вурдалак.
И радужные, желтые круги
Расходятся в глазах слепых собак.

Вся тварь забилась в норы. В небесах
Повисли, слипнувшись, ириски искр:
Там электричество качалось на весах
Аптекарских и рухнул парадиз.

Смотри; вот падает железный снег.
Он станет издавать фальшивый визг.
Сюда опять идет железный век.

Господи, даже если я онемею,
Я хочу видеть это, я хочу созерцать, зырить,
Я постоянно хочу наблюдать за нею —
Майей, мозаикой, радужной пленкой бензина,
Я хочу наблюдать ее анемию.

Из всего тела важно лишь
существование глаза,
Виснущего над землей в полутора метрах.
Ради него — одинокий придаточный разум,
Ради его дирижабля, воздушного шара,
несомого ветром.

Запасных не вставишь, как сказано у Апдайка,
Не засунешь пластмассовой кукле стеклянные бусы,
Изнутри выстилает глазницу красная байка.
Как звезда, там покоится розовая медуза.

13 апреля 1990

НИКОЛАЙ КАБАНОВ

КОСМОНАВТЫ

Не знаю, Таньк, но мне сдается,
Что в нашем обществе социальном
Вся ситуация с моралью
Имеет экай вот обспект:
Об том, как ценим космонавтов,
И знаем, помним ли героев,
Птенцов земли, орлов пернатых,
Что притяженье предлевайт?

Ты помнишь, Таньк, когда взрослели,
Когда ходили в садик-школу,
То восторгались, изумлялись
И награждали молодцов.
Я помню го́лосы Армстронга,
Олдри́на, равно и Колли́нза,
Тогда мне не было и года,
Но я их помню, как отцов!

Хотя тогда уж были бляди,
Что ненавидли космонавтов.
Лейтнант Ильин стрелял с Макарки,
Как только ехали они.
Но этот случй остался в тайне,
Его схватили и скрутили,
Ему вкололи амьназина
И полетели дальше дни.

Затем, когда взрослей мы стали,
Прошла полетов це́ла серия:
Поляки, чехи, гэдээрцы,
Монгольцы — верные сыны . . .
И, удрученный Паркинсоном,
Ильич Второй дарил медали,
А наши папы выпивали
За то, чтоб не было войны.

Ну а теперь куда ж вы делись?
Полковник Йен, поручик Ремек,
Румын Прунариу Димитру
Как революцыи перетрут?
Не те, не те уж космонавты,
Хотя по-прежнему крылаты,
Но не зовут теперь их в школы,
В филателисты не зовут.

Вот парадокс — десятки стартов,
Союз ТМ, Буран, Энергья,
И с мотоциклом во Вселенной
Сам Викторенко зависал!
Но нам уже не интересно.
Мы ждем — а что ж Рыжков да Ельцин?
На что еще подымут ceny?
Нас не волнуют небеса!

АНГЛИЙСКИЙ СОЛДАТ

С винтовкой английский солдат
Шагает дорогой Белфаста.
Здесь выстрелы, взрывы гранат,
Здесь даже в полудень опасно.

Идет, напевая Пинк Флойд,
Потомок богатых лэндлордов,
И смело бросается в бой,
Лишь встретится с панковской мордой.

И если он день пережил,
И если погибшим он не был,
То пальцы в молитве сложив,
Он шепчет в вечернее небо:

«Спокойно, ирландский малыш,
Качайся в родительской люльке.
Ты ласков, ты тих, словно мышь, —
Не бойся резиновой пульки.

Покой защищая, уют,
Дадим мы ответ провокаторам.
А ежели все же убьют —
Считайте меня консерватором».

ТРИВИАЛЬНЫЕ СТИХИ

Общество Чистых Тарелок,
Общество Желтых Стаканов,
Простемпелеванных Целок,
Мудрых Больных Тараканов,

Общество Угольных Танцев,
Первой Весенней Синицы,
Общество Мстить Иностранцам
Тем, что Ползти за Границы.

Общество «Автоответчик»,
Общество Сытый Кивок.
Я, убежденный советчик,
Сына сметаю в совок.

Общества До Смерти Трезвых
и До Рождения Пьяных.
Мчится в гимназию резво
Мальчик Володя Ульянов.

ЖИВУ Я ЗДЕСЬ, ВОТ ЧЕГО

Киргиз-младенец с лицом уродца,
На мамкин вопль не отвечая,
Сидит на дне в моем колодце,
А я все пью, не замечаю.

НА ПАМЯТЬ О ДРУГЕ

А грустный и тяжелый динозавер,
Ложась спиной в болото, вымирая,
Все утверждал, что снег считает раем,
И подарил мне вязаный пуловер.

ХОЗЯИН

Я поглядел в окно — там шел хозяйственник.
Смотрел стально, как Кастро вдоль Гаваны.
Зачем мне он? Ужели я не собственник
Своей супеси, ребр и ржавой ванны?

УГРОЗА

Я люблю и соль, и масло,
Хлеб и соду я люблю.
А еще люблю я — мясо!
Им тебя и погублю.

Я убью тебя рассветом,
Прям по первому лучу
Отравлю свиным котлетом
И жилплощадь получу.

ГРИГОРИЙ АКМОЛИНСКИЙ

«Я ВАМ НЕ СКАЖУ ЗА ВСЮ ОДЕССУ»

(ИЗ ПЕСНИ «ШАЛАНДА». АВТОР НИКИТА БОГОСЛОВСКИЙ)

ПОЗВОЛЬТЕ ВАМ СПРОСИТЬ . . .

Кто может сказать за всю Одессу? Скажите? А? Вы можете? И я не могу. Клянусь! Даже Ришелье и Дерibas не могли ответить на этот вопрос. Я уже не говорю о таких великих мыслителях, как Леонид Утесов, Валентин Катаев и даже Беня Крик, в смысле Мишка Япончик, тысячу лет им жизни на том и на этом свете.

Сорок лет я живу в Риге. И за всю Ригу я тоже не могу все рассказать, за этот чудесный город, дай ему бог здоровья.

Конечно, Рига — это вещь!!! Прекрасный город, чтоб я так жил! Красивый, величавый и страшно привлекательный. И все говорят не по-нашему, не по-одесски.

Но жители Одессы, не в пример рижанам, не представляют себе, как можно разговаривать и не размахивать при этом руками? Это же просто невыносимо! Они считают, что без жестикуляции нет настоящей жизни.

Здесь, конечно, в Риге, живут спокойные люди. Они уважают себя и тебя. В Риге, как в Одессе, тоже есть море. Пусть не Черное, но море. Прямо на трамвае можно проехать к океанскому пароходу и тут же вернуться обратно. Клянусь вам, что это так.

А река Даугава?! Не хуже, чем наш Аджибеевский лиман. Длинная, большая, широкая. Можно с моря приплыть в Даугаву, причем прямо к Центральному рынку, и наоборот. Это страшно удобно.

Есть в Риге все! Магазины, рестораны, такси. Все прекрасно одеты, а главное — очень, очень вежливы.

Конечно, бывают эпизоды, когда приезжаю вместо того, чтобы показать, где вокзал, направляют человека с чемоданами из центра города на улицу Стрелниеку, или ответят по-иностранному: «Нэсапрот».

Но все это, конечно, мелочь и чепуха. Во всех положениях Рига — город чудесный.

Шикарная широкая лестница в подземелье у вокзала мне напоминает. . . Ах! . . . Не говорите! Вы сами знаете нашу знаменитую одесскую Потемкинскую лестницу.

Все, все здесь, в Риге, хорошо. Даже я, патентованный одессит, очарован столицей Латвии.

Но ради бога, ответьте мне на несколько вопросов, и я опрокину вас на обе лопатки, будь я проклят, если вру или говорю неправду.

У вас в Риге есть толкучка? ? ? Есть! Это главный нерв города, в котором гудят жернова коммерции.

Да! Я знаю! Вы, конечно, скажете, Чиекуркалнский рынок. Умоляю вас! Не будьте смешняком. Это таки смех, а не толкучка.

Поверьте! У любого человека, я имею сказать — одессита, будь он в возрасте и даже в жилетке кофейного цвета, загорятся глаза, когда речь пойдет об Одесской толкучке. Он сразу помолодеет, и лицо примет мечтательное выражение.

Толкучка!!! Боже мой!!! Это целая жизнь! Это страсти! Это ежедневный престольный праздник! Одесская толкучка — это иной мир, где можно купить все! Понимаете? Все!!!

Скажите! Вы, рижане! Вы когда-нибудь видели, чтобы на вашей толкучке продавали такие вещи, как святую воду? Нет! А тьму египетскую в темных бутылочках? Нет! Тоже нет! Так

я и знал! А торшер, сделанный из ноги страуса? А попугая с большим горбатым носом, который вытаскивает «конверты счастья» и кричит: «Бегите, шлюхи! Полиция идет!» Эта важная птица воспитывалась в одном из бардаков Гонконга. Конечно, этого попугая никто не покупает. Кому приятно слушать у себя дома это не совсем приятное предупреждение. Но послушать бесплатно интересно. Одесские шутники говорят, что на толкучке можно купить даже слона, украденного ночью из цирка, ракеты «Стингер» и, больше того, атомную бомбу.

Ну, а если серьезно, то пожалуйста, к вашим услугам грузовой автомобиль любой марки, трактор, штаны для великанов и карликов, бюстгальтеры на меху, вечные пуговицы для холостяков, талисманы от блох и других животных. Там можно купить зуб ихтиозавра от обманщиков, волосы Горгоны Милосской от перхоти. Там продают даже такую мелочь, как баночки с натуральной слюной для заклейки конвертов.

А у вас может быть такое зрелище, как на Одесской толкучке, чтобы старый, восьмидесятилетний городской квартирный вор, который «завязал» и ушел на пенсию, продавал на толкучке связку своих отмычек, перед которыми не устоит ни один, даже сверхсекретный замок?

Только на Одесской толкучке вы можете увидеть, как под навесом стоит весьма пожилая полная дама, потерявшая молодость и привлекательность еще при царе Николае, с заводной ручкой от автомобиля в обнаженной руке. Рядом с ней стоят несколько кроватей с металлическими сетками, но без матрацев.

Эта гранд-дама, бывшая владелица второсортного дома терпимости, расположенного в узком переулке между Ришельевской и Дерibasовской, закрытого еще в 1920 году, продавала свой инвентарь. Она держит ручку, которой не заводят автомобиль, а несколькими поворотами соединяют кровать и ставят ее наподобие буквы «А». Кровать рассчитана на мужчин, желающих получить необычное удовольствие от лежащей, изогнутой пополам на кровати «дамы сердца».

Люди смотрят, смеются, пробуют работу заводной ручки. Мужчины явно восточного типа при этом прищелкивают языком, высказывая восхищение, и проверяют кровать на прочность.

Да, такие «товары» можно увидеть только на Одесской толкучке.

Вам не кажется, что я что-то очень много говорю об одесской Мекке и ее паломниках?

Хорошо! Хватит! Поговорим о жителях этого солнечного города.

Одесситы. О! Нет! Они не поведут вас, как в Риге, на улицу Стрелниеку вместо вокзала. Нет! И тысячу раз нет!

Они вас спросят, откуда вы? Что ищете? Кто у вас есть? Что вам нужно, где вы работаете, кто ваши родные? Конечно, тут же соберется толпа. И во время дружеских расспросов вам нужно следить за своими чемоданами, ибо Одесса есть Одесса.

Задайте любой вопрос на улице одесситу, как мгновенно

вырастает толпа. У каждого есть что спросить, что сказать, рассказать, посоветовать, перебить соседа, назвав его негодяем, шмаровозником. Каждый потребует от вас, чтобы вы «слушали сюда»!

И если вам с большим трудом удастся вынырнуть из толпы и крадучись оглянуться, то вы увидите, что толпа не только не расходится, но еще и увеличивается. Все галдят, спорят, доказывают невесть что.

И только когда полная одесситка, показывая набитую всякой снедью сумку, закричит:

Дают в том магазине!!!

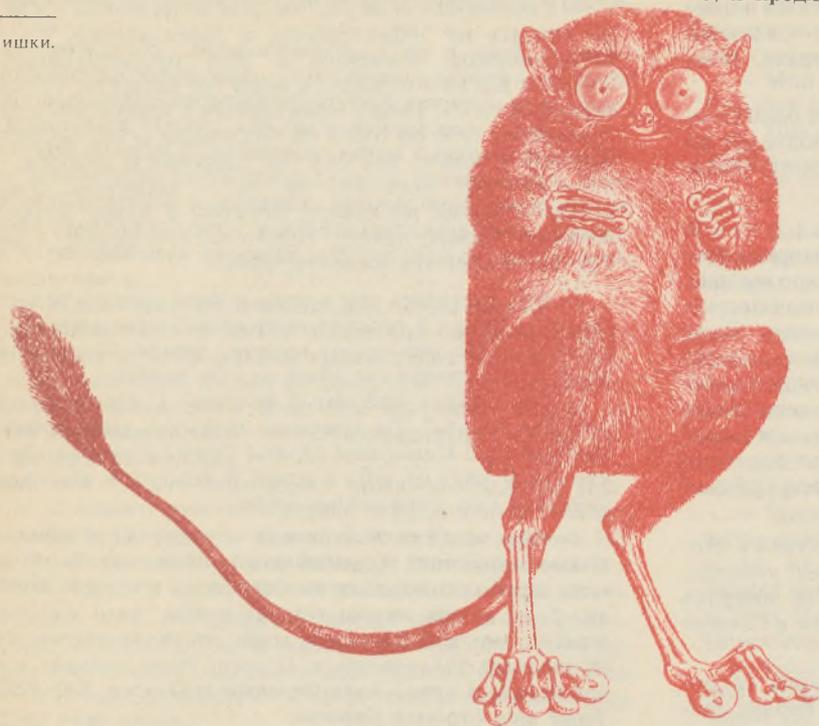
как толпа мгновенно рассыпается, как горох из порванного пакета.

Между прочим, каждый одессит (если он настоящий одессит) знает великое множество старых и новых потрясающих историй из жизни своего легендарного города.

Байстрюки¹ знают, где зарыты клады, где новые подземные катакомбы, где в морском порту можно украсть херсонские арбузы, где спрятано оружие и драгоценности.

О! Одесские мальчишки! Они большие фантазеры, эти шалопаи.

¹ Мальчишки.



АДРЕС ПЕРЕУЛКА

— Вы спрашиваете, как я живу? А что? ?? Вам нравится мой костюм? Еще бы! После тех тряпок, которые я всю жизнь носил, теперь, благодаря какому-то благородному негодяю, я стал выглядеть если не как буржуй нашего замечательного 1920 года, то по крайней мере стал похож на очень порядочного коммерсанта.

— Но расскажите, как это у вас получилось? Веки вечные я знал всю вашу семью, да и вас, простите, тоже, одним из самых бедных бедняков, если, извините, не больше. Откройте секрет. Какое солнышко вас согревает? Или вы, может быть, потомок Чингис-хана? А? А может быть, еще хуже? Наверно, вам граф Бенкендорф подарил сахарные заводы нашего единоверца Бродского? Конечно, вы понимаете, я пошутил. Но я уверен, что зерно правды лежит у вас на языке. Выплюньте его вон, а я раскрою уши.

— Что вам сказать? Эта история — настоящая сказка Шехереспереда. А может, еще ужасней, дай бог ему здоровья!

— Кому ему? Кто ваш Гарун-эль-Рашид?

— Как! Разве я вам не рассказывал? Я поражен! Целый час разговариваем и вы до сих пор ничего не знаете? Это возмутительно! Так слушайте сюда!

Ну, а почтенные горожане Одессы, особенно перезревшие, так те вам расскажут о батьке Махно, Мишке Япончике (в смысле легендарном Беньчике Крике), Григории Котовском, Соньке-золотой ручке и оккупантах гражданской войны, румынах, немцах, англичанах, французах, турках, гайдамаках, петлюровцах и многих, многих других временных «завоевателях» Одессы.

Они вам расскажут, причем ярко и красочно, о гигантском взрыве в огромных артиллерийских складах со снарядами в Дюковском саду на Молдаванке, о бегстве белогвардейцев в Одесский порт на кораблях Франции, Италии, Греции и Турции. Они знают, эти старые одесские волхвы, многое. А главное — это то, что они об этом рассказывают каждому встречному, каждому приезжему, даже если их об этом не просят.

Одесситы более чем разговорчивы. Множество историй, комических, драматических, трагических и лирико-минорных легенд, вымыслов, фактов знают эти одесские старожилы.

Два эпизода, рассказанные мне из прошлого и настоящего, я предлагаю, читатель, Вам.

— У моего брата Гирта (вы его, конечно, знаете, а может быть, и нет)... Я имею в виду не того Гирта, который живет на Фундуклеевской и еще не умер, а моего брата Гирта с Дегтярного переулка, около земской больницы. Так вот. Мы собрались у него на пасху. Жена осталась дома. Вы думаете, она не любит пасху и вкусные вещи? Упаси бог! Нет, и еще восемь раз нет. Она не любит моего брата. Мы собирались у Гирта потому, что он среди нас был самым состоятельным человеком. Как-никак, он работал цирюльником. А это значит, что каждый день ему перепадала какая-нибудь копейка от его клиентов. Один раз у него даже был знаменитый клиент, гроза морей и океанов, главный атаман одесских налетчиков Бенья Крик. И вместо восьми копеек он дал Гирту серебряный рубль, настоящий царский рубль, на котором птичка-урод — две лапы и две головы. Хорошо, что она только на монете. Если бы она была живой, где-нибудь в районе нашей толкучки, то верьте моему слову — там уже была бы вся Одесса. Вы знаете, что каждый уважающий себя одессит любит смотреть на необычные вещи, особенно на чудовища, будь то Бенья Крик, атаман Махно или этот коршун, летающий о двух головах.

Так вот, извините, что я немножко отвлекся. Люблю пого-

ворить с хорошим человеком. Имею такую слабость. Это все-таки лучше, чем понос. Как вы думаете?

Когда мы как следует поели и наговорились, все стали расходиться. Было поздно, темно и холодно. Если я вам скажу, что был второй час ночи, это вас устроит? Считайте, что мы оба проявляем точность. Договорились?

В это отвратительное ночное время, когда я один возвращался домой по Старопортофранковской улице, а затем по мрачным переулкам в нашу роскошную Молдаванку, на мне было пальто Гирта, которое он мне дал до утра. Ведь вы знаете, что последнее (оно же первое) мое пальто было у меня еще при царе. Когда оно расплозлось, приходилось одевать всякую рвань под низ пиджака, чтобы было теплее. Но на сей раз мой брат увидел, что я пришел к нему не только синий от холода, а, поверьте, даже сиреневый, как разбавленные чернила в наших гимназиях. Он был прав, Гирт. Лучше одолжить пальто на несколько часов, чем нести расходы по моим похоронам. Его пальто было не «Э», но зато теплое, чтоб я сдох, если вас обманываю. Пальто дал мне Гирт при всех гостях, чтобы народ видел его доброту.

Когда я шел по переулку, который не освещался ни одним керосиновым фонарем, я не то чтобы трясся от ужаса, но честно скажу вам, я таки немного дрожал от страха. И вы увидите, что не зря.

Вдруг из темных ворот какого-то дома выходит один грязный тип, чтоб он сгорел, дай бог ему счастья, подходит ко мне и возмущительным голосом настоящего одесского налетчика говорит:

— Эй ты, подонок! Снимай-ка пальто! Да живо! А то всю краску выпущу! В другом обществе я бы мог поговорить. Почему я подонок? И что это такое? Может быть, я вполне приличный мужчина, пусть из Молдаванки, но все же одессит. Но здесь, поймите меня правильно, разъяснения были излишними. Затем эта краска. Я, конечно, понял, какую краску он хочет из меня выпустить. А когда я увидел в его руке нож, у меня сразу пропала всякая охота вести с ним задушевный разговор. Я быстро расстегнул пуговицы и выскользнул из пальто, которое уже держал за воротник этот темный, ужасный субъект, чтоб его задушила грудная жаба, дай ему бог здоровья и счастья.

— Позвольте вас спросить, — обратился я все-таки к этому извергу. — Пиджак тоже снять? Мне все равно умирать. Так берите уже все. При таком гнусном холоде я не доберусь до своего особняка, который после землетрясения в Панаме опустился в подвал.

— На, гнида! Знай наших! — сказал этот убийца (а может быть, и нет, откуда я знаю? Наверно, просто вполне приличный грабитель, из интеллигентов, у которого кроме ножа есть еще что-то вместо сердца). Он скинул со своих плеч какую-то рваную хламиду, грязную, как помойное ведро, и заметьте, с таким же запахом, кинул ее мне в руки, надел отобранное у меня пальто моего брата, Гирта, похлопал меня по плечу и пошел прочь. Отойдя несколько шагов от меня, налетчик крикнул:

— На, сопливый! Держи! На память! — и он бросил мне свой широкий нож, который шлепнулся на землю.

Когда я нагнулся и поднял нож, что вы думаете это было? Ни за что не угадаете. Это была скумбрия. Да-да, скумбрия. Смотрите, чем можно охотиться в ночное время. Но ведь я не кашалот и не дельфин, чтобы меня ловить на базарную рыбу. Но, как говорят у нас на Пересыпи, дело уже было сделано. Оставалось только выть на луну и проклинать собственную трусость.

— Ну а дальше, дальше. Не томите.

— Как дальше? ! Час назад я вам рассказываю все, что было впереди и вы ничего не знаете. Ну, я вижу, что ваш почтенный возраст не открывает вам дороги к звездам. Нет! Вы не будете ни Эйнштейном, ни Рубинштейном. Дальше Маклахи-Микуя вам не дотянутся. Это точно!

— Видите ли. . .

— Конечно, вижу. Думаю, что мне придется вам снова рассказывать эту музыкальную историю под копирку. Вы не возражаете против второго экземпляра?

— Вы меня уговорили.

— Так вытаскивайте вату из носа и слушайте сюда.

Когда я наконец добрался до своего палатца, состоящего из одной комнаты (она же кухня, ванная, приемная и кладовая), то застал свою жену за занятием. Она из моих старых брюк, безнадежно порванных в коленных чашечках (как вам нравится выражение «коленные чашечки»? Я думаю, ничего. . . Ученое, а может быть, медицинское слово, откуда я знаю? . . .), решила сделать рукава к жилетке, чтобы превратить ее в сюртук. Не жена, а настоящая Эдисонша! Изобрести такой гибрид могла только моя половина. А если я скажу, что она не половина, а три четверти, поверьте, ошибки не будет. Не такой уж я дурак, чтобы себя обвешивать.

— Вы расскажете насчет нового костюма? Нового прекрасного английского одеяния, которое на вас?

— Позвольте, что вас интересует? Жена? Костюм? Грабитель? Или, может быть, скумбрия?

— Дорогой! Я опять весь внимание и терпеливо жду конца этого умопомрачительного дефективного романа.

— Собственно, если уж говорить заграничные слова, то надо сказать не дефективного, а директивного. Надо быть образованным человеком в наш просвещенный век. Так вот! Когда я подошел к моей три четверти, то она сразу крикнула «Ах!», увидев меня одетым в тряпье этого гнусного грабителя, чтоб он горел на медленном огне, тысяча болезней ему в живот, дай ему бог здоровья и радости.

— Это ты? Или это не ты? — закричала сразу моя жена. — Сейчас же говори, негодяй! У какой женщины ты ночевал? Только правду, только чистую правду, слышишь? Где ты достал эту ужасную рвань?

— Оно досталось мне вместо нового-старого пальто моего брата, — начал я рассказывать своей жене новеллу из Декамерона. Но она своим криком, диким, как вой гиены и вопль совы, положила меня на обе лопатки.

— Где ты был, набожный человек? С какой кокоткой ты проспал пальто? Ты опозорил наш род, наш древний священный род! Слышишь! Мразь! Грязь! Еще раз мразь! Вот кто ты! Я иду от тебя к маме! Я вернусь в Жмеринку, где найдутся еще порядочные люди.

— При чем тут Жмеринка? — разозлился наконец я. — Какие женщины? Древний род. . . Меня ограбили, понимаешь, ограбили! Хорошо, что не убили, а только пальто сняли. Тебе всегда мерещатся женщины, хотя ты прекрасно знаешь, что все женщины мира не стоят твоего мизинца. Жмеринка! Ты живешь в Одессе. Этим сказано все! Есть два города в мире — это Франция и Одесса. Ха! Жмеринка! Тоже мне столица Европы.

— Замолчи наконец, — вскипела жена. — Это мой родной город. Моя родина. Я не позволю!

— Да остановись наконец, — говорю я. — Надо думать, как вернуть пальто брату.

— Чтобы отдать, нужно купить, а чтобы купить, надо иметь assignации или хотя бы пети-мети, — изрекла жена, обнюхивая мою обнову, и брезгливо сморщила нос.

— И? . . . — вставил лишь одну букву слушатель.

— И кончилось все, как в доброй сказке. Мы с женой начали рассматривать грязную, сто раз перештопанную и заплатанную хламиду, которую мне подарил «щедрый» владелец скумбрии.

— А что если ее перелицевать, эту уникальную мантию? — предложила моя жена и добавила: — Если она уже не перелицована на третью сторону.

— Надо сначала распороть эту засаленную подкладку, — посоветовал я, — тогда можно сказать, что это за вещь. Старый ножик, наточенный мною на кирпиче, оказался в руках жены.

— Держи за край, одессит, — бросила мне жена. И, цывы затрещали, как клопы на горячей плите.

— Боже мой! — вдруг закричала жена. — Что это за подшитый мешочек? Почему он у самой подмышки? Я вся дрожу, не пойму отчего.

— Как в первую брачную ночь?

— У тебя идеальная память, пошляк. Но подожди. Там, в этом мешочке, что-то тяжелое. Скорей закрой дверь и занавеску, слышишь?

Я проворно, как кошка, завесил окно и быстро подошел к жене. А она, раскрыв передник, высыпала из отпоротого мешочка прозрачные красные, белые и голубые камешки, пять больших золотых монет и три кольца изумительной ювелирной работы с огромными камнями.

— Святой апостол! — схватился за голову слушатель и побледнел от возбуждения. — Вы стали миллионером! Вы счастливичек! Конечно, эти камни были бриллианты и другие драгоценные стекла. Так вот почему вы стали такой богатый.

У ВИТРИНЫ

— Ни у кого из этих королей прилавка не заболел живот, если бы они эти знаменитые часы выставили в большом окне магазина, — сказал прохожий, остановившись у витрины.

— Например, на Дерибасовской, а не в этой пустыне около «Красной гостиницы», — подхватил другой зритель из толпы, осаждавшей взорами небольшую витрину комиссионного магазина в Одессе, где были выставлены часы.

Собственно, часы были там размером с небольшой помидор, но обрамление было, прямо скажем, пятипудовым. Почти метровая глыба с великим множеством фарфоровых фигурок, изображающих сладеньких ангелочков со сложенными и раскрытыми крылышками, украшала фасад этих маленьких часов.

Но не только ангелочки восхищали взоры зевак.

Нераспустившиеся и вполне созревшие многочисленные бутончики роз держал хоровод красивейших девушек, едва прикрытых туниками, из-под которых ясно проглядывались все прелести прекрасного пола. Все это было создано на высоком художественном и композиционном уровне и, конечно, восторгало глаз.

— Все это — да! — воскликнул пожилой южанин, прильнув к оконному стеклу. — Берете в руки и имеете вещь, а если купите, то получите целое объятие удовольствия. Но как я только посмотрю на табличку с ценой, у меня начинаются судороги и страшно хочется зайти в одно место.

— Почему нет! . . . — возразил другой зритель в соломенной шляпе-канотье, которую носили еще при царе Александре Третьем сыщики, обслуживавшие только Ришельевскую улицу. — Цена обозначена — 1700 рублей. И сумма, и товар достойны друг друга.

— Так купите! Вы! Ротшильд с рваными башмаками! Что вам стоит? — бросила старуха в шляпе со стеклярусом и с облезлой муфтой.

— Она таки права! Раз вы такой ценитель этих мертвых ангелов, да еще плюс ко всему еврейский барон, забирайте товар и дайте людям уйти от соблазна по своим делам, — произнес в адрес знатока человек со сложенным вчетверо портфелем, зажатым под мышкой.

— Если бы эти фарфоровые красавицы сбросили свои туники и показали все, что интересует настоящего мужчину, которому тридцать лет, то я бы за эти статуэтки целый день зазывал покупателей в эту вонючую лавочку.

— Вам тридцать лет? ? ? ! ! ! — сказала женщина с муфтой. — Вы смешняк! Когда вам было тридцать лет? При Суворове? Или Наполеоне? Берите быстро шестьдесят! И спешите! А то я набавлю еще десяток, чтоб я так жила!

— Старая дохлая кошка! — вскипел обиженный мужчина «в цвете лет». — Может быть я уже сейчас совсем не то. Но десять лет тому назад все женщины от бульвара Ришелье и до Молдаванки меня считали страстным обольстителем и величали «Грозой Одессы». А на вас и вашу плешивую красоту, медам, могут позариться только покойники, которым уже нечем любить.

— Зачем вы оскорбляете интеллигентку в очках! — встала на защиту полная дама с огромным красным лицом и сло-

— Должен же был я когда-нибудь вытащить крупный выигрыш на честно купленный трамвайный билет.

— Дорогой мой! Умоляю вас как друга! Дайте мне адрес этого переулка. Я тоже пойду туда ночью в новом пальто. Может быть, и на меня нападет какой-нибудь д'Артаньян или на худой конец этот скряга Ришелье с акулой в руках. Я тоже заслужил быть богатым.

— М-да, — глубокомысленно произнес рассказчик. — Грабеж — это, мой друг, лотерея, где проигрывают всегда потерпевшие. То, что произошло со мною, — это просто счастливое исключение. А впрочем, мне не жаль. Если хотите — запишите название переулка.

новыми конечностями, держа за ноги двух повисших вниз головой упитанных кур.

— Молчите! Вы! Куриная фокусница! Посмотрите лучше на ваших обделанных от ужаса кур. Они в трансе, гипнозе. Их гребешки подметают улицу.

— Мои птички, а не ваши! Пусть подметают. Злыдень! Собачья печенка!

— Она готовит из них йогов, — воскликнул кто-то из толпы.

— Ее бы так подержать за ноги! — закричал «Гроза Одессы».

— Ха! — заметил мужчина, назвавший цену часам. — Если вы еще в цвете лет, то не советую вам именно сейчас показывать свою весовую категорию силача.

— Вы мне угрожаете? — рванулся «Гроза Одессы».

— Зачем такие слова, — спокойно отпарировал ценитель часов. — Если у вас еще нет тысячи граммов, то при подъеме этой досточтимой мамзельки за ее рояльные ножки вы их получите, и притом совершенно бесплатно.

— Какие еще тысячу граммов вы ему обещаете? Говорите на чисто одесском языке! — попросил мужчина со сложенным портфелем.

— Тысяч граммов составляет килограмм, понимаете, вы, почти министр с портфелем. А килограмм и кило — это одно и то же. А ему нужно это кило, я вас спрашиваю? Может быть, вам оно нужно? Учтите, что с этой килой, его, «Грозу Одессы», не допустит к себе ни одна старуха даже с Пересыпи.

— Прекрасно! Ну а часы? — вставил человек с портфелем. — Закончим мы, наконец, разговор о редкости, ради которой мы все здесь изругались.

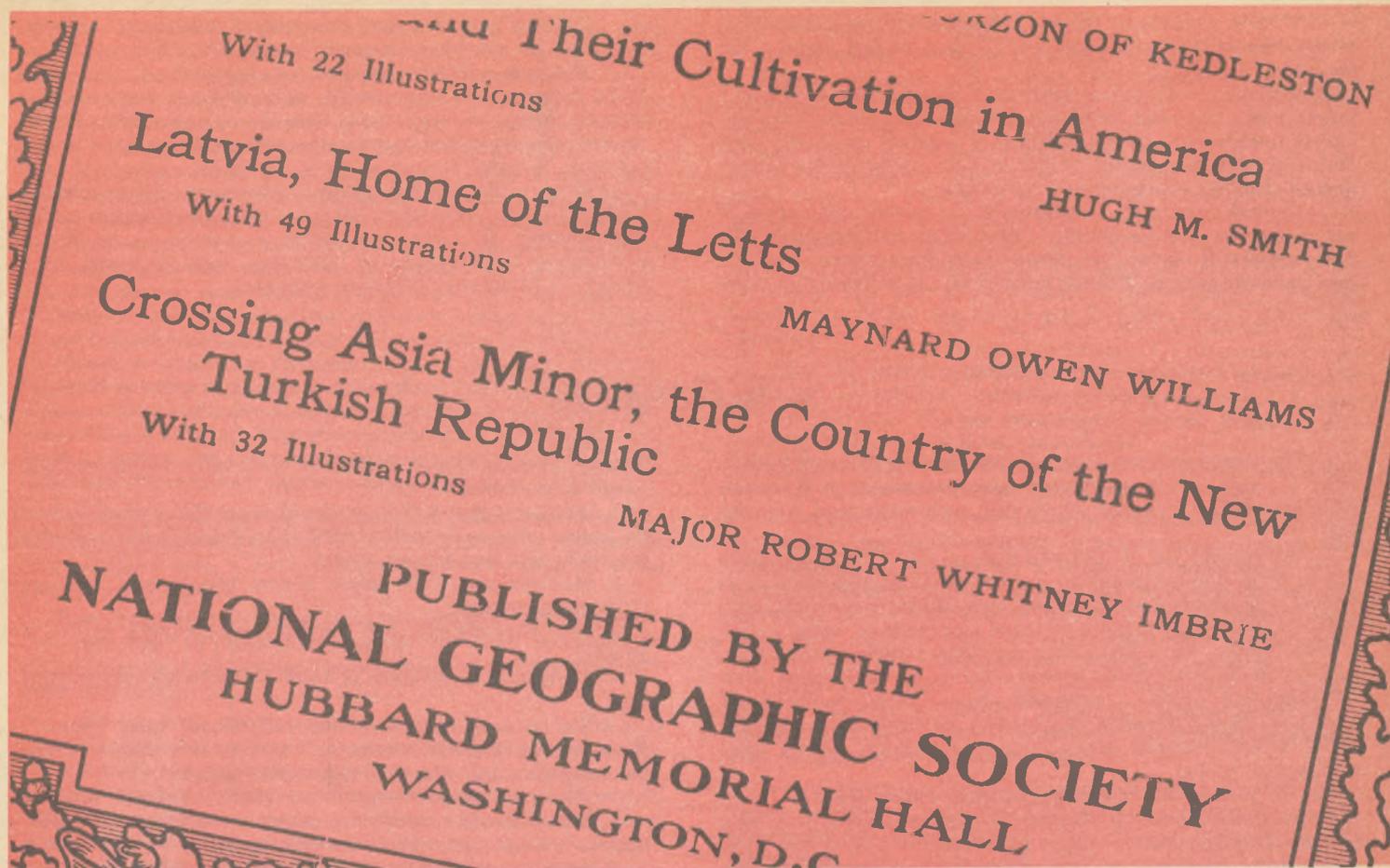
— Какая это ругань! Обыкновенный светский разговор интеллигентных одесситов, — мягко сказал знаток искусства.

— М-да, — промолвила дама с курицами. — Красота этих часов, конечно, стоит, чтобы о них поговорить с образованными людьми и даже негодьями. Но все-таки надо идти в очередь за вермишелью. И пусть подавится покупатель этими часами. — Она раздвинула толпу и вышла из круга. Куры отчаянно захлопали крыльями по мостовой, пытаясь вернуть себе птичьи права, но могоучая рука хозяйки, державшая их за ноги, так их встряхнула, что они, мгновенно забыв свое намерение, сникли и смирились со своей судьбой.

— Мадам! — бросил ей вслед мужчина малюсенького роста, не превышающего метра с четвертью, в клетчатом костюмчике. — Вы мне своим зоологическим садом испачкали брюки.

— Хи! Хи! Хи! Брюки! — обернулась владелица кур. — Люди! Слышите! Портки биндюжника он называет брюками. Старый недоделанный байстрюк! Шмаровозник! Надо иметь брюки, чтобы их называть таким благородным именем. Скотина! В таких портках надо смотреть не на часы, а на мыло и утюг. Понял? Ископаемое животное! Еврей Пржевальского!

— Да! Это настоящая одесситка! — с чувством произнес человек с портфелем и, глядя ей вслед, глубоко вздохнул. Толпа начала расходиться, уступая место новым южным комментаторам.



М Е Й Н А Р Д О У Э Н У И Л Ь Я М С

ЛАТВИЯ, ДОМ ЛАТЫШЕЙ*

Это одна из республик Балтии, успешно идущая своим путем к стабильности.

Пять веков назад, когда Рига, подобно Любеку, Гамбургу и Бремену, входила в союз главных ганзейских городов, там находился клуб холостяков, именуемый себя гильдией Черноголовых. Их патроном являлся святой Георгий, извечно стремящийся пронзить дракона. Символом этой купеческой гильдии являлась голова мавра. Резные головы мавров украшали деревянные скамьи, принадлежащие гильдии в церквях.

Как и прежде, гильдия по сей день имеет свое здание, возвышающееся над маленькой речушкой, от которой город взял свое название, это строение поныне является самым замечательным в Риге. А варварская резьба по дереву, уместная скорее в представлении бродячих актеров, нежели в храме, все так же украшает скамьи в кафедральном соборе лютеран.

Выломаем один из этих символов с низкими надбровьями. Уложим затылок таким образом, чтобы подушкой являлись Литва и менее знакомые коридоры Польши. Позволим курчавой голове тереться о Советскую Россию.

Лицо, наделенное широким носом и толстыми губами, образует линию, которая укажет на нынешнюю границу между Латвией и Эстонией (см. карту).

Скалистые брови достигнут почти до высокой Мунамяги в Эстонии. Это самая заметная возвышенность — 1063 фута — в этой равнинной части Балтии. Скулы окажутся образованными из плато Видземе (Ливонии), находящегося между Даугавой (Западной Двиной) и границей Эстонии. Адамово яблоко стройной шеи придется на Ригу, некогда большой промышленный город — больше Стокгольма, Кристиании или Копенгагена — нынче — процветающая столица.

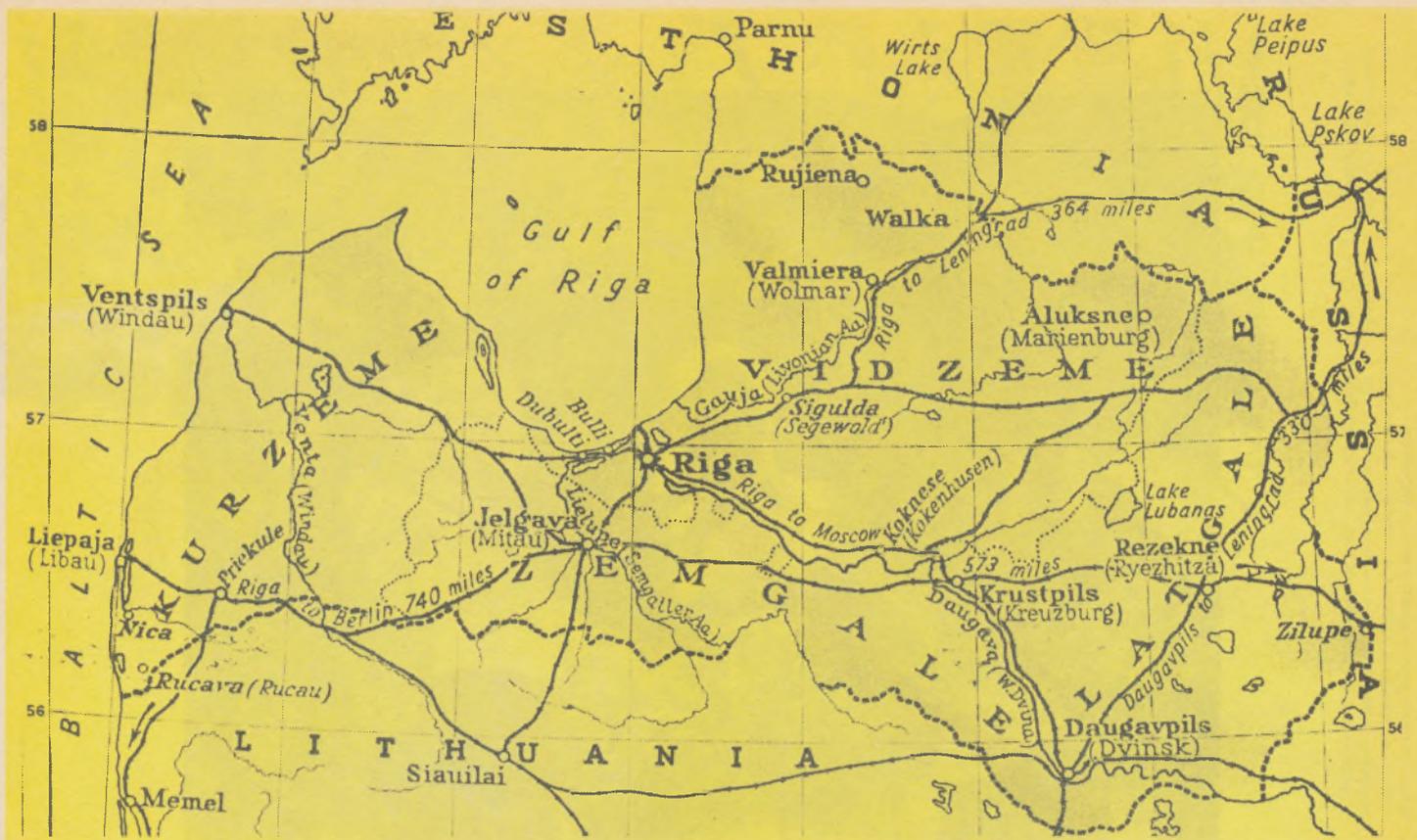
Когда я в конце августа завершил путешествие по Альпам, один хорошо знакомый работник просвещения спросил у меня: «Куда же вы теперь направляетесь?»

«В Латвию», — ответил я.

Его комментарий был скорее откровенным, нежели профессиональным. «У меня нет слов. Где находится (курсив авт.) Латвия?»

Его вопрос обобщил высказывания людей, с которыми мне довелось беседовать перед поездкой в Латвию. Они не спрашивали, где мои меховые шубы, и с чего я воображал, что мне полезно молоко северных оленей. Но им хотелось задать подобные вопросы.

* The National Geographic Magazine, October, 1924.



Карта балтийской республики Латвии. Молодое государство, территория которого составляет примерно половину территории штата Нью-Йорк, а количество жителей равняется примерно половине населения Филадельфии. Контур границ напоминает голову лежащего мавра. Его курчавая макушка упирается в Россию, линия профиля совпадает с южной границей Эстонии, на горе находится Рига, а затылок совпадает с границей Литвы. Наименования мест даны в таком написании, которое нынче используется на картах, выпускаемых правительством Латвии. В скобках даны знакомые названия пунктов на немецком и русском языках.

Рижское кафе за час до оперы

Спустя пять дней, сидя за столиком уютного маленького кафе в Риге, я убедился, сколь ошибочны были некоторые мои подозрения. Когда я отказал себе в третьем вожделенном пирожке, легком, как летнее облачко, а темно-волосое воплощение красоты за соседним столиком отложило свою душистую сигарету, чтобы разглядеть меня в лорнет, я уже не понимал, зачем, минуя Париж, мне непременно потребовалось приобрести в кондитерской «аварийный» шоколад.

Тишину, царящую под затемненными лампами во время исполнения «Элегии» Массне, сменило легкое щебетание. Юная Рига подкрепляла себя сладостями перед тем, как в семь часов отправиться в оперу. Серьезный обед не начнется раньше одиннадцати, когда развлекательные функции от кафе и «Кармен» переймет на себя кабаре.

Рига, еще вчера швыряемая хаосом на баррикады и полная кратеров от артиллерийского огня, живет сегодня неукротимо интенсивной жизнью. Когда в два часа ночи гаснут огни городских кабаре, молодая Латвия отправляется на ужин в Луна-парк, пить и развлекаться вплоть до восхода солнца, которое в новое сияние окрасит золотые линии оранжевого купола Греческого собора.

За время войны Латвия пострадала больше, чем, к примеру, Бельгия. Лишь в районе Риги оказались полностью разрушены 24 000 зданий, тем не менее Рига остается невероятно красивым городом. По праву первенства столица взяла самое лучшее от приобретенной свободы. Рига — истинная метрополия с привлекательными улицами, замечательными зданиями и сетью неповторимых парков в самом центре города. Ко всему этому прилагается более или менее дорогое правительство с девятью посольствами за границей и наиболее уравновешенным бюджетом во всем мире.

Поля — богатство Латвии. Промышленность почти вы-

мерла, торговля низведена до дробного числа по сравнению со своим прошлым объемом, и все равно — Рига — это город роскоши. Однако поля, поставляющие сравнительно расточительное богатство этому городу, выглядят мрачными и прозябающими в нищете.

Десять лет назад крупнейший город Латвии имел в четыре раза больше рабочих, чем теперь во всей республике вместе. Неповторимый Старый город с насупившимися шпилями церквей находился в окружении заводов, обеспечивающих Россию всевозможной продукцией. Нынче заводские трубы уже не дымят, сотни окон выбиты, а стены предприятий лежат в руинах. Технику в военное время эвакуировали в Россию.

Самая большая фабрика в Риге производит резину. Если прошлым летом в мире было какое-то место, где не хватало резиновых сапог, плащей, водолазных костюмов, то таким местом оказалась Латвия. Правда, работой фабрика «Проводник» с полной мощностью хотя бы одну неделю, произведенной резиновой продукции было бы достаточно для Латвии и для всех окружающих стран в течение года.

Чтобы восстановить промышленность, мало наводнить доступные рынки произведенным товаром, который имел бы плохой сбыт, но ведь и Ригу придется населить рабочими-коммунистами, присутствие которых в больших количествах может обернуться опасностью для стабильности государства.

Рига имеет неограниченный импорт и экспорт золота и серебра, и за время моего длительного пребывания в Латвии курс валюты не изменился ни на сантиметр. В сегодняшней Европе два подобных факта, как два маяка, указывающие путь среди темных и опасных берегов.

В 1922 году в Латвии попросту невозможно было купить очень многие вещи. Автомобиль, предназначенный для увеселений, воспринимался почти как диковинка. Продовольственные товары стоили дешево, но были плохого



качества. Сегодня в магазинах можно найти все, что пожелает сердце. При таком удобном расположении места в Риге можно пообедать лучше, чем в большинстве европейских столиц. Список вин нынче читается как вексельная компенсация — неограниченные возможности употребления и весьма высокие цены.

Хотя за такси приходится платить в три раза выше, чем в Париже, ваш нынешний латыш не откажется от поездки на Рижское взморье летом, дабы насладиться освежающей поездкой мимо песчаных дюн по берегу Балтийского моря. После основательной качки в штормовых морях войны и неопределенности Джек Латыш тратит свои деньги, словно моряк, наконец-то сошедший на берег.

Рижские противоречия

Рига — уютный город без индивидуальных домов. Столица в свежести зелени, не имеющая ни единой частной лужайки; с безукоризненно чистыми улицами, которые содержат в порядке женщины в белых халатах. Большой город, избородивший морщинами лица девушек в расцвете лет; город, в котором женщины, продающие газеты, скорее, созданы для сплетен у камина, чем для торговли кипами прекрасных латышских журналов и газет на холоде под дождем. Столица с ультрасовременными кабаре и клубами для лото, расцветающими, когда увядают танцзалы; с огромным количеством детей и парками; с горо-



Женщины, поддерживающие чистоту рижских улиц. Они безупречно справляются со своей работой — центральные улицы и парки содержатся в идеальном порядке. Каждый кирпич в городе, пропавший во время войны или по причине полустительства, закладывается сызнова.



Уголок рижского цветочного базара. Девушки-цветочницы в Латвии чаще всего с возрастными морщинами на лице и сутулыми от работы спинами. Латвия в долгу перед своими женщинами, толкающими вагонетки, убирающими лен, мечущими сено в стога, ухаживающими за скотом, метущими улицы, катающими коляски, работающими в гостиницах, приводящими в порядок уличные базарчики, собирающими опилки и торгующими лесоматериалом.



жанками в стильных шелковых чулках и сельскими женщинами в вязаных носочках по щиколотку, для которых смысл любой одежды — теплота и удобство. Большой город со множеством замечательных церквей (воистину — избыток церквей), где богослужения ведутся на немецком языке, и с не менее великолепной оперой, где Вагнера поют на латышском. Столица с фотографиями-портретами экстра-класса и людьми, которые противятся современному портретированию, ибо желают четкой прорисовки каждой конкретной детали: пусть каждая волосинка будет если и не пронумерована, то непременно видна по мере надобности.

В Латвийской опере женщины сдают в гардероб шляпки.

В дневное время под синью неба дом оперы походит на сарай, а ближе к вечеру, когда солнце сползает по классическому фасаду, здание превращается в восхитительный ларец из золота и серебра. В лунном свете желтоватые стены приобретают мраморность, а колоннада фасада здания напоминает Парфенон.

Интерьер весьма невыразителен, если не замечать роскошные драпировки боковых лож и декор ложи президента, находящейся ниже трех подковообразных балконов.

Оперы хорошо поставлены, да и поются отменно, хотя латышские тексты для «Тоски» или «Кармен», «Риголетто» или «Фауста» странно воспринимаются на слух. Слишком много согласных звуков, они мешают друг другу, путаясь между собой.

Главные роли распределены со вкусом. Большой хор, славно обученный с музыкальной точки зрения. От природы стройные фигуры молодых хористок превосходят очарованием станы дам из парижского хора.

Билеты в Рижскую оперу стоят от 4 до 80 центов. Леди должны сдавать в гардероб свои шляпки, а мужчинам по-

лагается сдавать свои пальто. За это не взимают отдельную плату или чаевые. Когда поднимается занавес, двери закрываются, и запоздавшие зрители вынуждены проводить первое действие за дверью. Дамы в вечерних платьях доставляют истинную радость, а хождение во время антракта по кругу — хоть ни на что и не похоже, все равно очень мило.

Край трех языков

Многие латыши владеют тремя языками. Это факт, которым стоило бы гордиться, однако завоеванная свобода ослепила людей в их отношении к русскому и немецкому языкам, являющимся мировыми. Латышский язык, принадлежащий, похоже, к группе индоевропейских, и, возможно, тесно связанный с санскритом, служит численно меньшему количеству людей, чем проживает в Филадельфии, а территория применения языка уступает Мэну (штат в США).

Издавна на улицах Риги звучали три языка, среди них латышский находился на низшей ступени. После непрестанной семивековой жестокой эксплуатации, после горьких месяцев борьбы против Германии и России латыши не желают воспринимать два ненавистных языка выше своего. Они заменили знаки, теперь латышский язык наверху, а немецкий и русский — внизу. Этот маленький шовинистический каприз простерся даже еще дальше: на дереве выгравировали новые таблички, оплаченные государством, — они у входа в воистину дивные рижские парки на трех языках оповещали, что собак прогуливать запрещено, однако потом соскоблили русские и немецкие тексты... Выходит, если человек — он является и хозяином



Блошиный рынок в Московском предместье (форштадте). Во всех уголках довоенной России торговля подержанным барахлом, проходящая на улицах, была весьма популярна. По сей день необходима по причине бедности. Иногда эти рынки именуют воровскими базарами.

собаки — не умеет читать на латышском, то его собака имеет по меньшей мере чистосердечное оправдание для права беспрепятственно носиться по парку.

На трамвайных остановках русские слова замалеваны, в свою очередь, на немецкие приклепана жестяная табличка, и таким образом, латышский язык — единственный, на котором можно прочесть. Спрашивающему дорогу на немецком — объясняется, естественно, название улицы на немецком языке. Далее этот некто добирается до указанной улицы, где, однако, русского и немецкого названия нет, а оставшееся латышское, которое можно прочесть, не имеет решительно ничего общего с тем, которое называлось, когда объясняли путь.

На чужестранца, говорящего на русском или немецком, смотрят косо. С тех пор, как Латвию назвали Янтарным краем, в Либау (Либаве) находился порт. Сотни лет он именовался Либау. Сегодня это уже Лиепая. Если кто-то опрометчиво потребует билет в Либау, то, всего вероятнее, он опоздает на поезд, поскольку в кассе не смогут представить, в какой же стороне находится такая Либау. Пароход из Нью-Йорка отправляется в Либау, но возвращается в Нью-Йорк — из Лиепая.

Ригу в чистоте содержат женщины в белых халатах.

Возможно, Рига для сегодняшней Латвии — слишком роскошна. Поскольку, по сравнению с прошлым, население уменьшилось до одной трети, а из индустриальной столицы Рига превратилась в столицу белых воротничков, то попросту некому заниматься реставрацией и восстановлением города. В Риге есть районы, где прежде летучие мыши совьют себе гнезда, чем рабочие возьмутся за существующие строения. Правда, если отбросить в сторону такие предместья, то Рига поражает порядком и ухоженностью.

Повсюду в Латвии восстанавливаются мосты, возвращаются дорогам былое величие, приводятся в порядок здания и вновь устанавливаются все указатели и знаки.

Женщины в белых халатах знают свое дело. Через час после закрытия рынка уже убраны все кучи мусора и отбросов. Парки содержатся в идеальном порядке, а несметное количество старомодных цветов рассажено с удивительным пристрастием. Рига становится одним из безупречнейших городов в Европе.

В двух шагах от американского консульства можно приобрести американскую печатную машинку, счетные и вычислительные машины, зато в Латвийском банке стучат древними счетными костяшками. Кассир с истинно бюрократическими манерами выпустил мне в лицо колючее облачко дыма, а потом спросил мое имя так, словно я — рядовой призывник, явившийся на обычную муштру. В другом банке со мной обошлись на удивление любезно.

Надо признаться, чем больше американцы сталкиваются с методами работы в зарубежных банках, тем выше они, где бы ни находились — в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго или Париже, ценят корректное поведение и безупречно быстрое выполнение заказов в своих учреждениях.

Пока я находился в Латвии, латыши меняли рубли на латы или золотые франки — 50 рублей или 100 сантимов на лат. Царила неопределимая путаница.

Латыш — подобно Риге — странная смесь старины и нового. Ему свойственны черты примитивного крестьянина наряду с качествами энергичного бизнесмена. Когда я встречаю его отправляющимся в банк с портфелем под мышкой, в моей голове роятся мысли о сельском хозяйстве. Внешне — вылитый горожанин, вроде даже не ведающий — как обращаться с плугом, но все равно — корни его родового древа непременно сыщешь в деревне.



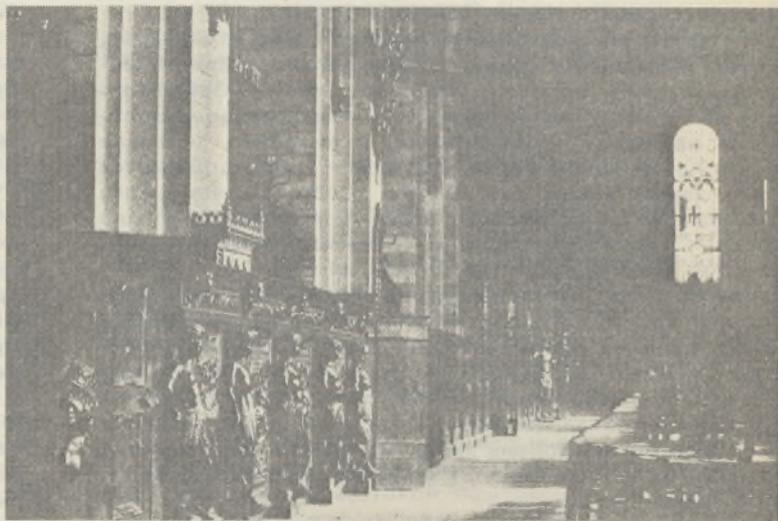
Вид на Рижскую Национальную оперу с противоположного берега канала, отделяющего Старый город от нового. По мнению латышей, следует гордиться тем, что итальянский, французский и немецкий языки удалены из либретто, а вокальные партии исполняются на латышском. Латышей обуревают национальный патриотизм. Спустя семь столетий они наконец-то завоевали взлелеянную независимость.



Остановка трамвая в Риге. В русский период Рига, по всеобщему признанию, была городом трех языков. В оригинале на этом языке была русская надпись вверху, немецкая — посередине и латышская — внизу. Латыши закрасили русскую надпись, прикрепили жестяную табличку на немецкую и единственной оставили латышскую.



Девушка, торгующая газетами в Риге. Покупается преимущественно латышская пресса, но именно на этом стенде в продаже были еще и русские, немецкие, французские газеты, даже два американских и несколько английских изданий.



Интерьер церкви святой Марии, Рига. В кирпичной церкви, строительство которой было начато в 1211 году, слева от прохода находятся резные скамьи, принадлежавшие обществу Черноголовых — братству именитых холостяков, влияние которых в пятнадцатом веке было несомненным. Скамьи украшают курчавые головы мавров, являвшихся символом этого братства. Необычная эмблема братства вероятнее всего принята потому, что патроном Черноголовых считался святой Маврикий, бывший по преданию негром.

Лото — покер и бридж Латвии

Всяческие увеселения влекут латыша. Однако одно развлечение способно прервать буквально все — от танцев и обеда до кинофильма и политического митинга. Таким видом спорта является лото. Этой игре отдан самый роскошный танцевальный дворец. Ежевечерне лото удерживает людей в своей чарующей власти до тех пор, пока не пожалует полицейский, охраняющий двери, чтобы оповестить — этой ночью двери закрываются, и праздник закончился.

Две, а то и три сотни представителей обоего пола сидят за столами, усыпанными карточками лото, в зале, где мужчины постоянно поддерживают высокую концентрацию табачного дыма. Хоть лотерейная машина, в которую засыпают пронумерованные шарики, и устроена таким образом, что перепутает любую логическую последовательность, все равно — это удивительное место, где можно обучиться счету. Четким и монотонным голосом мужчины за машиной называют на латышском, немецком и русском языках номера. Лото игнорирует лингвистический шовинизм, а для непонимающего эти три языка на доске вывешивают названные номера.

Рижский рынок

Ежедневно Рига возрождает свою связь с землей — вдоль набережной и на старой Александровской площади располагаются рыночные места. Крестьяне привозят цветы, коренья, овощи, фрукты и грибы. Там не увидишь низкие расшатанные прилавки, но длинные ряды щедрых повозок, переполненных капустой, морковью, картофелем, луком.

То и дело натыкаешься на бредущего русского — через плечо у него связки разных баранок. Это товар для того, кому по нраву славянское.

Всюду разнообразие ягод и фруктов. Раз я наткнулся сразу на черешню, морковь, яблоки, чернику, малину и крыжовник, впридачу — красные ягоды, растущие в лесах и являющиеся излюбленной ягодой, но ни один человек не смог назвать ее на английском. Земляника, созревшая у Балтийского моря, считается наилучшей в мире.

Очень много овощей. Они отличного качества. Рестораны за долг почитают взвинтить цены на сии продукты, относительно смывая таким образом пятно стыда с плебейского происхождения. Заказ пары морковин и, скажем, цветной капусты обходится ровно во столько, сколько стоит отменное филе из говядины, тающее во рту.

Блошинный рынок

Меньше годен для обзора, зато весьма характерен для старой России — таков еженедельный воскресный блошинный рынок, проходящий в Московском форштатде (предместье) Риги. По соседству друг с другом располагаются маленькие лавчонки, в которых задешево можно купить всяческий хлам; попросту — блошинный рынок, впрочем, если истинно существующее в жизни может соответствовать подобному названию. Все это на улице.

Добро, которое не привлечет ни одного вора

Эти рынки зачастую называют воровскими базарами, но ни один вор не сопрет подобную рухлядь. Скорее, это предложение для работы в периферийной торговле. У кого-то имеется кое-что, но непригодное ему или ей. Так вот, дабы избавиться от ненужной вещи, такой некто отправляется в определенный день в отведенное для базара место и торчит там под солнцем или дождем в ожидании, а не возникнет ли у кого-то спрос именно на эту вещь. Если не повезет, он или она тащит этот предмет обратно домой.

Часто предлагаются на этом базаре канарейки и картинки религиозного содержания. Всегда найдешь книги на всевозможных языках, сыщутся и разрозненные нотные листы. Один мужчина, к примеру, принес на продажу много пальто. Среди них ярко-синее с золочеными пуговицами.

— Оно слишком жмет в груди, а мальчик растет так быстро! — возражает беспомощная с виду женщина, за это время ее сынок глаза высмотрел, разглядывая соблазнительные пуговицы.

— Что вы, вся добротность этого пальто — его можно распустить в груди. В нем все двойное! — торжествующе сообщает торговец.

Каждый, кому знакома латышская женщина, поймет, что мужчине удалось сбить пальто.

Там предлагались детские варежки, бывшие некогда белыми; чуело голубки, сохранившееся, очевидно, со времен мирных переговоров; чья-то семейная Библия с импозантными инициалами на медной пластинке; любые календари 1910 года; бинокль без задней линзы, бумажные цветы, выглядящие живее, чем сама жизнь, когда бакенбарды и котелок считались непреходящим украшением мужского пола. У забора теснились торговцы башмаками. Одна женщина устроилась на ревматическом диванчике, пытаясь втиснуть ногу в туфлю.

— Вы что, впрямь вознамерились разломать мою софу, — взволновался владелец софы.

— Нет, — ответила женщина, стоя, как аист, на одной ноге, втаскивая за шнурки на другую ногу туфлю. — Всего лишь пробовала, предполагая купить, но раз она такая непрочная, я не буду ее брать.

Там я видел вполне приличного вида скрипку, но ее владелец, далекий от виртуозности, демонстрируя хорошее звучание своей скрипки, парой взмахов смычка вымел из головы потенциального покупателя любую мысль о подобном приобретении.

Видел теннисную ракетку без сетки, охалку манжет и воротничков, хоть и бывших в употреблении, но не бывавших в стирке; пояски, свитера, бусы и кровати, детские коляски, служившие для перевозки вещей. Гвоздем коллекции одного мужчины стал каблук от женской тапочки, обтянутый нежной красной кожей.

Честные перебранки со всех сторон, но без особого шума, лишь рабочий шум хорошо смазанной машины бизнеса.

Для Риги, как и для Ленинграда (Петрограда), свойственно свое — местное время. Экономия дневного света вероятно началась именно здесь, хотя горожане используют его до того мало, насколько это возможно. Может, причиной — белые ночи. Это побуждает к привычкам ночной жизни. Может, виною долгие и темные зимние ночи. Тогда дни до такой степени коротки, что людям неведомо, как их использовать. Похоже, этого и правда не знает никто. Разве опера, а так — до самой поздней ночи ничего другого не происходит. В то время, когда жители Нью-Йорка заполняют до полусотни городских театров, жаждащие развлечений в Латвии лишь начинают с наслаждением вкушать венский шницель.

Члены правительства обычно проводят одно заседание в день, так что они обедают после трех. Несколько дней кряду я задавал себе вопрос: «Где люди питаются?» На самом деле следовало бы спросить: «Когда они это делают?» Однажды в дождливый день, сидя в роскошной обеденной зале, где мне одному «принадлежали» три человека обслуживающего персонала, дюжина зеркал, серебряным узором расшитые салфетки, кресла изысканной резьбы, я писал письма. Во время чая поднял голову и убедился, что моя монополия исчезла — зала была переполнена обедающими.

Получается, что опера, начинающаяся в Риге в семь, является легким послеобеденным отдыхом. Далее следует кабаре, как само собой разумеющееся. Ночная жизнь в Риге начинается поздно, достигая своего апогея далеко за полночь.

ТЫ — ЧЕЙ-ТО СЫН ...

Каждый раз, когда мы чем-то ограничиваем себя, то начинаем бредить идеями и абстракциями. И приходим к максимально открытым формулам: однако они принадлежат миру мысли скорее, чем реальности.

Не знаю, говорил ли я раньше, что театр — это дополнение к социальной реальности. Возможно, что и говорил. Но для меня театр это не то, что можно спрятать в ящик. Как я мог отделять театр от литературы? Для меня, как всякого уважающего себя европейца, отношения между театром и литературой необычайно сильны, но не как в восточном классическом театре. Писатели, великие писатели прошлого были очень важны для меня, даже если я и боролся с ними. Быть лицом к Кальдерону и Словацкому — все равно что наблюдать борьбу Иакова с ангелом: «Открой мне свой секрет!» На самом деле, черт с ним, с твоим секретом. Значение имеет лишь наш секрет, секрет тех, кто жив сейчас. Но если я узнаю твой секрет, Кальдерон, потом я смогу понять свой. Я не разговариваю с тобой, как с драматургом, чью пьесу должен поставить. Я говорю с тобой, находясь на изрядном расстоянии от самого себя. Это значит, что я говорю со своими предками. Конечно, не буквально, не глаза в глаза. Но в то же время я не могу отрицать их существование. Это моя основа, мой исток. Это личные отношения — между мной и ими. Так я работал с драматической литературой и не случайно, что это были авторы из прошлого: надо было иметь дело с предками, с другими поколениями.

И если у меня складывались глубокие отношения с актером, то я приближался к тому, кто больше не был художником: я был лицом к лицу с другим человеческим существом, другим человеком.

Ты можешь все время искать союзников и находить врагов, с которыми нужно сражаться. Ты — перед лицом максимально жесткой социальной системы. И тебе надо найти свой путь. Внутри себя надо найти собственную свободу. Ты должен найти своих союзников. И, возможно, ты найдешь их в прошлом. Я говорю с Мицкевичем. Но о сегодняшних проблемах. Я говорю о социальной системе, под господством которой прожил почти всю свою жизнь. Вот моя позиция: я не работал для того, чтобы выставить напоказ свои знания; я делаю это скорее, для того, чтобы расширить остров свободы, который во мне есть. Моя работа — это не

оглашение политических деклараций, а делание дыр в стене; то, что было для меня запрещено, после меня должно быть разрешено; закрытые двери должны открыться; я должен практически решить проблему свободы и тирании. Это значит, что моя деятельность должна опережать примеры свободы. Это не означает необходимость жалоб по поводу предмета свободы, как, например, «Свобода — это хорошо. Мы должны бороться за свободу». Весь этот мусор надо вышвырнуть вон. Ты должен это делать, никогда не отказываясь, а отбрасывая шаг за шагом. Это и есть проблема социальной активности через культуру.

С аналитической точки зрения проще всего сказать, что романтический иррационализм появился во времена промышленной революции. Это очевидное дополнение. Ошибка футуристов заключалась в создании образов машин в обществе, основанном на машинах. Когда доминируют машины, наше внимание должно быть привлечено к человеческому. Вся жизнь — это комплекс уравнивающих процессов. И дело не в том, чтобы найти концепцию, задав себе вопрос: удовлетворяет ли тебя жизнь, которой ты живешь? Счастлив ли ты в ней? Доволен ли жизнью вокруг себя? Искусство, Культура, Религия (в смысле истока, но не церкви) — это все средства, говорящие и показывающие твою неудовлетворенность. Нет, эта жизнь недостаточна. Поэтому мы что-то делаем, что-то предлагаем, отвечающее определенной потребности. И здесь вопрос не только в том, чего нет в образе общества, но и в том, чего мне не хватает для собственной жизни.

Искусство в основе своей мятежно. Плохие художники говорят о мятеже; настоящие — мятежны. Они отвечают могуществу конкретного акта: это и наиболее важно, и наиболее опасно. Следуя этим путем, мы можем кончить таким мятежом, который не только состоит из слов, но и анархичен. А это уже означает отказ от ответственности. В искусстве эта позиция предоставлена дилетантизмом. Я не заслуживаю доверия в своей работе, я не выполнил ее как мастер; у меня нет способности; я действительно дилетант в худшем смысле слова. Поэтому я мятежник.

Но я имею в виду другое. Искусство — как мятеж состоит в творении *fait accompli* (свершившийся факт), это разбивает пределы, созданные обществом или, в случае с ти-

ранией, политические силы. Но ты не пробьешь пределов, если не заслуживаешь доверия. Твой *fait accompli* ни черта не стоит, если в основе нет компетентности, проработки в деталях. Это так! Возможно, это богохульство, но это так! Да! Ты знаешь, что делаешь, ты вооружен, тебе верят; ты создал свой *fait accompli* таким совершенным, что этого не могут отрицать даже твои враги. Если твой мятеж не компетентен, ты все потеряешь в сражении. Даже если ты искренен.

Похожее произошло с контркультурой в США в 1960-е годы. Ее больше нет, она загнулась; это не значит, что в ней не было элементов искренности или ценности, но не было достаточной компетентности, точности, сознания. Как в фильме Бергмана, который в Польше шел под названием «Она танцевала одно лето». Верно, это были 1960-е годы: они танцевали только одно лето, а потом сразу отказались от всего, не поинтересовавшись, стоило ли. Фейерверки, танцы, экстаз — и затем — ничего. Подлинный мятеж в искусстве — это то, что сопротивляется и является компетентным, не дилетантским. Искусство всегда было усилием в борьбе с тем, что не удовлетворяет. И в результате оно оказывалось дополнением к социальной реальности. На самом деле не нужно сосредоточиваться на чем-то ограниченном, например, на театре. Театр — это часть окружающего нас феномена, часть всей культуры. Мы можем выбрать: пользоваться ли словом «театр» или отменить его. Но за этой повседневной рутинной, за поиском стабильности в жизни, за усилием не слишком отличаться от других, но в то же время быть «интересным», за повторением общих мест, за критикой наших родителей, но совершая при этом их же ошибки, забывая их на самом деле, как и то, что они нам дали, — вся эта жизнь неполна. Но есть и еще кое-что. И когда это понимают, то посвящают свою жизнь культуре или религии.

В этом сражении мы прошли разные этапы. Следуя чему-то, мы сейчас понимаем, как оно действует. В результате мы оказываемся в той же ситуации, что и путешественник XIX века, который пересек «белое пятно», найденное им на карте Австралийских гор. И все ему делали комплименты в связи с успешным исследованием этого пятна: «Почему бы вам не продолжить это путешествие на всю оставшуюся жизнь!» То же самое просят от нас. Это значит, что нас просят

обменять приключение и открытие на простой туризм. Нет, белое пятно надо исследовать! Ты меняешь направление, ищешь другое пятно, потом еще одно, но ты всегда привязан к социальной ситуации. Вокруг тебя целая жизнь: старая глупость умирает, рождается новая; значит, мы должны противостоять новому, а не старому — на сцене появляются новые соперники. Более или менее одинаковые. Но под новой маской. И мы должны представить себя под новой маской. И поединок продолжается. Таким вот образом здесь возникает проблема дополняющих взаимоотношений, тоже из разряда наших собственных технических и художественных приключений.

Когда мы отказываемся от слова «паратеатральный», то в реальности имеем дело с проблемой театра, однако в театре участия перед нами встают два важных вопроса. Во-первых, в чем разница между действием-притворством и существованием? И, во-вторых, что такое настоящая встреча? Что общее должно быть у людей, прежде не знавших друг друга, чтобы состоялась настоящая встреча? Куда мы должны направить усилия и какие создать условия, чтобы возникла такая простая структура, при которой никто не должен будет играть встречу или показывать дружеские чувства к людям, которых на самом деле не испытывает, или демонстрировать коллективистский дух, который становится способом отказа от себя? (Дело не в том, чтобы разрушить сотрудничество людей, а в том, что создание динамичного коллектива невозможно без индивидуальностей). Все эти вопросы встают очень конкретно. Затем мы должны избежать банальностей, клише, которые могут появиться. Банальности существуют в театре участия так же, как и в театре классическом. Они заключаются в игре в «дикаря», имитации транса, усиленном использовании рук, создании процессий, в игре в участника процессии, в симулировании разницы между козлом отпущения и его преследователями, в утешении мученика, в имитации простоты, которая на самом деле является безответственным поведением, в представлении личных поведенческих клише в виде импровизации. Все это предельно конкретно. Таким образом, если вы имеете дело с театром участия, вы должны исключить возможности возникновения всего этого, а также падений на пол и игру в монстров. Эти привычки надо блокировать!

Потом, возможно, что-нибудь и появится: невозможность контакта, если мы не в состоянии отказать от него. Это проблема связей и несвязей. В современном обществе — и в западном тоже — люди сами по себе настолько больны вещами, что контакт с другими людьми им просто снится. В реальности они на контакт не спо-

собны, а могут лишь обманывать друг друга. Двое начинают импровизировать, проходит третий, присоединяется к ним и все разрушает. Эта дурная привычка напоминает бульдога, который обязательно еще раз откроет пасть, если он укусил кого-нибудь. Это твой контакт, твоя связь. Поэтому если ты ищешь контакта, начинать надо с техники дисконтакта: я не стремлюсь к тебе, я стараюсь так устроить пространство, чтобы мы могли там действовать вдвоем, но разными способами. Но если мы намерены действовать, не беспокоя друг друга, и я начинаю петь, и ты начинаешь петь, то это не должно привести к дисгармонии; если это так, значит, когда я пою, я должен слушать тебя и я должен осторожно подстраивать свою мелодию под твою. Но не только мелодию, я должен учитывать и еще кое-что. Так ты оказываешься не одиноком со своей мелодией; ведь «кое-что» — это, например, реактивный самолет в небе, и он шумит. Если ты поешь, ничего не меняя, это значит, что ты не в гармонии: ты должен найти равновесие своего звука с реактивным двигателем, чтобы охранить свою мелодию. И ты видишь, что сделать это можно только после хорошего обучения движению, пению, умению пользоваться временем и т. д.; это значит, что надо быть профессионально оснащенным человеком, чтобы начать с дисконтакта и не думать о контакте. Очень часто людьми, вовлеченными в театр участия, оказываются дилетанты. И эта программа не срабатывает. Ты должен быть в высшей степени компетентным, чтобы проводить такого рода импровизацию. Доброе намерение само по себе не спасет работу, ее спасет только мастерство. Очевидно, что когда оно есть, встает вопрос сердца. Без мастерства сердце немногое стоит. Когда есть мастерство, мы оказываемся перед проблемой сердца, духа.

Когда я начинал работать с Театром истоков (это был еще период театра участия), было совершенно ясно, что в определенной традиционной человеческой деятельности — которую можно назвать религиозной — в разных культурах, где традиция еще существует, можно увидеть в некоторых случаях театр участия без банальности. При работе над ритуальной техникой — и западной, и незападной — мне тоже было ясно, что ни один человек не может стать специалистом во всех ритуальных техниках. Панди-йога не может существовать. Чтобы стать шаманом, надо родиться, воспитываться и получить образование там и посвятить 14, 21 или 28 лет жизни тренингу (в йоге один тип тренинга очень отличается от другого). Мы оказались перед таким сложным феноменом, что первое правило должно гласить: наблюдать, чтобы власть в практическое дилетантство.

Посмотрим на это с точки зрения вашей компетентности. Я говорю себе, что я художник, но не как человек, который пользуется этим как игрушкой, а как тот, кто должен вызвать доверие к себе именно таким путем. Чему можно научиться, работая с людьми разных культур и традиций?

Быстро становится очевидно, что не все различия могут быть выделены, что мы не можем измениться, что я никогда не стану индийцем, даже если буду освящен индусом. В реальности мы не можем изменить нашу религию — в смысле происхождения, — потому что бессознательный язык нашего сознания уже сформирован. В английском языке есть два слова — совесть и сознание. Я говорю о совести, которая не позволяет совершать некоторые поступки и дела. Это она заставляет чувствовать раскаяние, если ты сделаешь что-то неверное. Ее нельзя подменить, она входит в структуру языка религии, в котором мы рождаемся, воспитываемся, образовываемся, проходя через весь социальный контекст. Поэтому и существуют различия, которые невозможно выделить. Однако можно пойти к тому, что предшествует различиям.

Когда я видел усилия, производимые новым ритуальным искусством, и глупости, проистекавшие из этого, я понял, что это был род синтеза, вобравший элементы разных культур с целью их действительного синтеза. Это ошибка. Но можно пойти к тому, что предшествует различиям. Это очень просто. Позвольте мне привести почти детский пример: в одной из восточных техник определенная система дыхания используется для контроля над произвольной нервной системой; в особенности в индусской технике происходит концентрация на интервале между вдохом и выдохом. Но в Японии, в технике дзен, этого не делают. Здесь важен не интервал, а подготовительное положение к вдоху и выдоху. Что мы можем сделать со всем этим? Решения совершенно разные, но общее здесь так просто, что оно действительно предшествует отмеченной разнице: можно получить доступ к произвольной нервной системе через определенный способ наблюдения за дыханием. Можно не пользоваться определенной дыхательной техникой и понять, что ваша нервная система к чему-то стремится. В соответствии с пост-юнговской психологией это называется «мечтающее тело». Например, тебя искушают. Твое воображение разыгрывает захватывающий фильм, полный грехов. Если ты итальянец, то пойдешь дальше, радуясь и предаваясь грехам; если ты англосакс, ты не будешь наслаждаться ими, но фильм свой смотреть продолжишь. А он идет дальше. Что это за фермент воображения? Это что — прер-

ванный дух искушает или тебе это действительно нужно? Это можно быстро выяснить. Сядь поустойчивее и понаблюдай за дыханием. Наблюдай за телом не меньше трех минут. И потом задай себе вопрос. Теперь ты можешь дать верный ответ. Так что же это было? Если это не было искушением, значит, дьявол пустил в тебе глубокие корни. Я приведу еще один очень простой пример.

Мы всегда можем наблюдать разные традиционные техники с той точки зрения, что предшествует различиям, наблюдать факты простой жизни, на которые мы обычно не обращаем внимания именно вследствие их простоты. Почему африканский охотник из Калахари, французский, бенгальский, мексиканский охотники принимают на охоте одну и ту же позу? И почему из этого положения возможен только один род ритмического движения? И в чем польза такого движения? Это очень простой, легкий уровень анализа: если вес тела перенесен на одну ногу, а второй вы делаете шаг, вы не на шумите и сможете продвигаться очень медленно и безостановочно.

Таким образом некоторые животные не заметят вашего присутствия. Но важно не это. Важно, что есть определенное, первичное положение тела, которое уходит так далеко в глубь времени, что обнаруживает свою принадлежность не только к роду *Homo Sapiens*, но и роду *Homo erectus* и связь с появлением человека. Это необычайно древняя поза, которую некоторые тибетцы называют позой рептилии. В афро-карибской культуре эта поза более точно связывается с позой травяной змеи, а в индуизме — с тантрой, где спящая змея является основой для положения позвоночника. Вы можете назвать все это предрассудком народа другого времени. Но нет необходимости обращаться к другим традициям, потому что такая же есть в Европе. Например, в образе змеи, поднимающейся от основания позвоночника к сердцу (это если не принимать во внимание двух змей, образующих медицинскую эмблему). Специалист по мозгу мог бы, наверное, открыть «рептильный мозг», древний мозг, который проходит от основания головы по позвоночнику в солнечное сплетение, которое в некоторых культурах называют «маленьким умом». Я говорю обо всем этом в фигуральном смысле. В нашем теле есть древнее тело, которое можно назвать телом рептилии. Если вы понаблюдаете за развитием человеческого эмбриона, вы сможете представить появление рептилии в одной из первичных фаз; условимся считать эту «рептилию» основой для формирования «рептильного мозга».

Сейчас мы подошли к тому, что имеет непосредственное отношение

к моей нынешней работе. В конце Театра истоков я задался вопросом: как люди использовали первичную энергию, как, пользуясь техниками разных традиций, они нашли доступ к древнему телу человека. Я много путешествовал, прочел множество книг, нашел много следов. Некоторые из них захватывают как феномен, например, черные африканцы из пустыни Калахари: их техника заключается в «кипячении энергии», по их словам. Они делают это с помощью очень точного танца. Этот сложный танец очень долог. И ясно, что мы не можем использовать его в качестве инструмента. Во-первых, он слишком сложен; во-вторых, он сильно связан со структурой мышления именно этого народа и, в-третьих, западные люди не смогут так долго двигаться и не сойти с ума.

Где еще есть что-то похожее? В Эфиопии, Нигерии, в некоторых направлениях йоги. Но это все софистика. В определенном смысле нам нечего здесь взять. Посмотрим, как обстоит дело с другими традициями.

В карибской — особенно на Гаити — существует танец *Yau valou*, который исполняют в мистериях (под влиянием христианства его называют еще Танцем Раскаяния). Это очень просто и прямо связано с «телом рептилии». Но это не причуда: его можно считать художественным, в нем есть точные темпо/ритмические размеры, извлекающие волны тела, а не только позвоночника. Если это делается вместе с песнями, то помогает движению тела. Мы оказываемся в какой-то реальности, в основном художественной.

Ну хорошо, сделаем следующий шаг: когда кто-то приезжает сюда и начинает участвовать в работе, то оказывается перед лицом очень точной эстетической техники. Мы — перед необходимостью технической компетентности; ты должен знать, как надо петь и танцевать в органичной и структурированной манере.

И сейчас мы не говорим о «рептильном мозге», но только об этом эстетическом аспекте — об органичном и структурированном существовании. Такой подход становится медленным испытанием для дилетантов. Западных легко можно поймать на том, что они не способны уловить разницу между простыми шагами и танцем и, топя по земле, принимают это движение за танец. Но танец это то, что происходит, когда ваша нога в воздухе, а не тогда, когда она касается земли. То же самое с пением. Если они являются продуктами разных систем нотации (в смысле записи на бумаге и на магнитофоне), то они смешивают песню и мелодию. Они способны спеть лишь то, что может быть нотировано. Но когда речь идет о качестве вибрации голоса, пространственном резонансе, телесных резонаторах или таком дыхании, которое

вызывает вибрацию голоса, то они оказываются неспособными даже заметить все это. Мы можем сказать, что западный человек поет, не чувствуя разницы звука фортепиано и скрипки. Здесь совершенно разные резонаторы, а он ведет звук, мелодию, не замечая этого; конечно, крупнейшие профессионалы знают это, но только не дилетанты. Дилетанта всегда можно разгадать по тому станку, с которым он ногой касается земли, и по реконструкции мелодии вместо создания вибрирующих свойств песни.

Но говорить о «рептильном мозге» еще рано: давайте попробуем решить первичный вопрос, который касается измерений художественной техники. Итак, мы — перед лицом основной проблемы танца и пения. Когда она будет более или менее разрешена, мы сможем начать работу над тем, чем на самом деле является ритм, — над волнами старого тела в новом. Здесь мы рискуем впасть в особый примитивизм, иначе говоря, начнем работать над элементами инстинкта, можно сказать, над животным аспектом, и потеряем реальный контроль над собой. В традиционных обществах ритуальные структуры вырабатывают необходимый контроль, поэтому и не возникает опасность его потери. Подобная контролирующая структура отсутствует в современном обществе, это значит, что каждый решает эту проблему индивидуально. Какую же проблему надо решить? Избежать возможности утонуть. Или, говоря западным языком, не дать бессознательно затопить сознание.

Это означает, что мы должны выдерживать стандарт человека, а это в некоторых традиционных языках связано с вертикальной осью — «стоять». (В некоторых языках слово «человек» означает того, кто стоит). Термин — «косовой человек» — используется в современной психологии. Это что-то, что наблюдает, хранит наблюдения, это качество бдительности, наблюдения. В Библии, так же как в Евангелии, мы часто встречаем выражение «Будь бдителен! Будь бдителен!» Наблюдайте за тем, что происходит. Рептильный мозг или рептильное тело — это ваш зверь, но будь человеком! Наблюдай за тем, что случается! Наблюдай за собой. Как если бы присутствовал регистратор инстинкта и сознания, как две крайности одного регистра. Наше повседневное существование оставляет нас где-то посередине, и не зверь, но и не человек. Мы робко движемся между двумя точками. Но в подлинной традиционной технике, как и во всяком правдивом исполнительском искусстве, мы держимся на двух крайностях одновременно. Сначала вы стоите прямо. Начало составляет то подлинное, что есть в вашей настоящей природе, то, что есть здесь, сейчас, вашу подлинную натуру со всем бо-

жественным и животным, с инстинктами и страстями в одно и то же время. И все же вы должны быть бдительны с помощью сознания. Чем больше вы пребываете в становлении, тем дольше вы должны стоять прямо. Это наблюдающее сознание делает вас человеком. Это напряжение — особенное и точное — между двумя крайностями создает противоречивую и таинственную полноту.

Я сказал только об одном из дюжины элементов работы, и этот маленький элемент состоит из проблемы старого тела и сознания. Я указал, в связи с этой проблемой, что решение лежит в технической и художественной отделке, это «недилетантизм». Когда мы попадаем в него, перед нами открывается настоящий хаос: мы одновременно оказываемся перед лицом архаического и сознательного. Для решения этой проблемы есть маленький инструмент, который я называю органомом или янтрой. В древнегреческом органон значит орудие, инструмент, как и янтра в санскрите. В обоих случаях имеется в виду тонкий, деликатный инструмент. Давая пример янтры, старый санскритский словарь указывает на хирургический скальпель или на инструмент для астрономических наблюдений. Таким образом, янтра — это что-то такое же точное, как хирургический скальпель, который в то же время может связать вас с законами Вселенной, природы, как и инструмент для астрономических наблюдений. В древней Индии храмы проектировались, как янтра, то есть пространственное расположение должно было быть инструментом, способным вывести людей из чувственного волнения к эмоциональной полноте, привести от внешних эротических скульптур в интерьер, который наполняет вас, заставляя все вырывать изнутри. Тот же принцип был использован в средние века при строительстве соборов; правда, в этом случае он был тесно связан с проблемами света и звука, но основные факторы здесь те же.

И я сегодня ищу то же самое в реальности исполнительских (ритуальных) искусств: органон (янтру). Эти инструменты могут появиться только как результат длительных исследований. Вам не только нужно знать, как проектировать, конструировать их как определенный тип танца и пения, объективно воздействующие на вас, но и как использовать, чтобы избежать глупости и достичь полноты.

Я уже приводил вам пример янтры, «рептильного тела», танца и песни, которые должны привести к структурированной и органичной манере и сопровождаться в то же время «бодрствующим» сознанием. В нашей профессии возможно любое количество янтр. На самом деле проблема не в том, что мало возможностей, а, напротив, в том, что их слишком мно-

го; что инструменты так тонки, что мы должны постепенно идти от уровня дилетантизма к уровню компетенции, понимать опасность и двигаться к ее преодолению. Будь осторожен: велика разница между янтрой и трюком. Могу ли я использовать свое искусство в коммерческих целях? С этим типом янтры? Нет, это что-то не то. Это все равно что попросить человека, могущего построить собор, соорудить хороший публичный дом. Эффект может получиться интересный, но что-то здесь будет не то. И этот аспект действительно существует. У западноевропейских и американских людей это действительно проблема! Художественные педагоги, вовлеченные в своего рода проституцию, очень интересуются такими исследованиями и думают: мы могли бы все это использовать в нашем американском или европейском коммерческом театре. Нет, не могли бы! Инструмент действительно слишком тонок. Это правда, что вам придется подняться над уровнем отсутствия компетентности или дилетантизма, но когда вы окажетесь на уровне недилетантизма, то перед вами встанут глубокие человеческие проблемы. Это вопрос вашей индивидуальности, а не только художественного развития. Этим нельзя манипулировать, потому что и результат будет несколько фальшив, или возникнут второстепенные психопатические эффекты. Потому что когда вы имеете дело с циркулирующей энергией, янтра является властным инструментом.

Вы понимаете, что эта работа совершенно отличается от той, которую мы проводили в период Театра истоков, где проблемы заключались в открытии простоты, предшествующей различиям. Сейчас мы имеем дело с разными техническими инструментами, которые содержат весь технический и художественный аспект нашей работы. Только — постепенно, на первых шагах, но это абсолютно необходимо: иначе работы не будет. Поэтому мы тратим время, разговариваем, отводим много времени на эти первые шаги, потому что должны увидеть все элементы художественной работы. Например, мы должны увидеть разницу между импровизацией-беспорядком и импровизацией-редаптацией внутри структуры, так сказать, гармонической импровизацией. Я намеренно лишь намечаю точки, потому что весь предмет необычайно сложен. Но должно быть совершенно ясно, что ты не станешь недилетантом или компетентным в этой работе, если ты проникут духом туриста. Я имею в виду, что ты двигаешься от предмета к предмету, не сделав ни одного полностью своими руками. Одни из моих тестов — это своего рода индивидуальная этнодрама, в которой начало — старая песня, связанная с вашей этно-религиозной традицией. Мы начинаем работать с этой

песней, как если бы в ней потенциально содержались полнота движения, ритм и все остальное. С современными людьми сразу возникла проблема: вы что-то находите, маленькую структуру вокруг песни, потом создаете новую версию, потом — еще одну. Это значит, что вы остались на первом уровне, который можно назвать поверхностным уровнем предположения, так как новое предположение пробуждает нервы и создает иллюзию чего-то. Это значит, что вы работаете горизонтально, а не вертикально, как человек, откапывающий родник. Вот в чем разница между дилетантом и недилетантом.

Дилетант создает что-то прекрасное, которое в большей или меньшей степени поверхностно, взволновавшись в своей первой импровизации. Но это всего лишь скульптура из дыма, которая обречена на исчезновение. Так дилетант начинает поиск по горизонтали. В определенном смысле многие формы современного индустриального развития похожи на это, как, например, в Сайлисон Вэлли, где есть огромный электронный комплекс в Калифорнии: здания здесь стоят друг за другом, и комплекс развивается горизонтально, становясь в конце концов неуправляемым. Этот принцип резко отличен от строительства соборов, где всегда есть точка связи. Подлинная ценность определяется вертикальной концепцией. Но это труднодостижимо в индивидуальной этнодраме, потому что работая вниз и вверх, вы обязательно должны пройти через кризис. После отработки первого предположения вы должны выделить то, что не нужно на самом деле и реконструировать все в более компактной форме. Вы проходите в работе через разные периоды, лишённые жизнестойкости. Это кризис, скука. Многие технические проблемы могут быть решены: например, редактирование, как в кино. Вы должны не только перестроить и вспомнить первую форму (это линия маленьких физических действий), но и отделить ненужные детали.

Так вы произведете купюры и начнете складывать разные фрагменты. Вы можете, например, воспользоваться таким принципом: начать с линии физических действий — стоп — выделить фрагмент — стоп — вернуться к линии физических действий. Это как в кино: движущаяся последовательность останавливается на фотографе — вырезка — фотогран — начинает новую последовательность движений. Итак, у вас есть физическое действие — стоп-стоп — физическое действие. Но что делать с «вырезкой», с «дырой»? Например, на первой остановке вы можете стоять с поднятыми вверх руками, а на второй — сидеть с опущенными вниз руками. Одно возможное решение: техническая демонстрация возможности, почти балет, игра умения. Это одна из многих

возможностей. Но в любом случае воплощение требует много времени. Проблема здесь в том, чтобы остановка не была механической, она, скорее, должна напоминать замерзшую волну. Это значит, что движение здесь полно, но остановлено.

То же самое должно быть с каждой остановкой, предшествующей новому фрагменту действия: невидимое действие уже должно быть в теле, даже если и не работает. Затем встает проблема визуального регулирования аудитории. Если в момент остановки, вырезки возникает песня, то является ли песня вырезкой? Если река — это песня и физические действия — это корабль, то совершенно очевидно, что река должна течь непрерывно, и песня не должна останавливаться, а обострять физические действия. Но очень часто то, что случается, находится в оппозиции к физическим действиям, как река, придающая пению манеру. И вы должны знать свой выбор. И пример с редактированием связан с выделением фрагментов; здесь также возникает вопрос включения одного фрагмента в другое пространство между двумя «остановками».

Этот тип работы случается в кризисные моменты. Вы постепенно входите во все более компактные элементы. Затем ваше тело должно совершенно от этого освободиться и заново открыть свои органические реакции. И ты должен вернуться к самому началу работы, чтобы найти, с точки зрения первичной мотивации, соответствие новому реструктурированию целого. Таким образом работа не развивается горизонтально, она идет вертикально через фазы органичности/кризиса/органичности и т. д. Договоримся, что каждая последующая фаза спонтанности в жизни всегда является фазой технического поглощения; кроме того, надо оглядеть все классические проблемы исполнительского искусства. Например, кто тот, кто поет песню? Это ты? Но если это песня твоей бабушки, то разве это все еще ты? Но если это ты, со своими телесными импульсами исследуешь бабушку, то это уже не ты и не твоя бабушка, которая поет; это ты, поющий и исследующий

свою бабушку; можно сказать, ты — исследователь бабушки-певицы. Возможно, ты потом двинешься дальше, в труднообразимое место и время, когда кто-то пел эту песню в первый раз. Что это значит — песня, спетая в первый раз? Это настоящая традиционная песня, она анонимна. Мы называем ее народной, но ведь и в народе ее когда-то начали петь. У тебя есть песня, ты должен спросить себя, где она началась. Возможно, в то мгновение, когда в горах загорелся огонь, где кто-то охотился и начал повторять открытые слова, чтобы сохранить тепло. Это была еще не песня, скорее заклинание, «мантра» — примитивно магическое заклинание, которое кто-то повторял. Ты смотришь на песню и спрашиваешь себя: где первородное заклинание? В каких словах? Может быть, эти слова уже исчезли и тот же человек пропел что-то другое, или кто-то развил слова, спетые первым человеком. Но если у тебя есть силы, чтобы дойти до начала песни, то это уже кто-то из твоих предков, из твоей страны, деревни, родительского дома. Пространство кодируется даже в манере пения. Люди по-разному поют в горах и на равнинах. В горах — переключаясь с одной вершины к другой, и голос образует арку: ты постепенно находишь первые заклинания, ты находишь ландшафт. Первыми были дерево, животное, огонь, возможно, одиночество: ты начинаешь петь, потому что боишься остаться один. Ищешь ли ты других людей? Было ли это в горах? Если да, то были ли там другие люди? Кто был тот, кто пел так? Старый или молодой? Наконец, ты открываешь, что происходишь откуда-то или, как традиционно говорят во Франции, ты — сын такого. Ты — не перекасти-поле, а откуда-то ведешь свой род, из какой-то страны и места. Вокруг тебя были похожие люди, близко ли, далеко ли. Это ты 200, 3000, 400 или 1000 лет назад, но это ты, именно ты. Потому что человек, который начал петь, тоже был чей-то сын. Таким образом ты откроешь все это, и тоже станешь чьим-то сыном. Если нет, ты ничей, ты отрезан, стерилен, непродуктивен. Это пример того, как, начиная с

маленького элемента, с песни, встает огромное количество проблем. Все человеческие проблемы традиций, корней, истоков, появления песни, заклипания, все наши человеческие взаимоотношения, все наши предки во все времена — все это появляется. И в то же время встает классический вопрос нашей профессии: кто такой персонаж? Ты? Первый человек, спевший песню? Если ты — сын первого человека, спевшего песню, тогда — да, это настоящий образ персонажа. Ты приходишь из особенного времени, из особенного места. Но только это не значит, что, играя роль кого-либо, ты не являешься им сам. Во всей этой работе есть вертикальный аспект — стремление к началу, это не дилетантизм, скорее, доверие к недилетантизму. И когда ты приходишь к нему, тогда возникает твоя проблема. И здесь неожиданно получается: за тобой — художественные и технические возможности, а впереди что-то, что требует не профессиональной, а личной компетентности.

Как Гамлет говорил Горацию о своем отце: «Он человек был. И такого мне больше не видать». Поэтому настоящий вопрос звучит так: ты человек? Образ этого есть в Евангелии. Два товарища Христа шли по дороге в деревню. К ним присоединился странник. Они говорили о смерти Христа. И поссорились. «Почему, — спрашивает странник, — вы ссоритесь?» Они отвечают: «Случилось страшное. Разве ты не слышал?» И они все ему рассказали. Но что они ему рассказали? Мы все знаем очень хорошо. Но ведь в самом начале этой истории (не в канонической версии, а в переводе с греческого) говорится: Он был человек. Вот что они должны были сказать, описывая своего героя: Он был человек. Этот вопрос встает после проблемы недилетантизма. Ты человек?

Из беседы в *Gabinetto Viesseux*
Флоренция, Италия, 15 июля
1985 года.

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
Л. МЕЛЬНИКОВОЙ



ИГОРЬ КЛЕХ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЛЬВОВСКОГО ВИТРАЖА

У Фукидида где-то сказано: «Город — это не его корабли и стены, а люди, в нем живущие», т. е. и через полвека после изменения статуса города архитектура остается самым гениальным, что в нем есть, остается задачей, стоящей перед его обитателями. В связи с этим небезыntenесно было бы рассмотреть развитие одного из побочных, вегетирующих в нем сюжетов: зарождение и экспансию витражного ремесла в последние 15—20 лет. Характерно, что подлинным эпицентром формирования этой заразы стала не какая-то художественная инстиуция: институт декоративно-прикладного искусства, худфонд или даже скульптурно-керамическая фабрика с ее мощным стекольным производством, — а скромная реставрационная мастерская, состоящая из двух-трех человек, без всякой производственной базы и обеспечения, разместившаяся в начале 70-х годов в Глинянском веже, а затем вытолкнутая администрацией в крохотное помещение при Городском арсенале — бывшее жилище средневековых палачей, отсюда и пошло ее громкое некогда прозвище «Катівня».

Самым естественным в те годы было бы ничего не делать. Но поколения подрастают и приходят независимо от того, зовет их время или не зовет. С самого начала в этом предприятии энтузиазма было ровно столько же, сколько авантюризма. Примерно та же пропорция сохра-

няется и по сей день. Разве энтузиазм давно вылинял и принял более отвечающую месту и времени форму стоицизма: т. е. чтобы хоть что-то в этой химерной стране на этом не принимающемся в расчет участке делалось хорошо, т. е. высокопрофессионально.

Такая степень абсурдности притязаний, безусловно, нуждается в оправдании, и, чтобы не потерять кредита доверия у читателя, следует попытаться его представить.

Любое движение, для того, чтобы приобрести полноту и законченность, требует, в виде последней санкции, наличия хотя бы одного сумасшедшего. Толя Чобитько, пришедший в витраж в начале 70-х гг., — это образец самого прагматического сумасшедшего из всех, которых я знал. С ним, в первую очередь, связан героический период львовского витража, период «бури и натиска» — стремительного овладения самоучками профессией. Самоучками, потому что специалистов по реставрации витража ни в одном учебном заведении СССР в то время не готовили. Более того, серьезную квалификацию витражиста можно было приобрести только поневоле — в реставрации, сталкиваясь с работой старых мастеров, с теми ежедневными трудностями, которые ставила перед адептами практически полная утрата классической технологии. Помочь справиться с этими трудностями мог только конкретный опыт: бесчисленные эксперименты, работа мыс-



ФОТО МИХАИЛА ЗЕЛЕНА

ли, поиск забытых письменных источников, умение начать все сначала, найти выход в ситуации без выхода. Только там, находясь по колено в дерьме, можно было начать делать невозможное — витражи, а не то, чему учат в художественных вузах: «делать красиво» из того, что есть — из брянского необожженного сигнального стекла, — т. е. из дерьма. Здесь следует упомянуть еще об одном процессе, наложившемся на феномен львовского витражного брожения, — процессе, без которого не понять вполне характера этого брожения.

Процесс этот общесоюзный и связан с массовым исходом интеллигенции в ремесла, в котельные, в аутсайдерство и андерграунд. По времени, и не только по времени, он совпал со вступлением общества в фазу объявленного «развитого социализма». Витражные мастерские закишили переключившимися архитекторами, филологами и прочим посторонним людом. Витраж стал сублимацией.

Но почему витраж? И почему реставрация?

Вопросы эти требуют особого рассмотрения. Если со вторым все более-менее ясно, достаточно начать в уме писать реставрацию с большой буквы — т. е. попытаться поднять культуру с четверенек, то ответ на первый вопрос потребует углубления в метафизику этого города, и шире — края.

Не хотелось бы упрощать проблему, но я полагаю, что Львов всегда склонялся к некой младшей ветви культуры, отчетливо отдававшей предпочтение материальному перед спиритуальным.

Виною ли тому со средневековья въевшийся в гены торговый характер или давление разлитого окрестного крестьянского моря, с его верою в осязание и главной

заповедью: «Возьмешь в руку — маешь вещь», или благоприобретенная уже в новое время провинциальность, чьи привязанности и предпочтения всегда носят орнаментальный характер, — но фактом остаются требующий истолкования перекосящий в художественной ситуации регион в сторону повышенной утилитарности, материалоемкости, технологичности — короче, в сторону декоративно-прикладных жанров — некое упование на самоценность технологии даже в «чистых» жанрах, т. е. своего рода художественная близорукость, перенос акцента в искусствах на «посюстороннее». Здесь сложилась — во всяком случае, в послевоенный период — занятая иерархия жанров и видов искусства. В наиболее общей форме это можно было бы ухватить в такой формуле: «Львов сегодня — это город графики и керамики, а не живописи и скульптуры». Понятно, что не в смысле наличия того и другого, а в смысле продвинутости одного относительно другого. Не цвет, а линия; не выход художественной идеи на агору, а сворачивание в клубок, уход в сферу приватного, редукция до утвари — осмысленной и даже интеллектуализированной, как в случае графики, — но самой своей нацеленностью на восстановление человеческого, «слишком человеческого» пространства, свидетельствующей о распаде пространства общественного, об улетучившейся из него свободе, о забвении восстановленной к небу мысли.

Сказанное в полной мере относится и к витражу. Официально и номинально относимый к роду монументального искусства, современный витраж таковым не является — то, что есть в нем «монументального», ни по каким параметрам к искусству витража не относится, и наоборот, то, что есть в нем «витражного», никакого отношения к монументальности не имеет. Последними великими монументалистами в витраже были Выспяньский и Мехоффер — ими же представлен последний «великий стиль» витража.

Современный витраж в СССР возрождался как искусство сугубо прикладное и по своей природе оксюморонное, — тяготеющее к миниатюре, к тому, чтобы быть жанром ювелирного искусства, — но при этом поразительное элфантиазом.

Безусловно, свою роль сыграло в этом размежевание с тем дискредитировавшим себя, особого рода «монументализмом», господствовавшим у нас более полувека. А также наш стихийный экumenизм, художественное униатство, когда-то в детстве обольщенное калейдоскопом, — и сейчас, без труда и задней мысли, принимающее этот привок католческой-витражной, органичной «ясности» в свой глухой гудящий восточно-славянский ствол.

В последние годы пандемия витражного ремесла охватила всю Галицию, свирепствуя во всех областных городах, разрастаясь буйно и ядовито, будто хвощи и лопухи в огородах Бруно Шульца, достигая уже самих райцентров, где так лезет в глаза нищета матери, и где город предстаёт, будто призывник в военкомате, во всей своей оголенной сущности.

Уже сейчас несомненны заслуги витража в восстановлении достойного человека. Но все же, отвлекаясь от заслуг и пены (когда вдруг самым популярным художником «сезона» начала 80-х может оказаться... Альфонс Муха), от взлетов и падений, от вопиющих экономических условий, все же главной проблемой витража — его внутренней проблемой остается вызывание, вызволение той чистопородной силы цвета, что, наполнив паруса витражей, выгнет «линию», превозможет косность материала и, пусть на сантиметр, стронет корпуса городов с той мели, на которой они сидят, — потому что... город — это и его корабли, и стены тоже.

И потому еще, что, как сказал маркиз де Сад, правда, по поводу *environnement'a* и *habitat'a* «Все же — все это только приближение к тому, что хотелось бы делать на самом деле».

Янв. 1989. Львов



ВИТРАЖ В ДОМИНИКАНСКОМ СОБОРЕ

DON'T WORRY! BE HAPPY!

20 августа. ВОСКРЕСЕНЬЕ.

После 9.00 мы у пресс-атташе, чтобы договориться насчет поездки в Шхем. К сожалению, у него сейчас нет машины, надо ждать до 14.30. Читаю завтрашний «International Time». Обложка журнала и несколько начальных статей посвящены балтийским стремлениям к независимости, будущей балтийской цепочке. «Spiegel» пишет о беженцах из ГДР, «U.S. World Report» — о Румынии и Китае, «Weekly» — о Ливане и палестинском вопросе. Мою политинформацию прерывает Роджер. Муж нашего гида отвезет нас на место съемок на холмах между Иерусалимом и Вифлеемом. До приезда в Израиль он жил в Канаде. Там в совершенстве овладел английским. Здесь потерял полученную в Ленинграде профессию биолога. Теперь пишет. Но по-русски. Поэтому есть проблемы.

— Разве такой маленький язык, как латышский, может существовать в современном мире? Я не верю, что он продержится! . . .

После красного света он сильно нажимает на газ.

— Все никак не могу здесь прижиться! Нет ни одного близкого друга. Чрезмерный прагматизм. Нестерпимая религиозная атмосфера. Государственный аппарат коррумпирован. Единственно, армия — на современном уровне. Самая мобильная армия в мире. Как-никак тридцать процентов государственного бюджета! . . .

Под испепеляющим солнцем карабаемся с аппаратурой по каменным грядкам среди оливковых деревьев. Может быть, именно здесь находится пастушье поле, на котором ангелы объявили пастухам о рождении Христа? Надеваю костюм райнисовского Иосифа (костюм Сократа из постановки «Последняя ночь Сократа», одобренный в нашем театре на улице Краму, 4). Шагаю по камням, обутый в даугавпилские сандалии. Как на беду, недалеко от нас подъезжают два больших автобуса с туристами, они все разбираются на небольшую гряду камней и смотрят на Вифлеем и Иерусалим. Роджер не может найти место, с которого можно было бы снять без участия массовки . . .

Что-то снять удается, возвращаемся домой. В намеченное время атташе нет. Он появляется позже. Машина

вот-вот выедет из гаража. Ждем. Появляется шофер — эмигрант из Африки, очень черный и сердитый. Теперь нет проводника — офицера с автоматом. Спускаемся в буфет и едим легкий салат. Появляется офицер маленького роста, лицом похож на Вариса Ветру, и по-английски говорит, как Варис. Только с волосами дело обстоит хуже. Но это скрывает маленькая шапочка. Он тоже будет есть салат. Чем он хуже советских граждан?

Наконец после 15.00 выезжаем на микроавтобусе Volkswagen с кондиционером. Едем по очень холмистой рельефу. Оккупированные территории. Проезжаем мимо дворца двоюродного брата Хусейна (правителя Иордании). Офицер когда-то не был офицером. Был в правительстве. Тогда он имел свой взгляд на вещи. И, соответственно, неприятности. Теперь он в армии. Теперь его взгляды совпадают с армейскими. Может быть у него и есть еще другие взгляды, которые не совпадают с армейскими. Но знать об этом никому не следует. Он на три недели замещает своего друга!

Самарийский центр. Это также центр арабского сопротивления. Между холмами арабские деревня. То там, то тут на вершинах холмов совершенно новые еврейские поселения.

Несколько израильских военных постов. Проверяют все арабские машины с синими номерами. Мы с израильским всюду проезжаем свободно. Роджер все время думает, как в Шхеме снять диалог Иосифа с братьями. На фоне разъяренной толпы арабов! С одной стороны арабы с камнями, а с другой — евреи с автоматами . . . а посередине, конечно, Стена! В костюме Сократа, раскинув руки к обеим сторонам, пытается их примирить словами Райниса о любви?! Я аферист. Иначе я не находился бы тут. Но эту мизансцену пусть сыграет кто-нибудь другой. Игорь, например . . .

Въезжаем в Шхем. Находим могилу Иосифа. Она, оказывается, находится в небольшом домике. Перед входом проволока. Вокруг тоже. В соседнем домике с зарешеченными окнами, во время приезда Райниса, была арабская школа, и над могилой висело детское белье. Райнис был разочарован! . . . Теперь здесь изучают талмуд еврейские юноши. На столах все еще лежат святые книги, а сами ученики — на каникулах. Наверху на крыше пулемет и солдат. Второй постовой — очень полный студент университета

в форме защитного цвета, с автоматом в углу дворика на сильном ветру варит на баллонном газе кофе в ужасной черной мятой жестяной кружке. Мимо на осле проезжает араб, за ним сынишка гонит пеструю корову. Роджер снимает это. Снимает также обитый синим бархатом высокий гардероб. Наш Варис Ветра сидит под навесом у солдатского стола и поет еврейские песни, а также «Калинку». Время от времени кто-то вызывает пост по радио. Толстый, оказывается, изучает в университете компьютеры, а на каникулах варит кофе и кормит маленького-маленького котенка. — Когда котенок будет весить 16 кг, тогда Толстый снова пойдет изучать свои датчики! — серьезно рассказывает болтливый Варис. На крыше стоит будущий специалист по аэронавтике. Таланты, — офицер обводит всех широким жестом, — не обязаны служить непрерывно. Достаточно каникул, пока не набегит два года! Молодые таланты делятся с нами своим скромным обедом. Кофе, белый хлеб и творог. На противоположной стороне улицы за колючей проволокой большое депо.

Двери приоткрываются, и нас оглядывают исподлобья три молодых араба. Я уже подтягиваю ноги под столом. Сейчас начнется заваруха! Один из них в очках с толстыми линзами идет напрямик к нам! Подсаживается к нашему столу! Никто ничего не говорит. Он тоже молчит и только пробует фасоль из только что открытой консервной банки. Неужели ничего не произойдет? Нет! Юноша начинает говорить, он, например, не хочет никакого государства палестинских арабов. Ему надоели камни и стрельба . . .

Роджер снимает меня. У меня в очередной раз пропала расческа. Но что тут станешь делать с расческой, если ветер прямо сдувает волосы с головы. Вообще я могу сидеть и есть. И больше не возвращаться. Текст тоже не говорить. Да, я смотрю, с нервами у Роджера все кончено. Уже 18.00. Наш провожатый выдвигает ультиматум — еще полчаса! И надо будет ехать! Сейчас стемнеет! А Роджер еще должен перемотать кассету. Потом Роджер интенсивно снимает нашего спутника у могилы Иосифа. Лампу держит гид. Я в приливе джентльменских чувств предлагаю сменить даму, но мою помощь отвергают. Наконец я дорвался до Лиелвардского пояса и небольшого разговора с двойником Вариса Ветры. Он повторно предупреждает о наступающей на улице темноте, но Роджер,

разогнавшись, еще спешит снять и сфотографировать кое-что. Выхожу на улицу под навес. Молодой араб нагибается к столу и, внимательно посмотрев на меня через толстые стекла очков, без лишних слов наливает мне полный стаканчик арабской анисовой водки. Эту материю я изучал в Болгарии в разных видах, посудах и развлечениях, включая греческий анисовый спирт. Встреча со старым знакомым всегда радует сердце! Я осторожно отпиваю малость, в надежде порадовать остатком остальных товарищей. Но молодой человек в результате трагического недоразумения выпивает весь остаток сам.

Выезжаем, когда солнце уже село. Спешим! У кафе на улицах сидят арабские мужчины. На улицах после жаркого дня появляется все больше людей. Варис Ветра затих. Снимает кепку, снимает у автомата предохранитель, вставляет магазин, опускает немного оконное стекло и кладет рядом с собой в кепку пистолет.

Ну, сейчас начнется. Жаль, что уже темно и Роджер ничего не сможет снять.

А что если застрелят меня!!! Но ничего не происходит. Долго едем по холмам вверх-вниз. В Ветре заговорил гражданин — ты хотел бы остаться за границей? Говорю, что конечно нет. Как бы ни было плохо, но та страна у Балтийского моря моя Родина! А он остался бы! — Если бы я не был евреем, чья Родина теперь Израиль, я жил бы в Австралии. Ты не можешь себе представить, какая это прекрасная земля!! — Конечно, не могу... Там умер мой отец... А я должен жить на своей Родине... На оккупированных территориях... На западе от красной черты... На западе от Зилупе и Ритупе!..

У гостиницы обмениваемся визитками и расстаемся с человеком, с которым давно знакомы. Прощаясь, он желает нам удачи в борьбе за независимость.

Прошла треть нашей поездки. Нервы никуда не годятся. Предлагаю попробовать, не испортился ли один из прихваченных с собой коньяков. Разглядываю свою ногу. Что это за чертова болезнь? Воспаление, которое не проходит 20 дней? Так. Теперь больше не могу заснуть. «... а мы — вчерашние, и ничего не знаем, потому что наши дни на земле — тень» (Иов 8:9). Что же в конце концов произошло с Райнисом? Почему он приехал сюда? Посмотреть на то, что есть? Или на то, чего нет? Что надо придумать! Что уже придумано! И написано. Намного ярче, чем в реальной жизни. После чего ничего нового уже не придумаешь... Потому что остается пара месяцев... одиночества... на Рижском взморье!

21 августа. ПОНЕДЕЛЬНИК.

Роджер думает, что сегодня я дол-

жен остаться в гостинице и сконцентрироваться. Вчера якобы глаза были пустыми. Он тем временем найдет место для съемок и тогда позвонит.

Со всей аппаратурой на городском автобусе едем в Старый город. В крепости Давида — в музее у Яффских ворот — час прогуливаемся по крепостным стенам и кое-что снимаем. Весь город под нами. Старый город на востоке, новый Иерусалим — на западе... .

Из гостиницы наш гид отвозит нас на современное кладбище. Роджер хочет снять еврейские похороны. Зацементированные площадки с пустыми углублениями ждут клиентов. Ни души. Как это и водится на кладбище. Но все не так, как бы нам хотелось. Нет никаких церемоний. Служащий при кладбище говорит, что он не знает, будут ли сегодня кого-нибудь хоронить. Раввин говорит, что если и будут хоронить, то близкие не допустят присутствия чужих людей, тем более с камерой. Еще раз объезжаем террасы могил на вершине горы. Откуда ни возьмись появляется группа людей в порванных рубашках (близкие родственники мужского пола должны это делать), моют руки, садятся в автобус и уезжают. Если человек умирает, его надо похоронить в тот же день. Отложить на следующий день можно только в случае праздника или с разрешения раввина. Едем в городское похоронное бюро. Там узнаем, что в 16.00 будут похороны. Роджер снимает в Центральном архиве документы, которые там не выдают. Гид отводит нас к Георгию, он вырвался со своей работы и обещает покатасть нас по городу. Нет Роджера. Через час он приходит. Георгий приготовился везти нас в арабскую часть Старого города, даже взял с собой автомат, запрятанный в пластмассовый кулек, дескать, он в ответе за жизни своих гостей. Теперь до 16.00 всего лишь час, и мы едем в Университет Гиват Рам. Пока поглощаем дешевый обед большими порциями, время уже на исходе. Осмотр университета приходится отложить. В 16.00 мы на кладбище. Все тихо, опять ничего не происходит. Георгий рассказывает о еврейских похоронах, какими они должны быть, на тот случай, если мы их сегодня не увидим. Гроба нет. Труп заворачивают. Церемония короткая. Всего десять минут. Прощание происходит в другом месте.

Георгий считает, что правительство Израиля слишком гуманно по отношению к арабским повстанцам, из-за этого война за полтора года ушла слишком далеко, вышла из-под контроля. Он сам пять месяцев был в армии и, как идиот, с полной выкладкой, с рацией в жару ловил неуловимых подростков в арабских кварталах. Стреляли только резиновыми пулями и только тогда, когда под угрозой была их собственная жизнь. На рассто-

янии больше 20 м арабы эти пули ловили голыми руками, гранаты со слезоточивым газом опускали в бочки с водой и кидали обратно. Почему никто в мире не беспокоится, что сирийская тяжелая артиллерия систематически громит бейрутские кварталы христиан?.. Спускаемся вниз по горной дороге, и вдруг появляется длинная вереница легковых машин. Около двадцати. Мы примыкаем в конце. Невзирая на протесты родственников, что-то снять удалось. Георгий горит от нетерпения отвезти нас в Еврейский университет на горе Скопус. Роджер хочет ехать в центр и снимать людей на улице. Конфликт завершается тем, что выезжаем на гору Скопус, я надеваю костюм Иосифа и на большом ветру расхаживаю вдоль края обрыва и смотрю на вечернее солнце. Роджер снимает. У наших ног снова лежит, только в ином ракурсе, укутанный в синий туман священный город. Оставляем машину с автоматом у университета. Заходим. Этот университет основан в двадцатые годы. Одним из крестных отцов был сам Эйнштейн. Все строения частично под землей. Удивляет своими небольшими, даже интимными размерами. В здании каждого факультета кабинеты и лекционные помещения расположены на нескольких этажах вокруг центрального холма с зеленой и внутренними двориками. Двери разного цвета. Каждое здание факультета в свою очередь, как молекула или ячейка пчелиных сот, цепочкой связано с несколько варьированным зданием другого факультета. Всюду предусмотрены уголки для отдыха и газоны между строениями. Под этими бетонными молекулами — улица с двусторонним движением, с автобусными остановками у каждого факультета. Еврейский университет на горе Скопус долгие годы находился на территории Иордании. Еще до сих пор, проезжая, можно увидеть сохранившиеся скалы иорданцев. В одной из перестрелок стреляли по машинам и убили пару десятков профессоров!

В обоих университетах теперь обучаются 15 тыс. студентов, есть и из других стран. По пути в гостиницу проезжали мимо домов президента Герцога и президента министров Шарона, они усиленно охраняются. Самоотверженный идеалист Георгий нервничает, спешит, он еще должен встретить в городе жену и отвезти домой, но в гостинице провожает нас до номера. Мы обмениваемся адресами, пытаемся поблагодарить его. Он вертит головой: вы видели место, откуда началось образование нравственных принципов всей западной цивилизации! Это Иерусалим! Мне было интересно встретиться с людьми, которые готовы слушать. Обычно гости из России думают, как бы подешевле прожить здесь месяц, чтобы побольше купить домой и там подороже продать!..

Мы снова складываем вещи. Наш гид завтра отправляется на трехдневную экскурсию на юг Израиля и берет нас с собой. По благу! Часть вещей мы оставим в камере хранения гостиницы. На тот случай, если вернемся! **22 августа. ВТОРНИК.**

Встаем рано. После завтрака относим вниз свой багаж и заказываем гостиничный номер через три дня. Нас отводят к комфортабельному автобусу. Экскурсии в разные стороны Израиля продолжительностью в несколько дней, с питанием и ночлегом в хороших гостиницах организует общество Сохнут. Бесплатно. Так и кажется — чтобы поддержать бедных советских гостей Израиля (не туристов!). Нужно только заплатить 13 шекелей за страховку. Некоторые сразу же заинтересовались у нашего гида: а что будет, если мы и их не заплатим?

— Ничего, вас высадят из автобуса! — она ответила, и наступила тишина...

Пока размещаем багаж, пол-автобуса уже занято. Усаживаюсь рядом со стройной брюнеткой, она обращается ко мне по-латышски. — Добрый день! Что вы здесь делаете?

Она приехала к своему отцу. Муж и дети — латыши. Из Юрмалы. Была уже на двух экскурсиях на севере страны. Пережила небольшой испуг из-за пробитой или простреленной обивки машины недалеко от того места, где находилась ее голова.

В Тель-Авиве Роджер с видеокamerой остается у нашего благодетеля, чтобы навестить сына Каспия и осмотреть музей Бялика — Райнис тогда был у него дома. Мы едем дальше. К театру Хабила. Стоят еще два автобуса. Каждый едет в свою сторону. На улице довольно большая толпа. Звучат крепкие словечки на нашем общем государственном языке. Трудно выбрать, если везут даром. Когда страсти улеглись, и автобус заполнился, садится второй гид — мужчина, и мы едем на территорию Тель-Авивского университета, где находится музей еврейской диаспоры.

Размещенный весьма наглядно материал непрерывно напоминает — кто ты, откуда и какое у тебя прошлое!

Съедаем скромный обед в студенческой столовой. За него надо было платить самим, поэтому многие не ели. Следующая поездка ведет в сельскохозяйственный научно-исследовательский институт в окрестностях Тель-Авива. Страшная духота внутри. Длинная лекция. 3,5% населения Израиля занято в сельском хозяйстве. Их проблемы — не особенно плодородные почвы; государственные дотации, вода, затруднения с экспортом, международная конкуренция, долги киббуцев! Время расцвета киббуцев кончилось. Но! Киббуцы — не единственная форма общественной собственности. В последнее время созда-

ются сильные кооперативы! Претворяются в жизнь истинные принципы социализма (те, кто измучены жарой и не спят, зашевелились на скамейках). — А как объяснить плодородие земли израильской? Тысячелетиями здесь была пустыня! Нет другого объяснения — в талмуде сказано! — здесь будут жить многие народы, но эта земля им ничего не даст до тех пор, пока вы не вернетесь! На свою землю обетованную! Смотрите! Достаточно полить песок водой, — и растет все, что только пожелаете. Мы привозим семена со всего света. Мы поливаем каждое дерево. Каждый день! Нет больше малярийных болот и песчаных дюн вдоль побережья Средиземного моря!.. Это наша земля! Это наша любовь!..

Едем назад, в северный район Тель-Авива. Гостиница. Четыре звездочки, у нас на троих просторный номер с кухней и большой ванной комнатой. Роджер уезжает к сыну Каспия. Море здесь рядом, и мы с Игорем туда идем. Кажется, первый раз купаюсь в Средиземном море. Далеко за полдень. Пляж уже грязный. И в воде уже плавают пластмассовые бутылки, бумаги, пробки и много других неопределенных предметов. Над нами вдоль берега на северный аэродром после трудного трудового дня возвращаются в улей большие толстые пчелы — военные транспортные самолеты — и исчезают за лесом высокие дымовых труб. Второсортный пляж с первосортной прозрачной теплой средиземноморской водой! Наш отель — последний на севере в длинной цепочке отелей-люкс...

Не переодевая мокрые плавки, возвращаемся в гостиницу. Ужин. Потом ложимся и ждем возвращения нашего начальника. В 21.00 открываются двери, и появляется совершенно отошавший Роджер. Он не ел с самого утра. Сын Каспия очень богат! — шепчет Роджер. — Но он ничего не помнит о Райнисе! Ему было только пять лет! Он меня угощал ледяной водой и кофе! — заканчивает Роджер свой скупой ужин из кладовой памяти. Размякшая в средиземноморской воде моя нога неожиданно проявляет болевую активность, когда я ее несколько утруждаю прогулкой вдоль берега на юг, чтобы понаблюдать мир богатых туристов, денежных воротил и хапуг... После обеда в автобусе у меня за спиной двое гостей Израиля затеяли спор. Один из Дагестана, другой из Челябинска.

— Все это построено на деньги американских евреев!

— Но руками здешних евреев!

Дальше оба долго спорят об уровне жизни, о возможностях выезда, наконец, дагестанец не выдерживает и говорит:

— Я надеюсь на будущий год увидеть вас здесь. Так что обувайтесь!

— Да, с удовольствием. Если толь-

ко в нашем обувном магазине еще будет продавать туфли! — так заканчивает гость из Челябинска.

За ужином гид рассказывает:

— Первая крылатая волна еврейских переселенцев из Палестины назад, в Советскую Россию, была в 1921 году. Обуреваемые идеями социализма, переселенцы основали в Крыму киббуцы и начали учить других делать то же. Были даже последователи. Но потом Великий Мастер начал создавать более правильные колхозы, и о неправильных киббуцах никому до сих пор ничего не удалось узнать. Второй раз переселенцы стали возвращаться в Советский Союз после 1956 г. Все они опять вернулись. На землю обетованную.

Идеи социализма! Революция! Парламентская революция, человеческие мечты и иллюзии... *Les Miserables*. Отверженные! На сей раз европейский мюзикл в американском исполнении. (В конце прошлого года. В Нью-Йорке, в театре на Бродвее). Да! Отчего я вдруг это вспомнил? Наверно потому, что, продвигаясь с толпой в зрительный зал на спектакле праздничным утром Дня благодарения, мы с Петерисом Акменьтиншем вдруг заметили, что, не считая нескольких служителей-негров, мы были единственными инородцами в этой всемирной столице евреев (около 3—4 млн. переселенцев европейского происхождения). Выручка за этот спектакль мирового класса и обращение актеров после спектакля к богатым людям внести пожертвования имели одну цель — помочь больным СПИДом... Я не берусь пересказать или описать ни содержание романа Виктора Гюго, ни музыку *Alain Bonblilia & Claude-Michel Schonberg'a*, ни сценографию *John'a Napier'a* или режиссуру директора *Shakespeare Company Trevor Nunn'a*, но мы с Петерисом оба плакали. Потому что это было о нас, о детях Великой Французской, Великой Октябрьской революции, о бедных людях, которые верят, что вот-вот что-то изменится, что каждая революция — это дорога к добру, что убийство каждого Плохого человека позволит родиться Хорошему человеку... Только после этого спектакля я понял смысл увиденных на улицах по всей Америке, от Лос-Анджелеса до Бостона, афиш — фрагмент гравюры эпохи Французской революции — голова девочки — символ этого мюзикла, и надпись на автобусе — *Don't Miz Out!* Боже, не дай нам погрязнуть в *Miz*-ерабельном прошлом! Мы там были! Дай нам силу взяться за руки и оторваться от себя! Не *Miz*-ируй из человечности! Если только это последнее слово еще что-нибудь значит на бирже девальвирующихся слов!

DON'T MIZ OUT!

На завтрак вареные яйца. Что можно взять с собой? Наиболее притягательно то, что бесплатно. В газетном киоске гостиницы Игорь обнаруживает, что продавщица говорит по-латышски. Так же, как и он, родившийся в Красноярске! Едем вдоль Средиземного моря на юг. Далеко на севере остается киббуц. Fav Blum с переселенцами из Эстонии, Латвии и Литвы, поющими 1 мая Интернационал на древнееврейском языке!

Мы опять в киббуце. Нас опять встречают эмигранты из Риги 1966 года. Мужчина и женщина. — Мы показухой не занимаемся! Это общественное хозяйство с 300 работниками (700 жителей). Денег в банке у нас нет! Проценты по ссуде очень высокие! Производим хлопок, апельсины, мед. Фабрика металлоизделий на экспорт. А когда-то экспортировали индюшек и мясо! Теперь экспортируем еще экстракт сои. Вообще у нас работают люди из 24 стран. Единственный в мире практический опыт настоящего социалистического хозяйства в системе капиталистического рынка. Поэтому и существует до сих пор. Хотя киббуц как таковой сегодня уже не рентабелен. Хорошо, если удастся уплатить проценты задолженности. Сейчас киббуцы должны государству 8 млн. шекелей. Маленьким частным хозяйствам выбиться труднее без государственных субсидий и без гарантированного выхода на международный рынок. Новая форма кооперации — маршава, основанная на свободном хозяйственном договоре, с общей техникой. Каждое объединение вырабатывает свои мобильные принципы. И в реализации продукции тоже, внедряя работу по найму на время уборки урожая. Реально гарантируют своим членам самый высокий жизненный уровень в сегодняшнем Израиле. Маршавские кооперативы выплачивают свои долги за 5-6 лет. Пока это самый эффективный способ сельскохозяйственного производства, при котором объединяются 20—30 тщательно отобранных людей, специалистов в своих областях. Частным хозяйствам трудно конкурировать с поддерживаемыми государством киббуцами. Они выращивают очень редкие дорогие культуры на экспорт по специальным заказам, без минеральных удобрений, без химикалий. Зарабатывают валюту! Для всей страны! Осматриваем руины эллинизированного древнего палестинского и еврейского, впоследствии завоеванного Византией, города Ashkelon под красным солнцем над побережьем Средиземного моря, националь-

ный парк, раскопки, систему орошения, голые . . . колонны.

Полазив по старым крепостям, едем в город *Quivjat Malakhi*. Нас принимает секта ортодоксальных евреев, которая ничего не дает и ничего не берет от государства. В многодетных семьях до 12 детей! Хассисты, или еврейские протестанты, насколько я понял. Они встретили нас веселой музыкой, танцами и песнями в балтийском стиле. Столы с почитаемыми в советское время напитками и с надписями на этикетках на советском государственном языке. Обеды и ритуалы. *Sharai Israell* — я — израильтянин. Ритуал *Tmibhim* с черной ленточкой на левой руке и черной коробочкой на лбу. — За жизнь, за здоровье! — восклицает у микрофона один из талантливых актеров — бывший специалист по компьютерам в Рижском институте авиации. Обеденные столы — в синагоге. Мы примерили картонные шапочки. Только бедный Роджер, по вполне понятным причинам, использует свою шапочку больше как веер. Стены и уши крушит синтезатор. Один оратор сменяет другого. Сменить профессию совсем легко. Остается только решиться! Танцы. Песни. «Катюша». Знакомлюсь с директором одного большого рижского магазина, тихо сидящим в автобусе.

Въезжаем в пустыню Негев. Гид рассказывает об Аврааме. Он — несправимый идеалист. На сей раз я имею в виду гида — студента философии. После танцев в синагоге он говорит в микрофон: — Авраам — это свободный выбор людей . . . это религиозный процесс, в космическом характере которого проявляется высшая власть . . . он совершенно прав. Об этом свидетельствуют наши склоняющиеся головы . . . когда мы проезжаем через бесконечные хлебные поля, отвоеванные за двадцать лет у пустыни Негев. Пшеничные поля, овцы. Одна, две, три . . . Верблюды! Тормоз! Стоп!

Роджер с камерой уже далеко в степи. У кого фотоаппарат — тоже! Бедуинская девочка в длинном красном одеянии пытается еще что-то спасти и отогнать подалеже верблюдицу с малышом. Тут подоспевает Роджер, и она в панике, закрыв лицо, бросается бежать, чтобы спастись от ужасного оружия этого толстого мужчины. С горы вниз несется трактор. На большой скорости отрезает Роджеру путь и исчезает в поднятом дыме, верблюдами и колесами облаке пыли! Даже пустыня защищается! От пробегающих мимо спекулянтов! . . .

Вспомните! Авраам шел по всей земле. И что он делал? . . . Копал колодцы! На этой земле, по которой

вдоль и поперек пролегли караванные пути! На этой земле, в которой не было воды! И в Beer Shev! Сегодня — это современный город посреди пустыни с университетом и научно-исследовательскими институтами, изучающими более полное использование солнечной энергии. Есть проект о перебросе воды Средиземного в Мертвое море. Как-никак разница в 400 м. А если бы мы подняли свой взор и освободили ту скрытую солнечную энергию, которая кроется в тенистых уголках Колыбели человечества, одной из Пирамид и исчезнувших храмах?!

Колодец Авраама! В самом центре Beer Shev! 4 тыс. лет назад он их много выкопал, и каждый кому не лень их засыпал!

Теперь их откапывают, благоустраивают и обставляют ресторанными столиками! Как-никак Авраам! И один из последних. Незасыпанный! Зимней ночью в Латвии за окном рычит гром: — Ты святотатствуешь. — Нет более дрянной вещи, чем то, что во имя Прекрасного сочинил карлик. В День благодарения я иду по Нью-Йорку и понимаю, что ничего более прекрасного в понимании человека с Запада я не увижу, чем отблеск на темных стенах небоскребов маленьких, развешенных на дверях электрических лампочек. И это правда. Доступная, мне недоступная . . . Beer Shev основан в 1949 г., теперь 110 тыс. жителей.

Размещаюсь в «Desert Inn» — пустынной гостинице. После ужина во внутреннем дворике рядом с бассейном свадьба — около 500 гостей. Присутствие ТВ с прожекторами. Большая корзина с подарками. Легкие напитки. Алкоголя не видно. Все и без того веселы и радостны. Стою за живой изгородью и наблюдаю беззаботную праздничную толпу между цветными лампочками. На расстоянии за мной наблюдает какой-то человек южной наружности. Наконец подходит. Узнал меня по фильмам. Молодой врач-психиатр из Кутаиси. В гостинице живет третий день. Чувствует себя очень одиноко. Приехал один. Гостиница и питание бесплатное. На карманные расходы 150 ш., пока не выучится языку на курсах. Здесь, посреди пустыни, идеальный климат для легочных больных . . .

В номере выпиваем *Jordan River Gin*, наполовину разбавленный теплой водой из-под крана . . . Каким был этот день в Латвии? Можем ли мы взяться за руки? . . . Роджер с Игорем разобрали систему питания камеры и собирают с ковра винтики . . .

(Продолжение следует.)

...и элегантная,
богатая американка.
Автор трех книг
о Советском Союзе,
которые стали
бестселлерами.
Организовала
Фонд помощи
тяжело больным
советским детям.
Живет в Москве.
Почему?
Что нашла
она в нашей нищей,
безумной стране!



ФОТО: Г. КМИТ (АПН)

«Я СТРАДАЮ С ВАМИ, Я ПЛАЧУ С ВАМИ, Я ПЬЮ С ВАМИ И Я ЛЮБЛЮ ВАС»

БЕСЕДА С ЛОИС ФИШЕР-РУГЕ

— Лоис, расскажите, пожалуйста, о себе.

— Я родилась в Хартфорде, Коннектикут. В этом году мне исполняется 50 лет, из них первые почти 30 лет я провела в США. Я изучала политэкономия в одном из самых престижных частных университетов Америки — Vassar College. После университета получила работу в Вашингтоне. Это была огромная удача. Должна сказать, что у моего отца были очень большие связи, но я не воспользовалась ими. Конечно, мне было бы гораздо легче, если бы я рассчитывала на родителей. Мой отец создал нам с сестрой очень обеспеченную, комфортабельную жизнь, у нас не было никакой необходимости работать. Но нас воспитывали так, что мы начали работать сами еще во время летних каникул — добровольцами (volunteers). В 15 лет с детьми-калеками, в 16 — с малолетними преступниками, в 17 — санитарками в больнице. И это был наш собственный выбор. Отец и мать никогда не навязывали нам свою волю, но я думаю, что с раннего детства в нас воспитывали чувство ответственности, и не только перед самими собой, но и перед другими. Ни разу в своей жизни ни моя сестра, ни я не воспользовались связями отца, полагались только на себя. Хотя отец всегда был рядом, всегда был готов поддержать нас.

— Кто был Ваш отец?

— Он умер 11 лет назад, и это одна из самых больших потерь в моей жизни. Отец был моим идеалом. Он был капиталист, богатый человек. Выше всего он ценил достоинство человека. Он стремился, чтобы рабочие на его фабриках гордились собой, своей работой, семьей, тем, что их окружает.

— Он одобрил Ваш выбор места работы?

— Да, в Вашингтоне передо мной, девушкой 22-х лет, открылись потрясающие возможности. Я получила работу в Peace Corps (Корпус Мира), где в то время мечтали рабо-

тать выпускники университетов. Идея этой организации принадлежит Кеннеди. После его смерти человек, с которым я работала, пригласил меня работать в Белый дом. Это тоже была большая удача. После Белого дома я работала на немецком телевидении, где и познакомилась со своим мужем (теперь уже бывшим). Он немецкий журналист, который очень хорошо знает Советский Союз, и единственный иностранный корреспондент, проработавший здесь три срока (с перерывами) — при Хрущеве, при Брежнев и при Горбачеве. Мой муж привез меня в Советский Союз 12 лет назад, и все эти годы я была связана с вашей страной, а сейчас живу в Москве. Но сначала мы жили в Германии, потом в Китае. (Это было в конце культурной революции, мы провели там 4 года). А потом — Москва. И никогда не спрашивал «Ты едешь?», просто — «Я еду», и я автоматически следовала за ним. Однако в каждой стране — Германии, Китае, СССР — у меня была своя жизнь, свои дела. Формально я уже не работала по специальности, но я старалась понять жизнь, которая меня окружала. В Германии надо было выучить немецкий, в Китае — простейший китайский. А вот в Советском Союзе сначала не было необходимости учить русский, потому что мои друзья, русские интеллектуалы, хотели практиковаться со мной в английском и немецком. Но в конце концов я решила, что надо говорить с ними на их родном языке, чтобы общение было более полноценным.

— Как Вы начали писать?

— Я ведь не профессиональный писатель. Просто ведя такую кочевую жизнь, переезжая из страны в страну, я поняла, что получила возможность видеть эти страны изнутри, приблизиться, насколько это возможно, к пониманию того, что меня окружает. И мне захотелось, чтобы и другие разделили со мной этот опыт. В результате я написала книгу о Китае — *Alltag in Peking* (Будни в Китае) и три о Со-

ветском Союзе *Alltag in Moskau* (Будни в Москве), *Nadeschda heißt Hoffnung* (Надежда по-немецки *Hoffnung*) и *Meine armenischen Kinder* (Мои армянские дети).

Сначала в Германии, а потом в Китае — особенно в Китае — я должна была принять чуждые мне обычаи, привыкнуться к ним, адаптироваться, чтобы нормально жить. И дело здесь не в языке. Конечно, знание языка необходимо при общении, но иногда оно мешает понимать окружающее. Например, первые месяцы в Китае я не знала ни слова по-китайски: не было учителя китайского. Но я могла смотреть и слушать, и я думаю, что увидела и поняла тогда больше, чем потом, когда начала говорить. Должна сказать, что в Китае было очень трудно, не только потому, что я внешне отличалась от местных жителей. Мне было очень трудно понять азиатскую ментальность, поведение. Я знала, что никогда не смогу смешаться с людьми, не только из-за своей внешности, но и из-за своего способа мышления. Я происхожу из капиталистической семьи, а значит, и думаю по-другому, чем коммунисты. Все мое воспитание было антикоммунистическим. Впрочем, в нем не было ничего «анти» или «про». Всегда было — за человека. Я думаю, именно достоинство человека всю жизнь было для меня самым важным. Для меня любая страна, в которой приоритетом пользуется достоинство человека, каждого ее жителя, заслуживает самой высокой оценки. Меня не интересует религия, меня не интересует язык, меня не интересует национальность. Меня интересует достоинство личности.

— В таком случае, что же привлекает Вас здесь, в Советском Союзе?

— О, конечно же, не система, которая унижает своих людей. Люди, которые при этой системе остались людьми. Это мои друзья, которые открыли передо мной двери своих домов. Это особый вид гостеприимства, дружбы, которого я не знала ни в Китае, ни в Германии, ни в Америке. Это дружба людей, живущих в очень тяжелых условиях, чьи ценности отличны от ценностей общества потребления. Мой советский опыт открыл мне новые ценности. Что я имею в виду? Это сосредоточенность на таких вопросах: Что значит жить? В чем смысл жизни? В Германии или США люди не так этим интересуются. Здесь же с самого рождения людям навязываются условия, которые вызывают во мне протест, но в этой ситуации рождаются и свои ценности. Здесь люди имеют так мало, что им нужно держаться друг за друга, дружба помогает выжить. Нам же, в США, Германии, не надо бороться за выживание. Поэтому здесь, у вас, дружба имеет совсем особое значение. Вот почему я так привязалась к вам, все время возвращаюсь в Советский Союз и провожу здесь так много времени. Вот почему я страдаю с вами, плачу с вами, пью с вами и люблю вас. Вы мне дали то, чего у меня не было в том мире, где есть — все. Здесь можно во всей полноте ощутить ценность жизни. Я — человек, который борется за принципы, за то, чтобы человеческая личность была высшей ценностью. Вот почему я пишу свои книги.

— Ваши книги явно не относятся к разряду развлекательных. Какова была реакция читателей? Неужели их можно было заинтересовать нашей повседневной жизнью?

— В Америке вышли только две мои книги. В Германии же — все четыре, и все четыре стали бестселлерами, и являются таковыми до сих пор. Самая популярная «*Alltag in Moskau*» была опубликована 6 лет назад и продана в количестве более миллиона экземпляров. Для Германии это очень много. Почему? Во-первых, сама тема на фоне огромного интереса к Советскому Союзу. И, возможно, мой подход к этой теме. Дело не в литературном качестве моей работы. Скорее всего, это то, как я общаюсь с читателями. Я не стою в стороне и не поучаю, а иду с ними рядом. Я просто делюсь с читателями своим опытом и мне кажется, что они приобщаются к нему, чувствуют, что это часть и их опыта, что они не отделены от вас, они с вами. Я стараюсь не высказывать очень жестких суждений. Знаете, это очень легко: решить что хорошо, а что плохо, когда ты живешь в комфортабельных условиях и не должен беспокоиться за свое будущее, бороться за выживание.

— И все-таки не вызывала ли у Вас жизнь, с которой Вы здесь столкнулись, отвращения, презрения, ощущения, что это безнадежная страна и безнадежные люди?

— Я никогда и никого не презираю и не ненавижу. Я могу сожалеть о чем-то, не одобрять что-то, осуждать систему, которая так поступает с людьми, но не самих людей, у которых так долго не было выбора. Если для меня важнее всего человеческая личность, как же я могу ее отождествлять с системой? Кстати, это одна из причин, почему мои книги не вызвали интереса у американцев. Моя вторая книга вышла в Америке еще до начала перестройки (как бы мы ни относились к этому слову, но оно удобно). И для большинства американцев вы были — врагами, осуждая систему, они осуждали и людей. Забывая при этом, что главное — это каков он сам, этот человек, вне зависимости от системы, в которой он вырос. Я пыталась сделать из врагов — людей. (Конечно, были и другие причины невнимания американской публики. Во-первых, немцы читают гораздо больше, а во-вторых, в Америке очень велик выбор книг).

— Но ведь можно говорить об определенном, предельно обобщенном человеческом типе, созданном системой?

— У ваших людей не было свободы выбора, способ мыслить был только один, навязанный сверху, был ГУЛаг. Что могли люди делать? И конечно, атмосфера страха. Каждый раз бояться, что ты делаешь что-то неправильно, что за это тебя могут осудить. Это непродуктивно, это убивает всякую инициативу. До сих пор актуально выражение «Инициатива наказуема». Всю мою жизнь меня только поощряли за инициативу, способность создавать что-то, развиваться как индивидуальность. Ваша система против индивидуальности. И вы видите результат — страна на грани полного распада. Сейчас людям надо пересмотреть свою жизнь и решить, какое будущее они хотят, какую систему. Не важно, как она будет называться. Главное, чтобы человек имел право сам решать свою судьбу, строить свою собственную жизнь. И что он создаст, то у него и будет.

— Свобода выбора требует от людей мужества.

— Конечно, но у вас есть мужественные люди. Горбачев исключительно мужественный человек, хотя вы можете и не соглашаться с ним. Он так много сделал для мира. Я говорю об этом как американка. Он уничтожил образ врага. К сожалению, он не может все сделать здесь, дома. И вы можете осуждать его. Однако проблема еще и в том, что ожидания и надежды слишком велики. Нужно еще и понимать, что такое ожидание и надежда. Если люди выросли при системе, которая не воспитывала духа инициативы, им трудно понять, что нужно думать не о том, на что они надеются, а о том, что они могут сделать сами, какой вклад они могут внести. До сих пор у вас ответственность была ничьей, все ее избегали. Мы выросли в атмосфере созидания, индивидуализма, инициативы и ответственности. Я всегда знала, что, совершив ошибку и спросив «Кто виноват?», я посмотрю в зеркало. Не мои родители, не система — я сама. Мне кажется, что сейчас у вас одна из самых серьезных проблем состоит в том, что каждый готов обвинить другого, но не себя.

— Вы это очень верно заметили: виноват всегда кто-то другой.

— Это производит удручающее впечатление. То и дело слышишь: «Я не хочу работать, не имеет смысла». Я понимаю, что денег, которые вы зарабатываете, хватает только на карманные расходы, и это не скоро изменится. Инфляция. Но такая жизнь — это медленное самоубийство, это делается уже вашими собственными руками. Люди не хотят брать на себя ответственность, нет мужества подняться и начать борьбу. Не обвиняйте тех людей, которых показывают по телевидению. Посмотрите в зеркало. Это делаете вы сами, своими собственными руками. Подписываете себе смертный приговор.

— Значит, Вы считаете, что самую большую опасность сейчас представляет отсутствие желания бороться за свои права?

— Именно так. Я могу привести не один случай губительного взаимодействия бюрократической системы и человека. Например, история Тани Черненко. Ей 15 лет, у нее тяжелая болезнь, которая лечится на Западе. Министерство здравоохранения решало, кто из родителей будет сопровождать ее на Запад. Я считала, что так как предстоит серьезная операция, должны присутствовать оба: на нее нужно согласие и отца, и матери, врач должен обсудить с ними ход операции. Ведь речь идет о жизни ребенка. Чиновник из министерства сказал, что может ехать только один человек. В чем тут логика? Почему этот вопрос решает министерство, ведь деньги платит не оно, а Запад? Бесчеловечная, унижительная система, разрушающая будущее любой индивидуальности. Но меня поразила еще одна вещь. Я решила поговорить с этим чиновником. Но отец девочки сказал: «Нет, нет, нет. Мы попробуем как-то по-другому». И я ответила ему: «Мне придется отказаться от своего предложения. Я забыла, что вы вынуждены жить при этой системе, вы прожили при ней всю жизнь, и, конечно, должны вести себя так, как считаете нужным. Я же к этой системе не принадлежу, и мне, человеку, выросшему в атмосфере свободы выбора, ответственности, легко говорить. Но если бы это произошло со мной, я бы боролась, противостояла этому чиновнику». Я спрашиваю себя: не потерпела бы я поражения, если бы действовала, как отец этой девочки. Человек не хочет бороться. Может быть, только когда человек молод, когда его еще не били каждый день и не говорили «Делай так», когда у него еще есть энергия, он может выстоять. Я думаю, что нужны одно-два поколения, чтобы изменилась ментальность ваших людей, появились инициатива, ответственность.

— Собираетесь ли Вы написать еще одну книгу о Советском Союзе?

— Да, ее рабочая тема — борьба за выживание. Я хочу показать различные способы, которые люди используют, чтобы выжить. Одни — покидают страну, у кого есть такая возможность. Другие — остаются здесь, но при этом у них есть возможность зарабатывать валюту и тем самым содержать себя, своих родных и близких. Теперь таких людей становится все больше. И третьи, кто интересует меня более всего, — это люди, у которых нет связей с Западом, доступа к валюте. Они борются здесь, стараются держать голову над водой, в то время как система стремится потопить их.

— Наверное, ваш Фонд и создан для того, чтобы поддержать этих людей. Расскажите, пожалуйста, об этой организации.

— Идея Фонда пришла мне в голову, когда я писала свою последнюю книгу «Мои армянские дети» — о детях, пострадавших во время землетрясения, которые лечились в Московской республиканской детской больнице. Больница существует уже 5 лет. Тогда я поняла, что есть единственный способ помочь, и назвала фонд «Door to Door» (название лучше перевести «Из дома в дом»). Это значит — прямая, непосредственная помощь, без посредства любых министерств, любых бюрократических структур. Это прямая помощь из немецких домов, из моего дома — в ваш дом. Моя цель именно эта больница, эти конкретные люди. Можно помочь людям, а не стране, не системе, которая разлагается. Если не делать это прямо, то бюрократия будет мешать, какое-нибудь министерство будет мешать, соперничество будет мешать, кто-то украдет, деньги осядут в карманах функционеров. Например, такая организация, как Детский фонд. У меня не было с ними серьезного конфликта, но то, что я видела и слышала, рождает вопросы. Куда идут деньги, валюта, которую они получают? Сколько людей и как там работает? У них есть деньги, чтобы путешествовать, и они отказывают больным детям. Я бы хотела получить точную информацию, кому конкретно они помогли, кому отказали, проинтервьюировать этих людей. Собственно, Детский фонд натолкнул меня на мысль о создании своего Фонда.

— Вы вкладываете и свои деньги?

— Разумеется. Фонд существует на деньги различных

дарителей и мои собственные. Кстати, это деньги, которые я заработала книгами и лекциями, но не деньги, оставленные мне отцом. Но деньги — это ничто, если они не идут прямо по назначению. Для этой больницы мы покупаем медицинское оборудование, начиная от перевязочного материала и кончая всем необходимым для операции. У нас есть программа обмена. В Москве работает немецкий профессор Холлман, а врачи нашей больницы уже побывали в Германии. Door to Door — это капля в океане, очень маленькая капля. Но если выигрывает больница, врачи, которые лечат самые трудные детские случаи в стране, выигрывают пациенты. Наши врачи будут делиться опытом с другими врачами. Фонд помогает людям, которые помогут другим людям — это как медленная цепная реакция. Такая Sisters' Diplomacy — сестринская дипломатия. Звучит очень банально, но это лучший способ помочь другим, понять друг друга. В результате этой помощи человек может полноценно работать.

— Лоис, у меня есть к Вам один некресивый вопрос, за который я хочу заранее извиниться и перед Вами, и перед теми, кто имеет с Вами дело. Ваши возможности не сравнимы с нашими. Не было ли у Вас когда-либо ощущение, что Вас как-то используют?

— Мои друзья, которых я знаю уже много лет, никогда меня не использовали, так же, как и я их. Есть другие люди, знакомые, которых я держу на расстоянии. Эта проблема существует во всем мире. Использовать меня в Германии, потому что у меня есть имя, репутация, или здесь, потому что я иностранка. Здесь, вероятно, больше, благодаря моим возможностям. Я сразу чувствую, если кто-то хочет использовать меня, и ничего не делаю. Но я не сержусь. Почему я должна осуждать кого-то? Если у него ничего нет, а ему что-то нужно и это легче сделать через меня... Но лучше, если человек поймет, что он может это сделать сам. Наверное, есть люди, которых не волнует, если их используют. Но не я. А друзья не используют друг друга, а нуждаются друг в друге. Это существенная разница. Что же касается людей, которые обращаются в наш Фонд, то у меня есть медицинские советники, я сама ничего не решаю, ведь я не разбираюсь в медицине. У нашего Фонда очень скромный бюджет, и все, что мы тратим, основывается на рекомендациях врачей.

— Все-таки нужно быть очень сильной, чтобы иметь дело с нашей бюрократической системой, как Вам удается вынести все это? Чтобы не свихнуться в этом мире абсурда.

— Благодаря моим друзьям. Это люди, которые разделяют мои идеи, моя supporting team (команда поддержки). Фонд не добился бы никакого успеха без помощи моих друзей, таких же борцов, как и я. Нужно постоянно следить, чтобы помощь шла по назначению, это утомительно. Но я поддерживаю их, и они поддерживают меня. Они не чувствуют себя одинокими. Они знают, что я рядом, они дают мне возможность помогать им достичь поставленных целей. Без них у меня ничего бы не получилось.

— Вы могли бы назвать этих людей?

— Да, конечно. Это Саша, Маша, Лена, Наташа, Тамара, Слава, Сергей, Долорес, Карина... Я могла бы продолжить список распространенных имен. Люди разных национальностей, не все живут в Москве.

— Лоис, Вы чувствуете себя здесь дома?

— О, это очень важный вопрос. Дом — это где у тебя есть друзья. Мы уважаем друг друга. Уважение — это самая первая вещь. Когда вы уважаете другого человека, даже если вы не согласны с ним, с его позицией, вы, по крайней мере, пытаетесь его понять. Не обязательно принимать ход его мыслей. Я — человек, который в течение двадцати одного года был открыт разным языкам, разным культурам. И я пытаюсь понять и адаптироваться. Не выносить решение: там лучше, чем здесь. Людей нужно оценивать такими, какие они есть, вне доктрин и концепций. Но это требует определенных усилий. Вот почему я возвращаюсь к достоинству человека. Уважению и достоинству.

— Благодарю Вас за беседу.

«Родник» представляла
ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА

ПОХОДЫ И КОНИ*

От автора

О гражданской войне в России 1917—1920 годов написано мало. Большею частью отрывочные эпизоды. Большевикам хвастаться нечем, потому описания их — по большей части вымысел, ничего общего с действительностью не имеющий. Писали наши генералы, но ведь они в боях и походах не участвовали и не переживали всех трудностей, которые переживали мы, простые солдаты.

Все очень быстро забывается. Мне же повезло — у меня сохранился дневник и я остался жив. Поэтому считаю своей обязанностью изобразить все, что видел. Может быть, это пригодится будущему историку.

Часто трудно разобраться в своих собственных чувствах. Одновременно бывали страх и смелость, омерзение и жалость, робость и чувство долга, отчаяние и надежда. Мне самому было трудно разобраться в сложном сплетении моих чувств, а уж в чувствах соседа, по-моему, разобраться просто невозможно.

Красные, упоенные безнаказанностью, доходили до бестиальности, теряли человеческий образ. Мы тоже не были ангелами и часто бывали жестоки. Во всех армиях всегда находятся извращенные типы, были такие и у нас. Но большинство было порядочными людьми. Культурный уровень нашей армии был несравненно выше культурного уровня Красной Армии. В этом не может быть сомнения. У нас был дух дружбы, не только среди офицеров, но между офицерами и солдатами. И в этом ничего удивительного не было. Жили мы той же жизнью, делали ту же работу. Дисциплина была добровольная. Не помню дисциплинарных наказаний, за ненадобностью таковых. Был расстрелян агитатор, уличенный на деле, и выпорот буйный крестьянин. Мне кажется, это все. Никаких сысков и доносов у нас не было. Часть превращалась в семью. Полагаю, что и в других частях было то же самое. В этом была громадная разница между нами и красными. Там господствовал сыск, доносы и чуть что — расстрел.

И мы, и красные жили за счет страны. Не знаю, как был организован тыл красных, но наш был организован плохо. Интендантство работало отвратительно, не было создано никаких резервов.

Отношение к нам населения зависело от того, испробовало ли оно власть большевиков. Если большевиков в крае не было или были недолго, то население им симпатизировало, но это ощутимо менялось после долгого пребывания красных. Они наводняли города и деревни пропагандой, грубой и лживой, и потому действенной. Наша же пропаганда почти не существовала.

Крестьянам мы обещали землю слишком поздно — в Крыму в 1920 году. Надо было сказать об этом раньше. Ведь было столько крестьянских восстаний в тылу у красных.

Мы наивно надеялись на помощь «союзников». Помощь эта была недостаточной и неискренней. Все лимитрофные вновь образованные государства — Польша, Прибалтийские, Грузия и Азербайджан — были нам враждебны. Мы не сумели наладить внешнюю политику. (...)

Война ужасная вещь. А война гражданская и того хуже. Все божеские и человеческие законы перестают действовать. Царит свобода произвола и ненависть.

Я хотел изобразить все, как оно было на самом деле, хорошее и плохое, стараясь не преувеличивать, не врать и оставаться беспристрастным. Это очень трудно. Невольно кажется: все, что делали мы, — хорошо; все, что делали они, — плохо. Вероятно, и у меня будут ошибки и неточности, но это невольно. (...)

МОСКВА

ПРИЕЗД ДОМОЙ*

Несмотря на одиннадцать дней пути в теплушке, не раздеваясь, где можно было спать только сидя и все время надо было быть начеку, прибыв ночью домой, я почувствовал такую радость и возбуждение, что спать не хотел.

Мы вскипятили чаю и поджарили привезенные мною хлеб и сало.

Особенно меня интересовало ранение старшего брата.

— Расскажи, как это было?

— Очень просто. Митя Тучков, который тоже был в отпуску в октябре 1917 года, пришел к нам:

— Пойдем?

— Пойдем.

Мы стали звонить к нашим родственникам и знакомым офицерам. Но все пустились в отговорки. Оказались трусливой дрянью. Нужно было их припугнуть, а не уговаривать. Так мы и пошли вдвоем в Александровское военное училище на Арбатской площади. Там были юнкера, вольноопределяющиеся и студенты. Около трехсот офицеров. Всего тысяча с небольшим бойцов. Может быть, были другие группы в других частях Москвы, но общее число офицеров не превышало 700. А в Москве их были тысячи. Они не исполнили своего долга и за это жестоко поплатились. Со стороны красных были солдаты запасных полков и рабочие. Жители и крестьяне не участвовали.

Настоящих боев не было, были перестрелки и столкновения. Мы заняли Кремль. Пошли обедать к Николай Федоровичу, жившему против Кремля, а ночевали в Александровском училище.

Вечером следующего дня искали добровольцев, чтобы проехать на телефонную станцию, занятую нашими, но окруженную красными. Командовал Тучков. Поздно вечером мы отправились на машине, 5 офицеров. С потушенными огнями, нам удалось проехать несколько красных застав. Но на одном перекрестке мы попали под сильный ружейный огонь. Мотор заглох, морской офицер, управлявший машиной, был убит, у меня была прострелена коленка. Остальные выскочили и могли скрыться.

Я выбрался из машины и ковылял, ища, где бы спрятаться. Но все двери и ворота были заперты. Подходила группа красных. Я встал в нишу, но они меня заметили:

— Руки вверх!

Я сунул руки в карманы, забрал в горсти все патроны и, поднимая руки, положил патроны на подоконник, моля Бога, чтобы они не упали. Они не упали. Красные меня обыскали.

* Отрывки из книги, вышедшей в издательстве YMCA-PRESS в 1981 г. Так как повествование разбито автором на вполне законченные главы, мы сочли возможным опубликовать некоторые из них, соблюдая хронологическую последовательность.

* В августе 1917 года 19-ти лет автор окончил Константиновское артиллерийское училище, был послан на фронт. В феврале 1918 года вернулся в Москву.

— Ага, револьвер!

— Ну, конечно, — сказал я возможно спокойнее. — Я же офицер, прибыл в отпуск с фронта. Револьвер есть часть формы.

Это их как будто убедило, но они взяли револьвер.

Подошла другая группа.

— Офицер? Да чего вы с ним разговариваете!

Один солдат бросился на меня со штыком. Каким-то образом мне удалось отбить рукой штык, и он сломался о гранит дома. Это их озадачило.

— Что ты тут делаешь?

— Я возвращался домой, когда поднялась стрельба, и был ранен шальной пулей. Я откинул полу шинели. Кто-то чиркнул спичкой. Было много крови.

— Отведите меня в лазарет.

Они колебались, но все же один помог мне идти. К счастью, поблизости был лазарет. Меня положили на носилки, и солдаты ушли. Но другая толпа появилась на их месте.

— Где тут офицер?

Доктор решительно воспротивился.

— Товарищи, уйдите. Вы мне мешаете работать.

Несмотря на их возбуждение, ему удалось их выпроводить. Доктор подошел ко мне.

— Они вернуться, и я не смогу вас защитить. Идите в эту дверь, опуститесь во двор и дайте эту записку шоферу. Поспешите, уходите.

Нога опухла, и я почти уже не мог ходить, в голове мутилось. Я собрал все силы и побрел. Самое трудное была лестница. Я чуть не потерял сознание. Во дворе стоял грузовик Красного Креста. Я протянул шоферу записку. Он не стал меня расспрашивать и помог влезть.

— Куда вас отвезти?

Я дал адрес хирургической лечебницы моей бабушки, на Никитской, и потерял сознание. По временам я приходил в себя. Мы пересекли несколько фронтов. То это были белые, то красные. Все нас останавливали. Шофер говорил:

— Везу тяжело раненного.

Люди влезали в грузовик, зажигали спички и, так как было много крови, нас пропускали.

Наконец в лечебнице. Меня отнесли в операционную. Бабушка сказала доктору Алексинскому:

— Делайте что хотите, но сохраните ему ногу.

И вот видишь, я едва хромаю.

* * *

Положение бывших офицеров было неопределенно. Как бы вне закона. Но мы были молоды и беззаботны. В театрах все офицеры были в погонах, несмотря на угрозу расстрела. Ухаживали и веселились. Я вернулся в Путьский институт и сдал экзамены первого курса, кроме интегрального исчисления. Легко давалась мне начертательная геометрия и трудно химия.

ВИНО.

Жизнь в Москве в 1918 году была странная. С одной стороны, ели воблу, а с другой — легко тратили большие деньги, так как чувствовали, что все пропало. Большевицкая власть еще не вполне установилась. Никто не был уверен в завтрашнем дне.

Характерный пример. Вышел декрет: за хранение спиртных напитков — расстрел. Тут многие москвичи вспомнили о своих погребах. В начале войны в 1914 г. алкоголь был запрещен, и они из патриотизма замуровали входы в винные подвалы. И даже не помнили, что там у них есть.

Отец и еще трое составили компанию, которая покупала такие подвалы «втемную». Заранее тянули на узелки — одному попадали редчайшие вина, другому испорченная сельтерская вода.

Каменщик проламывал дверь, возчики быстро грузили вино на подводы и покрывали бутылки соломой, и все моментально увозилось. И каменщик, и возчики получали за работу вино и очень это ценили. Работали быстро и молча.

Отец привозил свою часть на квартиру Федора Николаевича Мамонтова, бутылок двести. Внимательно осматривал и отбирал бутылки 20. Потом звал повара и заказывал шикарный ужин по вину.

Я как-то присутствовал при этом и ушам своим не верил.

— К этому вину нужен рокфор, а к этому оленье седло с шампильонами... Патэ де фруа гра непременно с трюфелями. Конечно, кофе... — и в этом роде.

Это когда кругом голодали и достать ничего нельзя было. Но за вино все доставалось. Повар без удивления записывал и забирал все останнее вино как валюту.

Отец служил в коннозаводстве и хорошо зарабатывал. Он приглашал 4—5 человек знатоков и потом, чтобы вино исчезло (мог ведь быть донос), человека 4 молодых. Мы с братом всегда фигурировали. Нас называли «помойкой», и наша обязанность была после ужина вылакать все вино. Не выливать же его в помойку. Стол был прекрасно накрыт, со многими стаканами у каждого прибора. Отец предупредил нас вначале не пить, а пригубливать, чтобы не потерять вкус.

— Обратите внимание, — говорил отец, — это настоящий «бенедиктин», сделанный еще в монастыре, а не на фабрике. Уника... А это столетний коньяк, такого вам уже в жизни пить не придется... А вот бургундское, Шамбертен. Про него Дюма писал, что д'Артаньян пил его с ветчиной. Ничего Дюма в вине не смыслил. Вот для него и создали «патэ де фруа гра с трюфелями» — попробуйте.

Сам отец ничего не пил, у него были больные почки... Но вино знал, значит, раньше много пил, иначе как бы он узнал?

По окончании ужина отец командовал:

— Ну, помойка, вали! — и мы дули вина стаканами.

— Эх, — сказал кто-то из старших. — Этот Шамбертен нужно бы пить на коленях, а они его лакают стаканами. Дикое время.

Оставались одни пустые бутылки, и их уносили.

Действительно времена были дикие. Пир во время чумы.

РЕГИСТРАЦИЯ

Нас, конечно, тянуло на Дон, но нужно было преодолеть инерцию. Этому помогли сами большевики, объявив регистрацию офицеров.

Те, кто не явится на регистрацию, будут считаться врагами народа, а те, кто явится, будут арестованы. Трудный выбор, как у богатыря на распутье.

Регистрация происходила в бывшем Алексеевском военном училище, в Лефортове. Мы отправились посмотреть, что будет.

На необъятном поле была громадная толпа. Очередь в восемь рядов тянулась на версту. Люди теснились к воротам Училища, как бараны на заклание. Спорили из-за мест. Говорили, что здесь было 5600 офицеров, и, судя по тому, что я видел, это возможно. И сказать, что из этой громадной армии только 700 человек приняли участие в боях в октябре 17 г.? Если бы все явились, то все бы разнесли и никакой революции не было. Досадно было смотреть на сборище этих трусов. Они-то и попали в Гулаги и на Лубянку. Пусть не жалуются.

У нас здесь было много знакомых. Собрали совет. Что делать?

Во-первых, решили узнать, что творится на дворе Училища, обнесенного стеной. Поговорить с кем-нибудь, побывавшим на допросе. Эта миссия выпала мне и Коле Гракову, который кончил это самое Училище. Мы обошли здание кругом и убедились, что из него никто не выходит. В стене двора были пробоины от снарядов. Через одну из пробоин мы могли поговорить с офицером, находящимся внутри двора.

— Только не входите сюда, нас задерживают как пленных...

Красный юнкер, часовой, подошел.

— Запрещено разговаривать с арестованными.

У него была симпатичная морда.

— Скажите, что делают с офицерами?
Он заколебался, оглянулся во все стороны и:
— Чего вы, собственно, дожидаетесь? Окружения? — и он быстро отошел.

Он сказал достаточно. Мы вернулись к брату и рассказали виденное и слышанное. Решили уйти, не являться. Но раньше посеять панику среди толпы, чтобы все разбежались. Это было нетрудно сделать, потому что все пришли неохотно. Мы пошли вдоль рядов. Когда видели знакомого, а это случалось часто, то громко, чтобы все слышали, говорили:

— Уходите скорей. Мы обошли здание — никто не выходит. А сейчас будет оцепление.

Люди заволновались и стали выходить из рядов. Какой-то тип схватил меня за руку.

— Что вы рассказываете? Следуйте за мной.

Но я его очень неласково оттолкнул.

— Ах, гадина, красный шпион.

Окружающие надвинулись угрожающе и стали пинать его ногами в задницу. Тип предпочел скрыться. Мы достигли своей цели, ряды расстроились, толпа заволновалась.

— Теперь давайте утекать сами.

Когда мы перешли мост, появились вооруженные матросы. При их виде толпа офицеров бросилась врассыпную. Мы пошли малыми улицами.

Офицеров объявили вне закона. Многие уехали на юг. Знакомые стали нас бояться. (...)

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

БАТАРЕЯ

В Екатеринодаре мы наконец почувствовали себя в безопасности. Не надо было больше скрываться. Правда, мы шли на войну, но это было другое дело.

Я пошел к тому самому капитану, который дал нам удостоверение.

— Мы хотим ехать в батарею. Скажите, где мы можем получить оружие, обмундирование и деньги?

Он посмотрел на меня с удивлением и усмехнулся.

— Не забывайте, что мы — Добровольческая Армия. У нас ни средств, ни складов нет... Оружие и обмундирование вы должны достать сами. В батарее вас этому научат. Денег у нас нет, да они вам не нужны. Армия живет за счет населения... пока что. Впоследствии видно будет.

Меня это поразило, но он оказался прав.

— Но ведь нужно взять билет на поезд?

— Никакого билета. Влезайте в поезд, и никто билета у вас не спросит. В крайнем случае вы покажете удостоверение.

— Где мы найдем батарею?

— Она находится в станции Петропавловской. Доедете поездом до Тифлисской, а там встретите офицера батареи, занятого перевозкой снарядов. Если его нет, обратитесь в станичное правление и вас доставят. Счастливого пути.

Нашли батарею в Петропавловской. Явились к командиру, подполковнику Колзакову, были зачислены 27-го августа 1918 года и назначены для перевозки снарядов. Я с радостью встретил капитана Коленковского, моего прежнего командира. Было еще несколько офицеров 64-й бригады, но их я не знал, кроме Абрамова. В батарее было с сотню офицеров на солдатских должностях и 12 солдат ездовых. Орудия были горные, трехдюймовые, с укороченными снарядами. Все номера были верхом. В батарее было 4 орудия и два пулемета для охраны.

Батарея действовала с только что сформированной первой конной Кубанской дивизией. Полки 1-й Екатеринодарский и 1-й Кубанский (Корниловский) составляли первую бригаду. Командир бригады полковник Топорков. Уманский и Запорожский полки составляли вторую бригаду под начальством полковника Бабиева.

Вскоре после нашего прибытия дивизию принял генерал Врангель, впоследствии Главнокомандующий. Иногда с нами работал 1-й Линейный полк. Уже формировалась вторая конная дивизия под начальством полковника Улагая.

Чины в нашей батарее не играли большой роли. Важна

была давность поступления в батарею. Батарея пришла из Ясс, из Румынии, с отрядом Дроздовского и называлась: первая конногорная, генерала Дроздовского батареи.

* * *

Наша новая служба состояла в быстрой доставке патронов и снарядов в дивизию. Мы жили в Тифлисской, когда приходил поезд, мы грузили патроны и снаряды на повозки и один из нас вез их в Петропавловскую. Обычно мы привозили 10 000 патронов и 10 шрапнелей. Это составляло примерно пять патронов на человека. С этим не развоуешься. К счастью, у красных был тоже недостаток патронов. Однажды я привез 100 000 патронов и 100 снарядов — меня встретили ликованием.

Я любил эти поездки. Сперва переезжали мутные воды Кубани и проезжали немецкую колонию. Потом безбрежная степь на 60 верст. Глазу не на чем было остановиться. Посреди дороги хутор с деревьями и ручейком. Тут поили лошадей. Над самой станицей Петропавловской был громадный курган.

Мы фактически проводили время в дороге. Возвращались с пустыми подводами, я на полпути встречал брата, везущего патроны, и передавал ему винтовку для охранения. Фронта-то ведь не было. Были отдельные отряды.

В Тифлисской дочь хозяйки взяла мою руку, посмотрела и сказала:

— Вы спокойно можете ехать на войну — вы умрете в старости.

Тогда брат протянул ей свою руку. Она взяла и ее оттолкнула.

— Меня убьют?

— Нет, вас не убьют на войне. — Больше пояснить она не захотела.

Действительно, брат умер в Константинополе, сейчас же после эвакуации. Предсказание исполнилось.

Я поверил ей и за себя не очень боялся, но боялся за брата.

Вскоре Коленковский умер от тифа. Тиф причинял нам больше потерь, чем бои. У нас не было ни календарей, ни часов. Поэтому я могу только приблизительно определять события месяцами. Задним числом иногда узнавал дату какого-нибудь события.

АРМИЯ

Добровольческая Армия сформировалась на Дону в конце 1917 года, под начальством генералов Алексеева и Корнилова. Когда красные захватили Дон, армия, в числе около 3000 бойцов, ушла на Кубань. Это был «Ледяной поход». Добровольцы не смогли взять Екатеринодар. Корнилов был убит. Командование перешло к генералу Деникину. Армия пошла опять на Дон и тут узнала, что Донцы восстали. Ростов был взят Добровольцами, Донцами и подошедшим из Румынии отрядом полковника Дроздовского, Добровольцы и Дроздовцы соединились и пошли во второй Кубанский поход и взяли Екатеринодар, куда мы и приехали. Кубанские казаки поднялись поголовно. Был большой приток добровольцев. Вместе с казаками Армия представляла грозную силу.

Против нас были красные части с Кавказского фронта. Мы перегородили единственную железную дорогу, ведущую с Кавказа в Россию, чем обеспечили Донцам тыл. Донцы же обеспечивали наш тыл и снабжали нас патронами и снарядами. Снаряды они получали от немцев из украинских складов. Мы же с немцами не имели ничего общего, ориентируясь на «союзников» большой войны.

Красные были всегда многочисленней нас, но у них не было дисциплины и офицеров, и нам всегда удавалось их бить. Патроны они получали со складов Кавказского фронта, но плохо сумели организовать доставку, и часто патронов у них было мало, как и у нас. Но красные, менее дисциплинированные, расходовали патроны в начале боя, наши же сохраняли их под конец. Ожесточение было большое: пленных ни те, ни другие не брали.

Иногда к нам переходили красные части целиком. Так, к нам перешел Самурский полк и красные казачьи части.

Со взятием нами Новороссийска, порта на Черном море, положение со снарядами улучшилось, но ненадолго. «Союзники» первой мировой войны вели по отношению к Добровольческой Армии политику колебаний. Шаг вперед, два шага назад. Причиной были глупость, недалечность, эгоизм и плохая осведомленность. А ведь мы были первыми, оказавшими большевикам сопротивление, и помоги нам тогда Запад, большевизма бы не было. К сожалению, все забывается.

Немцы были гораздо лучше осведомлены, но они проиграли войну. Они бы нам, конечно, помогли против большевиков.

У казаков была ахиллесова пята — иногородние. Их было примерно столько же, сколько и казаков. Казаки в большинстве были белыми, а иногородние красными. Сейчас, при общем подъеме, они молчали, но как только казаки колебались, иногородние вели красную пропаганду.

Добровольческая Армия была политически за Учредительное собрание и ничего не предвещала. Были в ней и монархисты, и социалисты, и представители всех партий. Но громадное большинство, к которому мы принадлежали, не имело никакого представления о политике, а просто шло спасать гибнущую Россию, как шли в Смутное время новгородцы.

Армия жила за счет населения. На Кубани казаки охотно кормили солдат. При маневренной войне редко оставались в той же станице два-три дня, и это не представляло большой обузы. Потом старались, где возможно, кормить солдат из походной кухни.

Много тягостней для населения была подводная повинность. Почему-то интендантство не сумело организовать транспорт — он падал на крестьян тяжелым бременем. Это нам очень портило отношения с крестьянами.

Главным недостатком Белой армии была, с моей точки зрения, плохая пропаганда.

У красных против нас было больше сотни дивизий, а у нас два-три десятка. Красные могли всегда заменять разбитые части, а у нас замены не было. Мы должны были всегда побеждать. А тылы в то же время кишели уклонявшимися от фронта. Учреждения в тылах разрастались до невероятности, а полки редели. Интендантство почти ничего нам не давало. Лошадей, фураж и еду мы доставали сами у населения. Иногда, но редко, брали у красных.

ЛОШАДИ

Я должен сказать кое-что о лошадях, игравших такую важную роль в гражданской войне, очевидно, последней войне, где лошади участвовали. В следующих войнах их заменили машины, и вряд ли современники имеют ясное представление о лошадях. Мне же посчастливилось в течение трех лет почти не слезать с седла. Не только ездить на лошадях, но жить с ними: кормить, ухаживать и достичь их дружбы, когда читаешь взаимно мысли друг друга.

После прекрасного обучения верховой езде в Училище я думал, что умею ездить и знаю лошадь. Но во время бесконечных походов в Добровольческой Армии я понял, что ровно ничего не знаю.

Тут казаки ездили совсем иначе. Разница, главным образом, наблюдается на рыси. Мы откидывались слегка назад и ездили облегченной рысью, то есть подпрыгивая, а казаки наоборот наклонялись вперед и ехали ровно, не подпрыгивая. У нас нога в укороченном стремени полусогнута, у казаков вытянута. Мы пользуемся удилами и мундштуком, казаки не знают мундштука. А кому же не знать, как ездить верхом, как не степнякам?

Так вот, я думаю, что облегченная рысь совершенно абсурдна, мучительна для лошади, неудобна для всадника, крайне некрасива и способствует набивке лошади (ранению холки). Казаки же, наклоняясь вперед, помогают лошади перенести тяжесть на передние ноги.

Ездить весь день с полусогнутой ногой просто невозможно — она затекает. Мундштук неудобен для всадника (вторая пара поводьев), мучителен для лошади и ни к чему не служит. Простыми удилами и шпорами вы должны

справиться с любой лошадей. Говорят, что есть лошади, для которых мундштук необходим. Таковых не видел и сомневаюсь в их существовании. Даже если такая лошадь есть, нельзя же из-за одной применять зря мундштук ко всем лошадям. Настоящий всадник никогда мундштуком пользоваться не будет. Казаки и не пользуются. Может быть, что лошадь из-за мундштука и бесится.

Казаки не носят шпор. Шпоры очень хорошее изобретение европейцев. Они освобождают правую руку для работы шашкой или пикой и в то же время вы можете шпорами послать лошадь вперед. Плетью (у казаков) это сделать трудней. Английское седло и облегченную рысь выдумали англичане, а укороченные стремени придумали итальянцы. Но ни у англичан, ни у итальянцев никогда не было большой кавалерии.

Шпоры нужно носить умеючи. Плохо надетые шпоры вызовут насмешливую улыбку специалиста. Нужно носить их горизонтально или слегка наклонно, но не задранными петухом. Носят их низко, надетыми у самой щиколотки вы не сможете пришпорить лошадь. Шпорами нужно пользоваться возможно реже, не злоупотреблять, покупать шпоры с колесиком, а не со звездой, шпоры небольшие, чтобы ни за что не задевать. От величины шпор не зависит быстрота езды. Носить шпоры и стик просто глупо, как если бы вы носили два галстука. Раньше шпоры давались тому, кто их заслужил, теперь же просто покупаются и надеваются, вполне незаслуженно. И это сразу видно.

Несмотря на громадную кавалерию, в России хорошие шпоры продавались лишь в магазине Савельева в Петербурге. Из нержавеющей стали с тихим «малиновым» звоном, каждая шпора звенела по-разному. В Европе хороших шпор я не видел, не звенят, а брякают. Серебряные шпоры вообще не звенят. Их избегали.

От лошади можно добиться чудес. Управлять ей мыслью. Но для этого нужно жить с лошадей, проводить с ней много времени, самому за ней ухаживать. У большинства всадников нет ни охоты к тому, ни времени, я бы сказал — нет умения.

Думают, что лошадь глупа. Это вполне зависит от всадника. Если он с ней хорошо обращается, то лошадь равняется по уму собаке, если же он с ней груб, то и она становится грубой и злой.

Даже испорченную лошадь можно исправить. У лошади натура нежная, и она не может противостоять симпатии. Нервная система лошади очень развита. Троньте лошадь былинкой — вся эта часть кожи задрожит. У других животных такой реакции нет. (..)

КАЗАКИ

Приходится слышать, что казаки плохо ездят верхом и посадка их ненормальна. Но тот, кто видел их в деле или присутствовал на джигитовке, этого утверждать не будет. Мнение это вызвано неудачей казаков на конкурсах, где главным образом прыжки, забава. Может, тут они слабей других. Но в серьезном деле, в войне, они имеют большие преимущества.

Джигитовка — высокая акробатика на седле, причем вольтижировка бледнеет перед джигитовкой. Казаки для джигитовки связывают стремени под животом лошади и пользуются высокой лукой. Остальное — ученье. Причем джигитируют на скачущей прямо лошади, что трудней, а вольтижируют на кругу, что значительно легче.

Помню полк, 1-й Запорожский, возвращающийся из боя. Песенники поют залихватский мотив, а впереди один, стоя в седле, танцует. Плясун был подъесаул Павличенко, впоследствии генерал, командир корпуса.

Однажды в тумане мы наткнулись на красную кавалерию. Один казак остался без лошади. Но другой казак проскакал рядом с ним, схватил его за пояс, положил его поперек седла и, не уменьшая аллюра, увез его буквально из-под носа красных.

Донцы носят пики. Кубанцы и терцы пик не носят. Донцы одеты в фуражку, гимнастерку, синие шаровары с широким красным лампасом. Кубанцы и терцы носят папахи и черкески. Шашки у казаков без дужки (гарды),

у донцов казенного образца, у кубанцев и Терцев черные, часто в серебре.

Шпор казаки не носят, а нагайку. Она надевается на кисть правой руки или накидывается на высокую луку седла. (...)

СОВЕТ

В Ставрополе брат попал на квартиру к москвичу. В семье было две дочери, и обе были в него, по-моему, влюблены. Должен отметить шарм брата. Его как-то очень быстро принимали в семью и на квартирах и в батарее. Высшие офицеры с ним дружили. Несмотря на то, что он был пехотным офицером, его не только не отправили в пулеметную команду, куда направляли всех пехотных офицеров, но не назначили коноводом, как меня, артиллериста. Вскоре перевели в разведчики — аристократию батареи и потом назначили начальником орудия, хотя было много артиллеристов, добивавшихся этого места. Я следовал за ним в его успехах. Причем брат никогда ничего не делал, чтобы достичь чего-то. Не просил, не интриговал, не завидовал. Вероятно, это-то всем и нравилось.

* * *

... Мамонтовы... Мамонтовы? Москвичи... Не родственники ли вы Константину Васильевичу Рукавишникову? А, это ваш дед, со стороны матери. Вот странная встреча москвичей, где-то в Ставрополе, на Северном Кавказе. Я хорошо знал вашего деда, очаровательный человек.

Вот, я вас послушал, молодые люди. Вы верите в победу и успех, как и полагается в вашем возрасте... Да, да, знаю. Все идет прекрасно, и вы наступате. Но не забудьте, когда играют в карты, или ведут войну, то никогда не известно, как это кончится. Обыкновенно все идет хорошо, а потом случается непредвиденное... Не забудьте, что коммунизм еще очень в моде и повсюду. Конечно, это сплошная утопия, и он основан на невежестве и глупости масс. Но именно из-за этого он должен иметь успех, потому что базируется на людской глупости, которая является самой большой силой в мире.

Помощь союзников?.. Хм... Не особенно на нее рассчитывать. Союзники хотят слабую Россию, чтобы попользоваться. Конечно, потом они будут жалеть, что не помогли вовремя. Потому что они ошибаются, если думают, что большевики будут слабым и покорным им правительством. Это самая жуткая диктатура. Советы? Ха, ха. Декорация для дураков. Один диктатор сосредоточил всю власть в своих руках и делает, что хочет, и никто пискнуть не смеет.

Лучше бы вы постарались привлечь на вашу сторону крестьянина. Реформами и пропагандой это возможно сделать. Дайте ему землю. Крестьянин консервативен и коллективизация ему не подойдет. Он хочет свою землю.

Нет, я вовсе не собираюсь критиковать ваше дело, раз оно и мое дело. И я не намерен охлаждать вашего энтузиазма, что было бы жаль. Нет, я хочу дать вам практический совет в память вашего деда. Другим бы я ничего не сказал, вам я обязан.

Вы все думаете, что вы будете делать после победы. Не ломайте себе голову. Все пойдет само собой, без вашего участия. Москва, Триумфальная арка, фанфары, все преимущества старой гвардии (которая, между нами, становится вскоре невыносимой)... Но вот... У всякой вещи две стороны. Думали ли вы, что вы будете делать, если войну проиграете? Конечно, нет. Но лучше предвидеть оба случая. Вот мой совет: эмигрируйте. Не верьте никаким амнистиям. Это хитрость, чтобы вас поймать. И эмигрируйте возможно дальше — в Австралию, в Новую Зеландию. Там народу мало, а земли много. Революции не будет. В Европе же и Америке вы никогда не будете уверены, что коммунизм за вами не последует. Они слишком перенаселены.

Вот, это все, что я хотел вам сказать. Если, чего не дай Бог, вы войну проиграете, вспомните, мои слова... А главное, постарайтесь, чтобы вас не убили. Известная осторожность лучше, чем безумная храбрость. (...)

СПИЦЕВКА

С тех пор как генерал Врангель принял командование Кубанским конным корпусом, его успехи превратились в триумфальный марш. Но справа от нас, у нашей пехоты была неудача. Красные собрали значительные силы и нанесли удар с востока в направлении на Ставрополь. Они отбросили нашу пехоту у сел Спицевки и Сергеевки, угрожали Ставрополю и вышли в тыл нашего корпуса. Положение было очень серьезное.

Врангель реагировал быстро и решительно, как всегда. Он просто снял свой корпус с Петровского направления, шел всю ночь, наутро ударил неожиданно во фланг прорвавшимся красным, уничтожил их и на следующий день вернулся на свои старые позиции, раньше чем красные собрались что-нибудь предпринять.

Петровское. В 5 часов пополудни нам объявили:

— Завтра дневка, ни боев, ни походов. Отдыхайте.

Это нас обрадовало, потому что каждый день были и бои, и походы. Поручик Корнев и я пошли в поле, поймали барана и отдали его хозяйке жарить. Я отдал белье стирать.

Но в 9 часов вечера новый приказ:

— Седлать, замуничивать. Выступаем через 15 минут.

Вот тебе и отдых! Забрали недожаренного барана. Я заунул в сумы седла мокрое белье. Бог знает, когда и где оно теперь высохнет. Наступила ночь. Впоследствии мы узнали, что это сделали нарочно, чтобы обмануть красных. Хитрость удалась. Предупрежденные своими агентами о нашей дневке, красные решили тоже отдохнуть. Когда же на следующий день они узнали о нашем исчезновении, опасаясь засады, они ничего не предприняли. А послезавтра мы были снова на местах с вестью об одержанной большой победе.

Мы шли впотьмах всю ночь, часто рысью, не зная куда мы идем. Перед рассветом мы остановились в неглубокой балке. За ночь мы проделали 60 верст.

«Не курить и не разговаривать!» — это значило, что красные под боком.

Стало светать, и мы с изумлением увидели шагах в 300 от нас разгуливающих по гребню красных пехотинцев. В ложбине, где мы находились, было еще темно, и они нас не видели. Но посветлело и раздались отдельные выстрелы.

— По коням. Садись. Шагом марш!

И несколько колонн конницы стали молча, не отвечая на выстрелы, подниматься на бугры. Огонь усилился, потом смолк. Мы не отвечали, а молча двигались. Это неожиданное появление на их фланге масс конницы вызвало у красных панику. Красные побежали. Мы перешли на рысь.

В нашем корпусе было 8, а может быть и все 10 полков. Считая по 500 шашек на полк, это составляло от 4000 до 5000 шашек, не считая батарей. Это очень внушительная сила. А главное — полная неожиданность.

Мы поднимались на холмы за первым Линейным полком, пятым в нашей дивизии. В этом полку казаки носят красные башлыки. А так как казаки справляются на службу сами, то не было ни одного одинакового красного цвета, от малинового до ярко-красного. На черных бурках и на фоне белого снега это была картина незабываемая, освещенная восходящим солнцем. После стольких лет стоит только закрыть глаза — и я ее снова вижу.

Мы все шли вперед, не останавливаясь и не обращая внимания ни на сдающихся, ни на обозы. Сдавались все кругом. Мы почти не встречали сопротивления. А где встречали, там с радостью разбивали сопротивление в несколько минут и шли дальше. Приходилось проходить полями, сплошь утыканными винтовками, штыками в землю. Никогда такого количества видеть больше не приходилось. На пленных не обращали внимания, это становилось опасно. Но психологическая победа была так сильна, что она отняла у них всякую инициативу.

Пройдя 18 верст, большей частью рысью, мы оказались перед невысокой, но крутой цепью холмов. Какая позиция для красных! Здесь, под холмами, скучились остатки красных дивизий. Они бежали эти 18 верст и, чтобы уйти от

нас, должны были перевалить через эти холмы. Но сил и дыхания у них больше не было. Тут-то разыгралась главная атака всего корпуса. Атака целого корпуса неопишима, надо ее пережить. Мурашки бегают по спине от восторга. Земля дрожит от топота копыт.

Батарея, охваченная общим энтузиазмом, скакала к красным, не отдавая себе отчета, что она там будет делать. Просто пришли в телячий восторг.

Вдруг мы увидели четырехорудийную красную конную батарею. Она шла рысью, стараясь обогнуть холмы слева и уйти от нас.

— Поймать мне эту батарею! — завопил полковник Шапиловский.

Всякая осторожность была забыта. Номера и разведчики кинулись вскачь за батареей. Несколько казаков поскакали ей наперерез. Красная батарея шла теперь карьером. Первому орудью и номерам второго удалось улизнуть, но казаки остановили три других орудия, и мы с торжеством привели их с номерами к нашей батарее. Дали им офицеров, и так они за нами и ездил.

Очень мало кому из красных удалось уйти. Разгром был полный. Несколько красных дивизий перестали существовать.

Наши полки рассыпались и сгоняли пленных, как баранов. Повозки собирали винтовки. Бой был кончен.

Мы пошли в село Сергеевку ночевать. Заперли наших пленных артиллеристов в сарай. Слишком усталые, чтобы их сторожить, мы им посоветовали не двигаться, не то... Они и не двинулись.

Страшно усталые, после похода и боя мы заснули как убитые. Но я все же проснулся по привычке. Надо было накормить Ваньку. Бедняга не ел со вчерашнего дня, а работать пришлось на совесть. После недолгой борьбы со сном я встал и вышел на улицу. Невольно подался назад: вся широченная улица была полна красной пехотой.

— Ах да. Это же пленные.

У стены нашей хаты стоял прислонившись казак и дремал, держа винтовку.

— Что это такое?

— Да пленные.

— Ты что же, их стережешь?

— Как их устережешь? Их ведь тысячи... Но их так пузнули, что они теперь тихие стали... Ничего.

Утром корпус пошел обратно в Петровское. Между полками шли громадные четырехугольные колонны пленных, думаю, по тысяче человек. Шел полк, колонна пленных, опять полк, опять пленные и так далее. Когда полки переходили на рысь, то пленные бежали бегом. Нужно было торопиться вернуться в Петровское. Думаю, что пленных было 5—6 тысяч человек, а то и больше. Впервые пленных не расстреливали, а послали в тыл и из них сформировали белые полки, которые сражались вполне прилично.

По дороге полки остановились и построились в широкое каре. Рядом с нашими четырьмя орудиями построились три красные пушки, которые мы все возили с собой. В каре галопом вошел генерал Врангель. Он осадил своего чудного коня, снял папаху и зычным голосом крикнул:

— Спасибо, орлы!!!

Громкое «Ура» было ему ответом.

Передний ездовой красного орудия тоже сорвал папаху и вопил «ура». Был ли он захвачен грандиозностью картины или хотел подлизаться? Кто его знает? Считаю, что под Спицевкой Врангель одержал одну из самых значительных побед на Северном Кавказе. После Спицевки красные больше не пробовали проявлять инициативы и очистили Терек. Мы же перешли в маньчжские степи.

Спицевка была одним из редких боев, когда я вовсе не испытывал страха. (...)

КАРАБИН

Карабин свой я достал в Черномлыцкой, там же, где получил Ваньку. Карабин сопровождал меня во все время гражданской войны и даже доехал до Галлиполи. Я зашел в обоз за сапогами, которые отдал в починку. Получив починенные сапоги, я спросил солдата сапожника, сколько я ему должен. Он засмеялся и сказал, что обоз делает

починку для батареи даром. Я дал ему что-то на чай, и он остался, видимо, доволен. Уже уходя, я увидел в углу артиллерийский короткий карабин, которые очень ценились и не мешали в походе.

— Чей это карабин?

— Мой, — ответил сапожник.

— Продайте мне его.

— Оружие не продается.

Мы были на Кавказе, где покупка оружия считается срамом. Его получают, воруют, достают у врага, но не покупают.

— Тогда одолжите мне его. Я еду в батарею и у меня нет никакого оружия. Там, на фронте, я что-нибудь себе раздобуду и карабин вам отдам.

— Это можно, — и сапожник протянул его мне. С тех пор карабин со мной не расставался. Впрочем, вру — дважды я его терял и он каким-то сверхъестественным образом ко мне возвращался. Через некоторое время, я скрепя сердце решил отдать карабин владельцу. Но, придя в обоз, узнал, что владелец сапожник умер от тифа. Я стал законным владельцем карабина.

Под Харьковом мы ходили по тылам. Красные загнали нас в болото. Мне пришлось бросить орудийный ящик. Мы отпрягли лошадей, я и не подумал, что на ящике привязаны мои вещи, шинель и карабин. Шинель и вещи пропали, а вот карабин вернулся. Несколько дней спустя мимо нас шел полк. Вдруг я бросился к одному всаднику. Я узнал свой карабин. Странно ведь, что я узнал его между стольких одинаковых, и еще странней, что всадник отдал мне его без спора. Как тут не верить в чудо.

Когда в северной Таврии мы расставались с братом, то я настоял на том, чтобы он взял карабин. Я оставался на фронте, а брат уезжал в обоз. Карабин, пожалуй, был бы мне нужней. Но я знал его магическое свойство ко мне возвращаться и надеялся, что он мне приведет и брата с собой. Время было тревожное — перед эвакуацией из Крыма.

Поручик Абрамов передал мне карабин в Галлиполи.

— Как он попал к Вам?

— В Феодосии на пристани была толкотня. Ваш брат дал мне его поддержать и стал пытаться влезть на пароход. Толпа нас разъединила. Но я видел, что он влез на пароход. Я рассердился на карабин за то, что он не привез ко мне брата, и решил его наказать — продать туркам. Турки охотно покупали оружие, Кемаль-паша был поблизости. Мы почти сторговались, вдруг турки разбежались, и карабин опять остался у меня в руках. К нам подходили греческие жандармы. Но нас было несколько, и мы были вооружены, жандармы прошли мимо.

Я оставил карабин в батарее в Галлиполи.

* * *

На войне становишься суеверным. Суеверие, по-моему, та же вера, но древняя, языческая.

У меня с судьбой установился «договор». Меня не убьют и не ранят, если я не буду делать подлостей и убивать напрасно. Можно было убивать для защиты и при стрельбе из орудий. Это убийством не считалось. Но не расстреливать и не убивать бегущих. Я никогда никого не убил самолично, и верно — я не был ранен, и даже лошадь подо мной никогда ранена не была. Страх, конечно, я испытывал, такова уж человеческая природа. Но когда я вспоминал о «договоре», то мне казалось, что пули перестают цыкать около меня. В общем за себя я не очень боялся, а за брата очень. Часто становился между красными и братом, чтобы прикрыть его моим «договором». Было какое-то предчувствие. После сильной передрыги искал светлый контур Рыцаря и на нем брата и вздыхал с облегчением: «Слава тебе, Господи. Жив!» А заговаривал о какой-нибудь мелочи.

Когда карабин вернулся ко мне в Галлиполи, то я знал, что брат умер. Всеми неправдами, с чужим удостоверением попал в Константинополь и искал брата во всех громадных французских госпиталях. Безуспешно. В отчетностях и в палатах царил чисто французский кавардак.

В полном отчаянии шел по Пере. Навстречу французская

сестра милосердия. Спрашиваю, не знает ли случайно?
— Ах, тысячи больных русских. Как можно их запомнить?

Я поник головой. Очевидно, сжалилась и спросила, как фамилия. Я сказал.

— Мамонтов? Он умер у меня на руках.

Как же не верить в чудо?

Благодаря ей я нашел могилу брата.

ПРОТИВ МАХНО НА УКРАИНЕ

ГРАБЕЖ

Грабеж ужасная вещь, очень вредящая армии. Все армии мира всегда грабят в большей или меньшей мере. Это зависит от благосостояния армии и от способности начальников. Если начальник не умеет прекратить грабеж, то он закрывает глаза и упорно отрицает факт грабежа. Война развивает плохие инстинкты человека и доставляет ему безнаказанность. Особенно подвижная война — нынче здесь, а завтра там — где искать виновного?

Во время гражданской войны грабили все — и белые, и красные, и махновцы, и даже, при случае, само население (имения).

Как-то в Юзовке, переходившей много раз от одних к другим, я разговорился с крестьянином.

— За кого вы, собственно, стоите?

— А ни за кого. Белые грабят, красные грабят и махновцы грабят. Как вы хотите, чтобы мы испытывали симпатии к кому-нибудь?

Он только забыл прибавить, что они и сами грабят. Рядом было разграбленное имение.

Высшее начальство не могло справиться с грабежом. Все солдаты, большинство офицеров и даже некоторые начальники при удобном случае грабили. Крайне редки были те, кто обладал твердой моралью и не участвовал в этом. Я не преувеличиваю. Мне пришлось наблюдать массовые грабежи в России, в Европе и в Африке. При появлении безнаказанности громадное большинство людей превращается в преступников. Очень редки люди, остающиеся честными, даже если на углу нет больше полицейского. Уберите жандарма — и все окажутся дикарями. И это в культурных городах Европы, тем более в армии. То же население, страдавшее от грабежа, само грабило с упоением.

Недаром лозунг большевиков «грабь награбленное» имел такой успех, и теперь им очень неудобно.

Я сам чуть не сделался бандитом. Спас меня брат. Вот как это было.

Некоторые офицеры, живущие на нашей квартире, исчезли ночью и возвращались с мешками.

— Возьмите меня с собой, мне хочется видеть это.

— Нет, ты нам все испортишь. Ты сентиментален, еще начнешь нам читать мораль. Для этого нужно быть твердым.

— Обещаю, что буду молчать.

И вот в одну ночь они согласились взять меня с собой.

— С условием, что ты будешь делать то же, что и мы, и возьмешь что-нибудь.

Мы пошли в далекий квартал, где не было расквартировано войск. Солдаты не дадут грабить их дом. Крестьяне это знают и не против постоа.

Выбив дверь ударом сапога, входим. Крестьяне трепещут.

— Деньги.

— Нет у нас денег. Откуда...

— А, подобра не хотите дать? Нужно тебя заставить?

Трясущимися руками крестьянин отдает деньги.

Опрокидываем сундук, его содержимое рассыпается по полу. Роемся в барахле.

— Ты тоже должен взять.

Я колебался. Мне было противно. Но все же взял красивый шелковый платок. Вышита была роза. С одной стороны красная, с другой она же, но черная. Запомнился.

Мне противно описывать эти возмутительные сцены. Подумать, что вся Россия годами подвергалась грабежам!

Но то, что творилось у меня в душе, было крайне любопытно. С одной стороны, я был глубоко возмущен и сдерживался, чтобы не вступиться за несчастных. Но появилось и другое, скверное чувство, и оно постепенно усиливалось. Опьянение неограниченной властью. Эти бледные испуганные люди были в полной нашей власти. Можно делать с ними, что вам хочется. Эта власть опьяняет сильнее алкоголя. «Если я пойду с ними еще раз, я сам сделаюсь бандитом», — подумал я без всякого неудовольствия.

На следующий день брат зашел в хату, чтобы взять что-то из нашего маленького общего чемоданчика. Сверху лежал платок.

— Это что такое?

Я сильно покраснел.

— ... Понимаю ... и тебе не стыдно?

Мне было очень стыдно, но я все же сказал:

— Все же это делают.

— Пусть другие делают, что им нравится, но не ты ... Нет, не ты ...

Он был уничтожен и остался стоять не двигаясь и молча. Очень тихо:

— Ты вор ... грабитель? Нет, Сережа, прошу тебя, не надо ... не надо ...

— Я больше не буду, — сказал я тоже шепотом.

Вечером офицеры спросили меня: — Ну, пойдешь с нами?

Я ответил отрицательно. Они назвали меня мокрой курицей. Я промолчал.

Грабеж в деревнях, спекуляции в городах причиняли нам немалый вред. (...)

ПУЛЕМЕТЧИК КОСТЯ

В батарее было два пулемета на тачанках для прикрытия. Действовали они редко, из-за недостатка патронов, но пулеметчики были хороши: поручик Деревянченко и особенно юнкер Костя Унгерн-Штернберг, 18-ти лет. Благодаря ему первая группа часто добивалась успеха.

Первая группа вышла из Полог в направлении Гуляй-Поля. Шел снег, колонна остановилась. Навстречу ей из снежной мглы шла какая-то колонна пехоты. Почему-то не послали разведки, предположив, что это наши. Почему? Откуда могла взяться наша пехота? Очевидно, их начальник был немногим лучше нашего. Все спокойно дожидались подхода той колонны, кроме Кости, который отъехал со своим пулеметом вбок, снял чехол и приготовил пулемет.

Когда махновцы подошли вплотную и началась стрельба, Костя выпустил две короткие очереди и все было кончено. Дорога кишела убитыми и ранеными, часть сдавалась, часть бежала во все лопатки.

Прикончили раненых и расстреляли пленных. В гражданскую войну берут редко в плен с обеих сторон. С первого взгляда это кажется жестокостью. Ни у нас, ни у махновцев не было ни лазаретов, ни докторов, ни медикаментов. Мы едва могли лечить (плохо) своих раненых. Что прикажете делать с пленными? У нас не было ни тюрем, ни бюджета для их содержания. Отпустить? Они же возьмутся опять за оружие. Самое простое было расстрел. Конечно, была ненависть и месть за изуродованные трупы нацих. К счастью, артиллерия считается техническим родом оружия и освобождена от произвола расстрела, чему я был очень рад. В войне есть одно правило: не замечать крови и слез.

Когда говорят о нарушении правил войны, мне смешно слушать. Война самая аморальная вещь, гражданская наипаче. Правило для аморализма? Можно калечить и убивать здоровых, а нельзя прикалывать раненого. Где логика?

Рыцарские чувства на войне неприемлемы. Это только пропаганда для дураков. Преступление и убийство становятся доблестью. Врага берут внезапно, ночью, с тыла, из засады, превосходящим числом. Говорят неправду. Что тут рыцарского? Думаю, что армия из сплошных философов была бы дрянной армией, я бы предпочел армию из преступников. Мне кажется, что лучше сказать жесткую правду, чем повторять розовую лажь. (...)

В ДОНЕЦКОМ КАМЕННОУГОЛЬНОМ РАЙОНЕ

В ПОЕЗДЕ

Длинный состав товарных вагонов медленно двигался по степи. Нас с кавалерией погрузили в Токмаке и повезли... Собственно, мы не знали, куда нас везут, и не очень интересовались. Конечно, везут сражаться куда-нибудь, но в данный момент мы себя хорошо чувствовали. Перевозка по железной дороге представляла для нас отдых, сменивший постоянные походы и бои. Нас предупредили, что возможно нападение махновцев, и велели быть начеку. Мы всегда были наготове, но никто на нас не нападал.

В вагоне стояло 8 лошадей, по четыре с каждой стороны, головами внутрь. Поводья привязываются к доске, которая вставляется перед головами лошадей. В середине остается пространство, где находится сено и есть место для нескольких людей. Лошади быстро привыкают и ведут себя спокойно, особенно если с ними находятся люди...

Колеса равномерно отбивали такт. В темноте не было видно говорящего, и поэтому сказанное приобретало абстрактный характер.

— Почему большинство населения нам враждебно?

— Коммунизм идея новая, привлекательная для простых людей, а большевики ведут хорошую пропаганду...

— Вот-вот. С короткими понятными лозунгами. «Грабь награбленное» — кто может устоять против этого. А наша пропаганда сложна и непонятна мужику...

— Крестьянин отвернется от коммунизма, когда он его узнает. Он тугодум и, пожалуй, будет поздно — нас уже не будет, чтобы ему помочь...

— Нам вредит грабеж.

— Они ограбили мой дом. Не вижу, почему мне не ограбить их дом.

— Человечество создало только три моральных закона. Закон дикаря: «Я украл — это хорошо. У меня украли — это плохо». Прошло много времени и Моисей дал свой закон: «Око за око». Логично и понятно. Еще прошли века и Христос сказал: «Любите ближнего». Очень высокий закон, но малопонятный.

— Как можно любить сограждан или целый народ? Я могу любить тех, кого знаю, — соседей, родственников, знакомых. Любить за их положительные качества. А любить абстрактно целый народ, качества которого мне неизвестны, это, по-моему, просто чушь...

— Да, во время войны все законы перевернуты: убивай, делай как можно больше вреда и не говори правды... Закон Моисея более понятен, чем закон Христа.

— Вполне логично. Христос не носил формы, а Моисей все время воевал.

— Законы для войны — циничны. Говорится, что допускается превратить вас в труп, а как — это считается некорректно. Ха, ха. Если уж война, то все способы хороши.

— Нужно различать, что полезно, а что нет. Раньше просто уничтожали население, а в современных войнах стараются привлечь население на свою сторону. Пропаганда придает большое значение.

— Сплошное вранье и демагогия ваша пропаганда.

— Я и не утверждаю противного. Пропаганда базируется на глупости и невежестве людей. Но не нужно забывать, что глупость самая большая сила в мире. Массы глупы и поддаются пропаганде. Вовсе не следует говорить правду, а повторить 10 000 раз ложь, и массы примут ложь за правду. Это сказал Ленин, а он специалист по лжи и пропаганде.

— Революцию сделала ловкая пропаганда левых.

— Хм... Не все, что они говорили, было ложью. Правительство и царь наделали много глупостей.

— Вот видите, вы подпали пропаганде. Конечно, были ошибки, как везде, но не больше, чем во Франции или в Англии. Пропаганда же преувеличивала ошибки и замалчивала успехи. Получалось впечатление гнили. И напрасно. В общем дела шли совсем не так плохо. Россия развивалась гигантскими шагами.

— Собственно, чтобы остановить это развитие, Германия

объявила нам войну. Через десяток лет Россия стала бы непобедима. Наши товары стали вытеснять немецкие товары с азиатских рынков...

— Царь был слаб, конечно, был бы лучше Александр III с железным кулаком. Но царь искупил своей смертью ошибки.

— Я даже думаю, что для царя существуют только две возможности: на троне или в гробу. Вообразите царя в эмиграции — это было бы ужасно...

— Россия индустриализировалась. У нас были Менделеев, Сикорский, Столыпин и много других выдающихся людей.

— Скажите, что сделал Столыпин? Часто о нем слышишь, а точно не знаю, что он сделал.

— Хутора и отруба. Реформы в пользу крестьян. Крестьянин мог выделиться из «мира» и получить землю в собственности.

— Как, разве крестьяне не были владельцами земли?

— Нет. Земля принадлежала «миру» (деревне). Земля переделялась каждые 5—7 лет, в зависимости от прироста населения. Участки тянулись по жребию. Мужик не был уверен, что получит опять тот же надел, и не имел интереса удобрять землю. Закон Столыпина делал его наследственным владельцем земли. Революционеры были против этой реформы. Они поняли, что мужик-владелец не захочет больше революции... Потом Столыпин создал крестьянские банки с постройкой по всей стране зернохранилищ.

— Не понимаю, зачем зернохранилища...

— Вот. Крестьянину нужны были деньги весной, чтобы посеяться. Раньше спекулянты давали ему деньги по громадным процентам и выговаривали при этом низкую цену осенью за зерно. Теперь банк давал крестьянину кредит на выгодных для него условиях, и крестьянин всегда мог продать зерно на зернохранилище по установленным государством ценам. Государство же имело всегда запас зерна для армии, для возможного голодного года и для продажи за границу. Это последнее не понравилось большим помещикам, которые раньше продавали хлеб за границу, и они снюхались с революционерами и убили Столыпина.

— Кроме того, эмиграция в Сибирь была последнее время прекрасно налажена — возвращенцев почти не было. Этим занималось земство, то есть само население. Таким образом, три главные мечты крестьянина исполнились: он стал владельцем земли, был защищен от нужды, и если семья разрасталась, он мог получить больше земли в Сибири. Население Сибири очень возросло из-за реформы.

— Это было разрешение вопроса. Смерть Столыпина и война остановили выполнение этого плана.

— Заметьте, что революционеры признавали план хорошим, но хотели, чтобы крестьяне получили землю не от правительства, а от них, после революции. Ведь главное для них были министерские посты, а если бы правительство роздало землю — свистели бы их министерские посты. Они сделали революцию, но власти удержать не сумели. Власть захватили большевики и раскулачили хуторян, то есть самых работающих крестьян. Потому-то у них постоянный хлебный кризис...

— Не нужно очень рассчитывать на помощь союзников. У них ведь своя политика. Может быть нам удастся справиться с большевиками своими собственными силами. Это было бы и лучше...

— Индустрия и железные дороги строились усиленно...

— Наше высшее образование было неплохое. Инженеры наши не уступали иностранным. Наши суды были хороши. Мировые судьи для малых дел, суд присяжных для больших и, главное, прокуратура — не обвинение, а контроль над судопроизводством. В этом мы были впереди многих стран...

Паузы становились длинной. Очевидно, кое-кто заснул. Я пододвинул Гайчулу сена и проверил, заряжен ли карабин.

— Наш рубль принимался во всем мире.

— Был закон — границы автоматически закрывались для вывоза зерна за границу, как только объявлялся голод в какой-нибудь губернии. Торговцы тотчас же посылали туда хлеб, чтобы открыть себе границу. Таким простым способом голод ликвидировался даже без участия правительства.

— Неграмотных среди молодежи почти не было...

— Русская наука имела много мировых имен. В литературе, музыке и в театре мы были...

... Колеса ритмично пели: тра-та-та, тра-та-та. Я повернулся на бок и заснул.

«ОФИЦЕР»

Нас выгрузили в Иловайской. Донецкий бассейн оставил у меня плохое впечатление. Февраль 1919 года. Холодно и сыро, постоянные туманы. Население, шахтеры, были к нам враждебны. Домики маленькие, совершенно не приспособленные к постою. Ни конюшен, ни сараев. Провиант самый скудный и никакого фуража.

Донецкий бассейн покрыт густой сетью железных дорог, и красные пустили против нас несколько бронепоездов, которые задавали нам много работы и очень беспокоили наши эскадроны. В каждом бою участвовал один, два, а иногда даже три красных бронепоезда. Вначале с нашей стороны бронепоездов не было, но потом нам прислали несколько, и равновесие было восстановлено.

Частенько приходилось вести бой с бронепоездом, но нашей батарее ни разу не удалось подбить ни одного. Чтобы остановить бронепоезд, нужно попасть в его паровоз или вызвать сход с рельсов, попав в колесо или в рельсу.

Раз неожиданно выскочил красный бронепоезд и прошел недалеко от батареи. Мы палили в него, что только могли выпустить. Наверное попадания были, но он все же ушел.

Другой раз у Дебальцево у нас произошла настоящая дуэль с бронепоездом. Красный бронепоезд был верстах в двух от нас. Были ясно видны вспышки его выстрелов и в бинокль можно было видеть матросов, обслуживающих орудия. Как только мы видели их вспышки, мы бросались на землю и их снаряды пролетали со свистом над нашими головами и взрывались сейчас же за батареей. Тогда все вскакивали, бросались к орудиям и стреляли. Вспышки там — и все ныряли под орудие. Взрыв — и все снова бросались к орудию. Это длилось бесконечные несколько минут. Бронепоезд не выдержал, задымил и ушел. Может быть мы в него и попали. Мы же были искренне удивлены, что мы отделились без потерь. Первый бронепоезд, пришедший нам на помощь, был знаменитый «Офицер». Его командир был сорвиголова. А вот имени его не запомнил. Тем более его поведение нас удивило. Он выезжал еще затемно, всегда на то же место у поворота, прикрытый кустами, стоял там безмолвно, с чуть дымящимся паровозом, не принимая участия в бою.

Но однажды очень современный красный бронепоезд, с яйцевидными панцирями, подошел слишком близко к месту, где скрывался «Офицер». Паровоз «Офицера» задымил, и он ринулся вперед, стреляя из всех орудий. Это было неожиданностью для красного и он стал слишком поздно отступать. Снаряд «Офицера» попал в его паровоз. «Офицер» с размаху стукнулся о переднюю площадку красного, прицепил его среди цепей красной пехоты и потащил к нашим линиям.

Наши цепи приветствовали подвиг «Офицера» криком «Ура», а красные побежали. Было видно, как люди прыгали с красного бронепоезда и пускались наутек, но подоспевшие кавалеристы их уже рубили.

Психологический успех был так силен, что мы легко заняли Дебальцево, которое раньше взять не могли. К сожалению, нас было слишком мало, чтобы вполне использовать успех, и мы должны были остановиться.

С тех пор, стоило «Офицеру» показаться, — все отступало, и пехота, и броневики. Красная пехота, хоть и многочисленная, состояла из шахтеров и не была стойкой. К сожалению, сам я не присутствовал при этом подвиге, потому что заболел. (...)

ДОЛЖИК

Мы прошли на север до села Должик. Испортили железную дорогу и ходили из Должика на восток в Казачью Лопань, где тоже основательно испортили пути. Тут были незначительные стычки. Красные разбежались. Дивизия вернулась в Должик.

Как мы ни напрягали слух, мы не слышали артиллерийской стрельбы на юге. Или мы ушли далеко от своих частей, или наступление наших, благодаря нашему рейду, обходилось без артиллерии, то есть красные всюду отходили.

Удивило нас и то, что красные нас не беспокоили, и мы жили довольно мирно в Должике.

Нас поместили в довольно опрятный дом. Взор мой упал на французскую книгу в старинном кожаном переплете. Это значило, что где-то поблизости было имение. Хозяйка следила за мной, когда я взял книгу. На мой вопрос, есть ли тут имение, она хоть поняла, но отговорила незнанием.

Я вышел на улицу и спросил первого встречного:

— Как пройти в экономию? (Так на юге называют имение).

— Главный вход оттуда, а тут есть пролом в стене.

Имение было основательно разграблено, с той бессмысленной злобой, которая овладевает грабителями. Все, что не могли унести, разбито, разломано. Раз я не могу воспользоваться, пусть никому не достанется.

Первое, что мне бросилось в глаза, был рояль, разрубленный топором. Паркет с узорами из черного дерева был взломан и тут же брошен — искали клад. Двери, слишком большие для крестьянской хаты, разрублены, одна частью унесены, частью изломаны. Мелкая мебель исчезла. Крупная мебель — шкафы и буфеты — порублены. Картины изрезаны. У портретов, а среди них были ценные, всегда проткнуты глаза и вспорот живот. Фарфор разбит...

Это был не только грабеж, но зверское уничтожение. Дом был громадный, скорее дворец, старинный. Есть законы грабежа. Я видел с полсотни имений, и все разграблены по той же системе.

Наверху, очевидно в спальне, всегда валялись письма и фотографии. Комод унесли, а письма вывалили. Я взял одно из писем и, читая, по фотографиям старался восстановить прошлое. В этом письме какая-то девушка описывала подруге или сестре праздник. Рождение или именины. Я читал, «что между дубами была натянута проволока и на ней висели разноцветные фонари»... Верно, вон эти дубы... «За прудом пускали фейерверк...» Вон и пруд... «Я танцевала с Андреем и Василием...» Кто из этих блестящих молодых офицеров на фотографиях был Андреем, а кто Василием? Вот, вероятно, сам князь, а это княгиня.

Я спустился по двойной каменной лестнице в громадный холл. К моему удивлению, висели еще громадные и прекрасные гобелены. Это были старинные гобелены, и материя кое-где истлела. Очевидно грабители не обратили на них внимания: «Материя трухлявая, ничего путного не сошьешь».

Где-то наверху была библиотека. Груды книг были сброшены и лежали на полу. По ним ходили. Книги в старинных кожаных переплетах никого не интересовали. Шкафы же красного дерева изрубили на дрова и увезли.

Я стал рыться в книгах. Негромкий кашель привлек мое внимание. Стоял старый лакей. Мне стало неловко. Он, вероятно, принял меня тоже за вора. Я с ним поздоровался и спросил, чье это имение. Он охотно разговорился.

— Имение это — знаменитый «Веприк», принадлежало веками князьям Голицыным. Со времени революции его много раз грабили, но разгромили окончательно недели три назад. Не угодно ли взглянуть на конюшни? Всех лошадей забрали, коров увели, птицу перерезали. Вот сельскохозяйственные машины — изломали. Тут был фруктовый сад — остались одни пни. Вот оранжерея. Княгиня

ее очень любила и часто заходила. Росли редкие растения, персики, орхидеи. Теперь все изломано, стекла выбиты...

С тяжелым чувством я пошел домой, то есть в хату крестьянина, который, конечно, участвовал в разгроме. Французская книга тому свидетельница. Хозяйка внимательно следила за выражением моего лица и очень хорошо нас накормила. Мои товарищи даже удивились. Я объяснил, что это, чтобы откупиться за грабеж. Никакой любви к русскому народу я не чувствовал. Так была бессмысленно уничтожена высокая культура и цивилизация. А из гобеленов, вероятно, нарезали портянки.

Я предложил полковнику Шапиловскому забрать увенденных княжеских лошадей для батареи. Это очень просто сделать. Найти одну, а там пойдут все выдавать друг друга: «Если у меня взяли, то пусть и у Петра возьмут...»

— Это было бы неплохо. Но сейчас мы ходим по тылам и нам нельзя раздражать население. Так они нас извещают, а то будут о нас извещать красных.

СЛАВЯНСК

Мы углублялись все дальше в красный тыл. Перед нами был город Славянск, в нем соляные озера, добыча соли и курорт. Мы пытались взять город с налета, но это нам не удалось. Красные нас ждали и приготовились. Бой принял затяжной характер. Думаю, что Топорков хотел отойти от города и идти в другом направлении, во всяком случае, я его видел склоненным над картой.

Но Славянск был все же взят, и это благодаря нюху нашего пулеметчика, поручика Андриона.

— Говорите что хотите, а пахнет спиртом, — сказал он, поводя своим большим носом с бородавкой. Он исчез и вдруг появился снова на шикарной тройке белых лошадей.

— Где ты их взял?

— У пожарных, конечно. Но посмотрите, что тут. — В пулеметном тарантасе было несколько ящиков с бутылками водки. — Мой нюх меня не обманул. Там громадные склады спирта, но красные рядом.

Мы вытаращили глаза. Новость распространилась молниеносно среди казаков. Они атаковали, как львы, и захватили город, склады и не дали красным их поджечь. Склады оказались громадными, что называется неисчерпаемыми. Дело в том, что с начала войны (в 1914 году) продажа водки была запрещена. Продукцию заводов складывали в места, которые держались в строгой тайне. Конечно, водку во время войны доставали, но из частных складов и в ограниченном количестве. Люди так изголодались по водке, что один казак даже впопыхах свалился в цистерну и моментально умер.

Мы выбросили все вещи, кроме патронов и снарядов, и нагрузили ящики с водкой всюду, где только было возможно. Мобилизовали повозки всех окрестных деревень, и на этот раз крестьяне сами являлись с повозками, потому что им платили водкой. Между прочим, полковник Шапиловский приказал Андриону отдать лошадей пожарным. Андрион был не очень огорчен.

— Я не люблю белых лошадей. Их видно издали, и все красные стали бы по ним стрелять.

КОМАНДИРОВКА

Неудивительно, что после взятия Славянска большинство было пьяно. Я пьян не был и потому был позван к полковнику Шапиловскому.

— Вы пойдете к генералу Топоркову, ему нужен офицер, который не пьян и прилично выглядит. Все казаки перепились.

Я явился к генералу Топоркову.

— Передадите этот пакет начальнику штаба Армии в собственные руки. Штаб находится в Горловке, в сотне в лишним верст отсюда. Как будто красные отошли, и путь свободен. Возьмите паровоз и несколько вагонов и отправляйтесь. Вот приказ о вашей командировке. Я просил дать нам патронов и снарядов. Вы погрузите сколько возможно и доставите сюда. Дивизия уходит завтра утром. Вы последуете за дивизией со снарядами и патронами. Поняли?

— Так точно, Ваше Превосходительство, но...

— Никаких «но». Это приказание. Поторопитесь. У нас

осталось мало патронов. Ваша командировка из самых важных.

Я откозырял и вышел в самом плохом настроении. Хм... А если путь не освобожден? Он не хочет рисковать казакком. Я не могу поверить, что все поголовно пьяны. Вот что случается, если не пьян. Лучше бы я напился — послали бы другого.

Мне вовсе не улыбалось путешествовать на паровозе. Можно встретить красный разъезд или испорченный путь, или наскочить на мину. Но делать было нечего. Я поручил Дуру и карабин брату, взял с собой непьющего казака-старовера и два ящика водки и отправился на вокзал.

Оставив водку под охраной моего непьющего казака, я явился к коменданту станции, очевидно, мобилизованному из местных.

Капитан, читая мою командировку, зевнул, потянулся и сказал, чтобы я пришел через несколько дней. Сейчас мой отъезд невозможен.

— Я должен ехать сейчас же, чтобы вернуться перед уходом дивизии.

Вместо ответа он пожал плечами.

— Если вы не можете или не хотите помочь мне в моей командировке, то я устраюсь и без вас.

Моя молодость ему, видимо, не импонировала. Он посмотрел на меня с улыбкой.

— Действуйте, молодой человек.

Было ясно, что он надо мной насмехается. Он еще не успел проникнуться духом Добровольческой Армии и исполнял свою должность с прохладцей. Я кипел, но сдержался, повернулся и пошел к начальнику станции.

— Невозможно. Уверю вас. Все паровозы...

— Взгляните, — сказал я ему. — Вот совершенно исключительный пропуск.

И я показал ему две бутылки водки.

— Они будут ваши, если я смогу уехать через час.

Глаза его заблестели, он облизал губы и почесал за ухом.

— Вот ведь какое дело. Я сделаю все от меня зависящее, но сомневаюсь...

Он понизил голос и обернулся на дверь.

— Машинисты и особенно кочегары ненадежны... Они могут устроить саботаж...

— Можно мне с ними поговорить?

Машинист явился. Вся его осанка говорила, что он полон дурной воли и, вероятно, коммунист.

— Сколько времени вам понадобится, чтобы привести в готовность ваш паровоз?

— Машина не в порядке. Нужно ее пересмотреть и заменить некоторые части, которых у нас здесь нет. И потом...

— Я хочу ехать через двадцать минут.

Он усмехнулся снисходительно и не удостоил меня даже ответом.

— А это? — я показал ему две бутылки водки.

Его усмешка исчезла. Он вытаращил глаза и пробормотал:

— Действительно паровоз... Не знаю, право...

— Если мы уедем через двадцать минут, — бутылки ваши. Если нет — я буду искать другой паровоз.

— Не валяй дурака, Никита, — сказал начальник станции. — Попользуйся таким случаем. Все наши бутылки зависят от тебя.

— Я посмотрю, что можно сделать. — Он протянул руки за бутылками. Я их отвел.

— Обещано? Через двадцать минут?

— Да. — Я протянул ему бутылки. Он замялся.

— Нужно будет дать одну кочегару.

— Он ее получит. Оставьте бутылки дома. У меня есть другие на дорогу. Захватите только рюмки.

Он побежал бегом. От враждебности ничего не осталось. Все изменилось, как по мановению волшебного жезла. Все вдруг стали мне улыбаться, старались услужить.

— Вы просто колдун, — сказал начальник станции. — С водкой все пошло как по маслу.

— Пойдемте к телефонисту.

Мы отправились.

— Здравствуйтесь. Сделайте мне, пожалуйста, одолже-

ние... Вот ваша бутылка. Вы, наверное, знакомы со всеми телефонистами на других станциях?

— Понятно, всех знаю.

— Поговорите с ними и узнайте, не подавая вида, есть ли красные солдаты на их станциях. Вы меня поняли?

— Совершенно.

На стене висел план железной дороги с названием станций. Он звонил и болтал со своими коллегами, а я рядом слушал и показывал на следующую станцию. Как будто красных нигде не было.

В это время явились машинист и кочегар.

— Машина готова у перрона.

Я себя чувствовал диктатором. Я приказывал — и все бросались исполнять. Правда, один ящик с водкой опорожнился. Сторож, смазчик, стрелочник, прицепщик, жандарм, подметальщик, носильщик (не знаю чей) и инвалид-железнодорожник — все как по щучьему велению появились на моей дороге, вытягивались и отдавали честь, а я сыпал как фортуна из рога изобилия.

— Прицепите один вагон... Дайте приказ на все станции, чтобы прямой путь был свободен, чтобы нам не останавливаться. Беги быстрее, достань хлеба, огурцов, помидоров и соли... Рюкзаки не забыли?... Грузите ящик...

Я доставил себе еще удовольствие пойти к капитану-коменданту. Комната его выходила на улицу и он не был в курсе того, что происходит.

— Ах-ах, — воскликнул он увидев меня. — Как же так случилось, что вы еще здесь? Я думал, что вы по крайней мере в Лондоне. Ха, ха, ха.

— Паровоз у перрона, и я сейчас уезжаю.

Смех оборвался и он выпучил глаза.

... Я должен вам сказать, что вы или бездарны, или саботируете. Вы ни в чем не помогли мне в моей чрезвычайной командировке. Берегитесь. Если, возвращаясь, я не найду здесь десять подвод для погрузки патронов, я доложу о вас генералу Топоркову, который шутить не привык.

Он проглотил мое замечание.

— Когда вы думаете вернуться?

— Ночью.

— Где же я найду подводы?

— Это уж ваше дело, — я отдал честь и вышел.

Конечно, хорошие организаторы редки. Но этот! Сидит и книжку читает и ненужные бумажки отписывает. Кочегары и машинисты делают что хотят, а он и в ус не дует. Какая шляпа. Повесить бы его за одну ногу...

* * *

Паровоз двинулся и стал набирать скорость. Мы с моим казаком влезли на паровоз и я открыл бутылку. Мы проходили не останавливаясь мимо станций, и я выкидывал пустые бутылки. Я все больше братался с машинистом и кочегаром. Мы поклялись уже в вечной дружбе, но я все же не доверял им и попросил объяснить мне управление машиной. Оно крайне просто: рычаг в одну сторону вперед, в другую — назад. Чем больше наклоняешь рычаг, тем скорее движение.

— Главное не останавливайте, что бы ни случилось.

Я старался передергивать, когда было возможно, выливал рюмку за борт. Но все же пришлось выпить много. Но я был хорошо натренирован в этом спорте, молод и здоров и мог долго сохранять светлую голову. Все же под вечер я задремал. Я проснулся, потому что паровоз стал тормозить и остановился.

На рельсах впереди лежало бревно, а с обеих сторон к нам бежали солдаты.

Проклятие! Так и есть! Я схватился за револьвер.

— Слезайте! — приказал первый.

Я не ответил, но вздохнул с облегчением и вложил револьвер в кобуру. У него были офицерские погоны.

Я показал ему свою командировку, пакет для начальника штаба Армии, но он все же не хотел верить, что до самого Славянска нет больше красных, и решил вести меня в штаб батальона в деревню. Этого я никак не хотел — была бы потеря времени, и черт их знает в чужой части...

— Кроме того, у меня имеется чрезвычайный пропуск.

— Чрезвычайный пропуск? А ну-ка покажите.

Я протянул ему две бутылки. Он расцвел.

— Э... Хм... Я вижу, что бумаги у вас в порядке и вы можете ехать... Эй, там. Уберите бревно с рельсов. Счастливого пути.

* * *

Мы приехали в Горловку в два часа ночи. Я пошел разбудил дежурного офицера. Капитан раскрыл сонные глаза и взглянул на стенные часы.

— У меня весьма спешный пакет для Его Высокопревосходительства, начальника штаба Армии.

— Приходите завтра утром.

— Я должен передать пакет в собственные руки немедленно. Это очень важно!

— Вы спятили, подпоручик? В два часа ночи?

— Это рапорт генерала Топоркова. Мы взяли Славянск. Я оттуда. Он пожал плечами с досадой.

— Мы захватили хорошую добычу, посмотрите, — я протянул ему бутылку.

Сразу он совершенно проснулся и застегнул мундир.

— Конечно, это важные новости. Я пойду попробую. — Он запер в шкаф свою бутылку. — ... Хм... Найдется у вас добыча для генерала?

— Да.

— Тогда я могу его разбудить.

Двадцать минут спустя, сам Его Высокопревосходительство начальник штаба Армии (не помню, кто это был, не Шатилов ли?) появился на перроне. Я отпартовал и отдал пакет.

Он меня расспросил о взятии Славянска, о свободном железнодорожном пути и замаялся.

— Я слышал, что...

— Так точно, Ваше Высокопревосходительство.

Я побежал в свой вагон и принес 4 бутылки (все же генерал!). Я передал просьбу Топоркова о снарядах и патронах.

— Когда вы хотите ехать?

— Как только нагрессу патроны.

— Хорошо. Я дам вам 100 000 патронов и сто снарядов. Это все, что я могу дать в данный момент. Но скажите генералу Топоркову, что я буду посылать ему необходимое. Сейчас вам принесут мой ответ генералу Топоркову... Капитан, озабочьтесь немедленно погрузить снаряды и патроны. До свиданья, поручик, и спасибо.

Наш паровоз с вагоном передвинули на другой путь для погрузки. Думаю, что водка все же подействовала на машиниста, потому что двигавшийся бронепоезд зацепил наш вагон и чуть было его не опрокинул. Оба машиниста изливали потоки ругани. Я высунулся из паровоза. Офицер тоже высунулся из бронепоезда. — Лагутин!

— Мамонтов!.. Иди ко мне, влезай сюда... Эй, там... Довольно ругаться. Попячься и поставь вагон на место.

Лагутин был офицер нашей батареи, которому я когда-то поручил Гайчула.

— Что ты делаешь в этом бронепоезде?

— Я им командую. А ты? Все в батарее, на солдатской должности? Расскажи, что нового?

Я рассказал и сказал, что привело меня в Горловку.

— Все же странно, — сказал Лагутин. — Я командую бронепоездом, положение довольно важное. Но никогда в жизни мне не придется говорить с начальником штаба Армии. А ты на положении простого солдата, ты будишь его среди ночи, и он приходит с тобой говорить. Ведь странно.

— Ты забываешь магическое действие водки.

Я оставил у Лагутина несколько бутылок, а он дал мне два десятка снарядов.

(Окончание следует)



Работа первой смены кончилась

«Я ЛУЧШЕ, ЧЕМ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ»

Майга Штейнблума родилась 7 ноября 1962 года, четыре раза была осуждена по статьям 139, 211, 193, 193 ч. 1 УК ЛССР. Впервые я встретилась с ней в Ильгюциемской исправительной трудовой колонии — единственной женской тюрьме в Латвии. Среди дерзких и циничных созданий она приятно выделяется сердечностью, острым умом и способностью анализировать свои поступки. Именно поэтому я решила сделать с ней интервью. Майга охотно согласилась, добавив: «Когда я опять попаду в зону, я уже буду известной личностью».

— Расскажи о своей семье, родителях, детстве.

— Я родилась в Сабиле, росла в Морицсале — когда-то у нас там был дом. В семье нас было семеро. Мать как любила выпить, так и пьет до сих пор. Отец тоже. Поэтому мы росли в детском доме. Родителей лишили родительских прав. В 1972 году отец с матерью разошлись, но у них еще были права на Гунтиса, Мариса и Рейниса — младших. На четверых — Иманта, Инесу, Дайгу и меня права были отняты. На суде у матери спросили: оставить ли вам троих? Она ответила: нам не нужны ни первые четверо, ни последние трое. Бутылка была превыше всего. За бутылку она могла отдать все-все. За бутылку она бы и нас убила. Помню, еще маленькой, отец написал записку продавщице: «Пожалуйста, дай девочке столько-то поллитровок». Я пошла в магазин, они уже не в состоянии были дойти.

Не помню, как была одета, были ли у меня игрушки. Самое необходимое было. Приезжала бабушка, привозила кое-что, очень заботилась, помогала чем могла. Бабушка

была единственной непьющей. Дед тоже ужасно пил. Они живы и по сей день. Мать непостижимая пьяница. Отец по состоянию здоровья уже десять лет не может пить, но пил бы с удовольствием. Дед тоже после операции желудка не может пить. С братьями и сестрами так: Имант сидел за грабеж, но теперь живет честно, даже не пьет. Марис лечится от алкоголя, взял себя в руки, связался в Талси с баптистами и бросил пить. У Дайги и Инесы нормальные семьи. Рейнис и Гунтис сидят за квартирные кражи — это настоящие бандиты.

— Как ты представляла свое будущее, когда была маленькой?

— Думала, что мне повезет больше, чем моим родителям. Мне очень нравится история. Хотела закончить среднюю школу и поступать в университет на исторический факультет. Но отец и бабушка решили, что нужна практическая работа, и отправили учиться на ветеринара. Знаешь, после интерната я вернулась к отцу, до сих пор к нам приезжает бабушка. Помогала, я ее уважаю как единственную трезвенницу. Поэтому и не противилась. Поступила в техникум в Салдусе, проучилась полгода, но когда пришлось резать этих дохлых собак и кошек, я не выдержала. Бросила техникум, стала бродяжничать. Руководитель курса вызвал отца, тогда он впервые ударил меня. За то, что я не учусь. Я в ответ: терпеть не могу дохлых кошек! До восьмого класса я училась на одни пятерки, потом на двойки. Мне все так опротивило, я взбунтовалась, начала пить, пошли компании...

— За что тебя судили четыре раза?

— Впервые меня посадили в восемнадцать. Было так: моя крестная разошлась с мужем, к ней приходил мужик, которого я не выносила. Сказала ему: еще раз заявишься, я тебя без порток вышвырну на улицу! Но он приходил и пил. Я его пьяного не раз обчистила. Стащила у него часы, магнитофон, с крестной все это пропили. Наутро ему заявила, вот, не удивляйся, что у тебя часов нет, не таскайся сюда. Он не был дураком и заложил меня. Сразу 139 статья — кража личного имущества. Заработала полтора года. Вышла. Начальник милиции встречает меня и говорит: Майга, работай на нас, ты много знаешь. Я в ответ: знаешь, мне хочется спокойно жить (старший брат еще сидел в тюрьме), не хочу, чтобы кирпич ненароком на голову свалился. Он ждал пять месяцев. Полагал, подпишусь. К тому времени я уже получила прописку и написала заявление, чтобы поступить на работу.

Как-то вечером гуляла и завернула в один притон покурить. Вдруг подкатила милиция. Была пятница. По пятницам милиция Талси делала облавы. Разъезжала по притонам, забирая всех неугодных. Забрали и увезли и меня. Сказала менту, пусть ведет к начальнику. Отвел. Тот говорит: Майга, ты на нас не работаешь, не хочу с тобой разговаривать. Я в ответ: смотри, у меня все документы, я собираюсь работать. Он: ничего, поработаешь в другом месте. Это второй срок — два года. 211 статья за тунеядство, теперь этой статьи больше нет.

Третий срок вклеили так: где-то пили и одна коза запрятала мой паспорт. Попросту по пьянке. Вскоре попала в милицию, паспорта нет, пожалуйста, бах — 193 статья — за проживание без паспорта. Отсидела десять месяцев. Вышла. Один парень говорит: Майга, сходи к той бабе и забери свой паспорт. За что я сидела? Забрала паспорт, даже в морду не дала. Хотелось, да рука не поднялась. Она старше, мне совесть не позволяет бить тех, кто старше меня.

Потом получила прописку, поступила на работу в Лауциене, разнорабочей в колхозе. Таскала семидесятикилограммовые мешки, лопатой махала, все делала, пока хребет не надорвала. 14 апреля 1987 года отправилась в амбулаторию, меня отправили в больницу с радикулитом, а 15 апреля меня уволили с работы по 33 статье. Естественно, какая нужда связываться с зэчкой, найдут любой повод отвязаться.

Вышла из больницы. Ну как не запить? Понятно, что запью. Поставили на учет в милицию. Сразу надзор. Это с восьми вечера до шести утра быть дома. А на носу Лиго. С чего мне сидеть дома, подумай сама! Отправилась на праздник в Талси, три дня меня не было дома. Сразу по второй части 193 статьи. Если ты самовольно покидаешь место жительства, не предупредив заранее милицию или уполномоченного, сразу накидывают три года. Это мой последний срок.

Вообще, какая из меня преступница. Перебери все мои статьи, поймешь, нет ни одного преступления, разве что первый срок. Большой начальник районной милиции кинул мне на стол пачку «Космоса» и сказал: на, Майга, закури, мне тебя жаль, какой из тебя бандит. Такова советская система, говорю я ему.

— Мы теперь слышаны, что творится в мужских тюрьмах, но мало знаем о женских. В женской зоне такая же иерархия, такие же жестокость, насилие?

— Нет. У нас сравнительно благополучно. У нас нет ни «прописки», ни системы столов, ни битья, ни насилия. Разве что постоять за себя — не кулаками, а словами. Не сумеешь, сядут на голову, унижат. Обида моральная, бить — не бьют. Все примерно как в нормальном обществе — либо принимают и уважают, либо нет. Как и у мужчин, у нас стучат. В зоне около четырех сотен женщин, половина из них стукачки. Администрация стукачей покупает за гроши, за пачку сигарет, за пайку. Стучат обо всем — смотрят, что ты ешь, настучат за лишним куском колбасы, за лишние деньги, за таблетки. Некоторых даже не надо просить, чтобы стучали.

— Расскажи о буднях в зоне.

— Пока сидишь в изоляторе предварительного следствия, на тебе твоя одежда. Отправляясь в колонию, свои вещи сдаешь на хранение. Взамен получаешь на год форму зоны. Выдают двое трусов, два лифчика и наряд — сарафан, пиджак и блузку, одну фуфайку, один теплый, один простой платки, две пары коричневых хлопчатобумажных чулок. За это все надо заплатить, высчитывают из заработка, так что поначалу нет карманных денег. Не знаю почему, но сразу не выдают тапки, в помещении ходишь в туфлях, тапки выдают через год. Одежда всегда не по размеру, мне всегда была велика. Только смотрят, чтобы лифчики примерно подходили. Трусы — большие панталоны, штанины — по колено. Я перешивала, из одних панталон у меня выходило двое трусиков. Резинку воровала в швейном цехе. Раньше ничего нельзя было перешивать, говорили, что нельзя переводить государственные нитки. По второму сроку мне, такой маленькой и худенькой, выдали сарафан чуть ли не до земли, такой широченный, что под него можно было фуфайку поддевать. Раз я так зашла к бывшему начальнику зоны Бородину, он чуть не упал, увидев меня. Потом был приказ, и он разрешил перешивать.

В зоне почти все работают в швейном цехе. Работала в две смены, по восемь часов, перерыв полчаса. В тюрьме детский сад, некоторые работают там. У кого есть дети, могут с ними час в день гулять по специальному огражденному дворику.

Отработаешь свою смену и делай что хочешь, скажем, пей чифир, читай, спи или кури. Жрать приходится из алюминиевых мисок. Утром каша, на обед каша или макароны, вечером каша. Иногда подозрительное мясо. Дважды в неделю рыбный суп, уха. Летом перепадает ошметок огурца или помидор.

В десять на боковую. По воскресеньям показывают кино. Имеется библиотека, где полгода вечная инвентаризация. Можно заказать газеты, приходят они с опозданием на неделю.

— Сколько карманных денег, что можно купить в магазине зоны?

— На расходы дают 15 рэ в месяц. В магазине можно отovarиваться три раза в месяц, каждый раз выбивается чек на пятерку, покупай что хочешь. Отсидев половину срока без нарушений, улучшаешь свое материальное положение — 23 рэ в месяц. Дважды покупаешь на девять, потом на пятерку.

В магазине продают хлеб, маргарин, масло, печенье, конфеты, иногда молоко или творог, джем, рыбные консервы, сигареты — в зоне сигарет всегда вдоволь! Теперь торгуют и чаем, по пачке в месяц. Чай — это валюта на зоне, поскольку все глушат чифир. С одной пачкой на чифир не разлетишься. Добрые друзья перекинут через стену, по воскресеньям, когда меньше сторожей. Тогда это возможно, в одном месте забор пониже. Поймают на перебресе, карцер на месте.

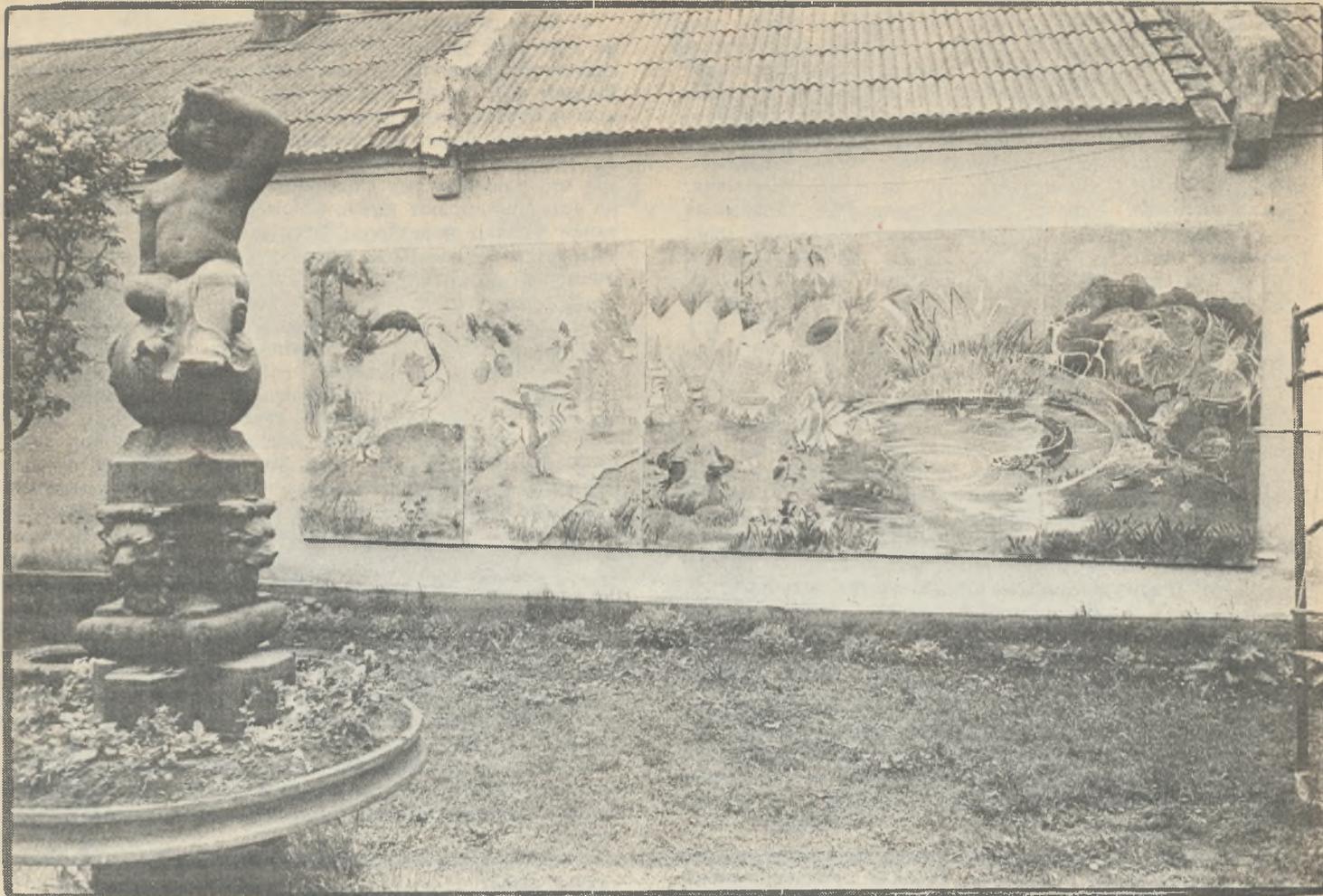
— Как относится к вам администрация?

— Начнем с того, что там все русские. Обращаются, как со скотом, за людей никто нас не считает. Большие начальники там мужики, но каждый день нас охраняют женщины. Мужики человечнее. Бабы могут обругать, поиздеваться, ну, что ли — для своего удовольствия.

Скажем, получаешь похоронку. Дадут через неделю. Когда вздумается. На похороны все едино не пустят, ты же не человек, ты преступник. И письма маринуют сколько влезет. Слава богу, по башке не бьют, ногами не топчут. Встречаются добрые девушки, но унижить нас старается любая.

— Какое медицинское обслуживание в зоне?

— Врач ежедневно до семи вечера. Если что потом, нужно обращаться к ментам, у них есть аптечка. Что бы ни болело — голова, сердце, зуб, живот — на все одно средство — аскофен или асфен. Анальгина нет никогда. Сами мы таблетки держать не имеем права. Попадешь в карцер. Заболеешь всерьез, лечить не будут. Пропишут уколы — два дня колют, три дня — пауза. У меня уже семь лет язва желудка, так ее не лечат. На все наши жалобы у врачей один



Двор тюремного детского сада. Стена разрисована заключенной, осужденной за убийство.

ответ: это все от чифира. Совсем занеможешь, лучше подыхай, в больницу никто не отвезет. Весной одна так и померла. В пять утра она звонит дежурному менту и заявляет: плохо с сердцем. Ментша в ответ: я сплю, жди до одиннадцати, пока придет врач. Она не дождалась, к девяти померла. После обеда пришли баптисты, отслужили панихиду и все. Раньше ежедневно были зубной врач и гинеколог. После сокращения штатов они ушли, приходят два раза в неделю на несколько часов.

— В бараках, в которых вы живете, я почувствовала ту же самую вонь, что и в зоопарке у слонов. Так что расскажи о санитарно-гигиенических условиях.

— Туалеты такие же, как на автовокзалах. Унитазов нет и не бывало. Моешься у проржавевшей железной раковины из-под одного-единственного крана с холодной водой. Горячая вода бывает очень редко, зачастую нет и холодной. Зимой теплую воду мы брали из радиаторов, летом ее брать неоткуда. Душа нет, когда-то был, но убрали, поскольку никогда не работал. Баня раз в неделю. Ходим бригадой, по двадцать человек. Сама помоешься, белье стирать нельзя. В зоне есть специальный домик, где есть горячая вода, только там можно постирать.

— Имеется ли возможность заняться женскими развлечениями — вязанием, шитьем?

— Нет. Найдут спицы, напишут рапорт, это нарушение. Шить не из чего, из парадного наряда можно сшить мини-юбку, что почти все и делают, независимо от возраста и ног.

— Впервые тебя осудили десять лет назад. Произошли ли в зоне за это время перемены?

— Да. Теперь там лучше жить, скажем, заработать карцер теперь сложнее. Раньше туда можно было загреметь за

незастегнутую фуфайку. Или за покрашенные глаза. Теперь косметикой торгуют даже в магазине зоны. Теперь в комнатах можно держать цветы. Прекрасно, что наконец-то официально позволено пить чифир. Раньше юбка непременно должна была быть до колен. Хоть чуток укоротишь — сразу карцер. В магазине было меньше товара, молочных продуктов вообще не было. Теперь можно оставить кое-что из своих вещей, пару чулок, платье, администрация поручит, что не соблюдаешь форму, но не отнимет. Бунтов и забастовок в зоне не бывает. Только по государственным праздникам закрыт магазин, негде купить сигареты, женщины отказываются идти на работу. Тогда администрация идет на уступки, вызывает продавщицу из дома.

— В прошлом году вас стали посещать представители Латвийской христианской миссии с целью предложить вам иную возможность — новую жизнь во Христе. Что им удалось?

— Поначалу приходили только русские баптисты. Начальство долго не желало пускать латышей, но теперь приходят и они. Они толкуют Библию, распевают духовные песни. Я их слушаю с трудом, мне легче пить чифир. Явятся этикие святоши с честными рожами, ничего в жизни не выдвали, ну о чем нам с ними говорить? Большим успехом они не пользуются. Некоторые бабы сидят и плачут, пока они говорят, а стоит им убраться, как снова начинают материться, толкаться. Какой там рай! Одна девушка, с которой я сидела вместе, теперь стала верующей. Она тоже из Талси. Баптисты в Талси сдвинули ей мозги. Но я уж не поддамся.

— Многие ли женщины становятся лесбиянками?

— Примерно треть, может, половина, но не больше. Сидят по десять-пятнадцать лет и не становятся. Это желание отдать кому-то свои чувства, даже любовь. Ведь чувства

переполняют душу. Раньше начальство разлучало такие пары, разводило по разным бригадам, переводило жить в другой отряд, но на этом ничего не кончалось, одни истерики начинались. Теперь менты наоборот — приглядываются, нет ли пары, всячески споспобствуют, чтобы были вместе, тогда тишь да гладь. Многие пары весьма стабильны, прямо семья, как муж с женой, жена греется на солнышке, муж приносит чифир, обслуживает. Но в зоне всегда живут бляди, ходящие по рукам, у тех дурная слава, как уж у блядей. Мне этот лесбос противен, уж лучше жить совсем без секса.

— Сегодня как раз два месяца, как ты снова на свободе. Что ты делаешь, как у тебя дела?

— Я сразу сошлась с Марисом. Просто чудо, как в мужской зоне можно остаться таким хорошим человеком. Впрочем, не делаю ничего. Пью. Сажу на пробке.

— Так ты все это время сидишь на пробке?

— Нет. С паузами. С ненормально длинными паузами. Но хожу по компаниям, всем разливаю, у меня твердая рука, но сама не пью. Я так могу. Спокойно. Теперь снова пью, уже с пятого августа. Договорилась о работе, шить, но поскольку вышла из зоны, меня не желают прописывать. Так что не работаю.

— Кого ты винишь — родителей, советскую власть, мужчин, алкоголь или себя?

— Прежде всего родителей. Себя в том смысле, что слабохарактерная. Видела своих родителей, видела, как они пьют, к чему это приводит. Виновна себя, что не смогла избежать того же. А следовательно, я тоже ужасная пьяница. Думаю, что не с колыбели. Надо было быть сильнее.

— О чем ты сожалеешь в своей жизни?

— О годах, проведенных в зоне. Восемь лет. Вся моя молодость осталась там...

— Надеюсь, ты больше не намерена туда попасть?

— Попасть? Я всегда готова к наихудшему. Постоянно думаю, вдруг снова туда попаду? Я считаю с тем, что это возможно. В сущности, ничего дурного не делаю — не ворую, не граблю, не убиваю. Но мой образ жизни всегда приводит к глупым статьям, ни за что. Надзора пока не имею, но если по пьянке стану выступать, заберут в милицию, наложат надзор, дома я не усажу, снова получу три года. Пожалуйста!

— Ты оптимистка или пессимистка?

— Оптимистка. Будь я пессимисткой, сошла бы с ума от такой жизни.

— О чем ты думаешь, когда бываешь одна?

— На трезвую или пьяную голову?

— Трезвая.

— Тогда думаю о нормальной жизни. По пьянке думаю, вот, завяжу с выпивкой и заживу так честно, так ужасно красиво... Страшно тоскую по нормальной жизни.

— Что мешает тебе жить нормально?

— Бутылка. Советский строй. Уголовный кодекс.

— Ты читаешь книги?

— Когда я трезвая, читаю очень много. Мне нравится французская литература — Ромен Роллан, Золя, Гюго, Дюма, биографические романы Моруа. До сих пор нравятся книги по истории. Тогда я чувствую, что где-то существует иной мир, совсем другой... Иногда читаю Дрипе, Колберга, Иманта Зиедониса.

— Ты часто плачешь?

— Редко. Не от чего плакать.

— Ты боишься смерти?

— Думаю, все бояться. Как бы ни было, жизнь прекрасна, у всех естественное желание жить.

— Если твоя смерть придет не сразу, если будет время для размышлений — о чем ты будешь думать перед смертью? Тебя будут мучить угрызения совести?

— Если бы пришлось умирать теперь, мне не в чем упрекнуть себя. Я бы думала о том, что было хорошего, задержала бы в памяти приятные мгновения. Упрекать себя нет никакого резона, от этого ничего не изменится, разве настроение ухудшится.

— Что ты думаешь о мужчинах?

— Я их ненавижу. Был у меня один мальчик, мы дружили с третьего класса. Потом, уже после интерната, мы всерьез

влюбились друг в друга, но позднее он безжалостно обманул меня. С тех пор я больше не влюблялась. Мужчины, само собой, были, но это так, для организма.

— Когда ты счастлива, а когда несчастна?

— Счастлива, когда выхожу из милиции. Еще когда читаю хорошую книгу. Если счастлив герой, я тоже счастлива. Все что читаю, очень переживаю. Последние пятьдесят страниц «Отверженных» Гюго я проплакала, буквально захлебываясь. А несчастной я стараюсь не бывать.

— Есть ли у тебя сердечное увлечение?

— Рисование.

— Как ты думаешь, человеку предопределена судьба или он сам кузнец своего счастья?

— Думаю, что человек сам творит свою жизнь, но что-то над ним все-таки есть. Не думаю, что жизнь в зоне — моя судьба. Причина в моей слабости и советской системе, которая не предполагает места в обществе подобным мне, выходящим из зоны. Логично, все боятся эзков, не хотят прописывать, не принимают на работу. Знаешь, когда приближается осень, многие женщины что-то откидывают, чтобы попасть назад, ведь там по меньшей мере есть постель, пища и фуфайка.

— Думала ли ты когда-нибудь о самоубийстве?

— Дважды я пыталась покончить жизнь самоубийством. Первый раз в семнадцать лет. Мне надоело смотреть на свою мать, надоела вся эта жизнь, я решила повеситься. Все приготовила на чердаке, нашла хорошую веревку, но приехал в гости старший брат, увидел, что к чердаку приставлена лестница (обычно она там не стоит). Он буквально вытащил меня из петли. Вскоре я выпила нервные таблетки. Около тридцати штук, но, вероятно, этого оказалось мало. Но потом я собралась с силами и полюбила жизнь.

— Как ты относишься к своей матери теперь?

— Мне ее жалко. Я ее никогда не любила, но мне ее жаль. Он тоже слабая. Я знаю, что это такое.

— В чем, по-твоему, смысл жизни человека?

— Вообще я склонна философствовать, но я не задумываюсь об этом. Может, попросту в нормальной жизни? Знаю одно, моя жизнь смысла пока не имеет. Я не вижу смысла.

— Ты знаешь, как к тебе относятся окружающие люди? Справедливо ли их мнение о тебе?

— Меня это не интересует! Знаю, что они думают — дурной человек, сбившийся с пути истинного. Правда, с одной стороны. Но они видят только упаковку, а что у меня внутри, не знают. У меня есть черты характера, редко встречающиеся у людей. Словом: любовь к жизни. Мы, Штейнблумы, все такие, можем другому отдать последнее, буквально последнюю рубашку. Не задумываясь, что это за человек, заслужил ли он это, не важно, как он к тебе относится. Ему нужно — пожалуйста. Я считаю, так нужно. В детском доме и в интернате у меня были такие воспитатели, этому они меня научили. Была такая воспитательница Залите, она говорила, что надо быть снисходительной к людям, желать добра миру. Странно, во мне это как основа по отношению к жизни.

Вторая черта, скорее, зоновское понятие. Я никогда не выдам человека, ни за что. И не солгу. Вот я говорю с кем-то в зоне, меня спрашивают: ты не врешь? Отвечаю: я вру только милиционерам, людям я не вру никогда. Если ты можешь человеку соврать, значит, ты его не уважаешь. Я, знаешь, и не притворяюсь никогда. Какой ты меня видишь, такая я и есть — похмельная и грязная. Не стану говорить, ну, так получилось. Такая я и есть — пьяница. Но считаю, что я намного лучше, чем можно ожидать, принимая во внимание обстоятельства, в которых я выросла, грязь, с которой сталкивалась, никто представить не может, что я видела в доме... Я могла вконец озлобиться на людей, на жизнь, на родителей. Я страшно боролась, чтобы подавить в себе эту злость, знаешь, удалось. Потому что я поняла — с ненавистью жить нельзя.

Разговор вела ЭВА РУБЕНЕ.

15 августа, Талси.

ЛАРИСА ВАНЕЕВА

АНТИГРЕХ

(повесть о 70-х)

в то время я увлекалась языком, а вместо детектива Иона читала на английском «Эрос и цивилизацию», продираясь в научные дебрих специально, чтобы потом читать на языке философское, религиозное, а не шеголять где-нибудь двумя-тремя фразами. Купаясь в абстракциях и ощущая себя в общем-то на уровне, она жевала жвачку, которой, увы, был дефицит, и если кто-то ее жевал, то с внутренним достоинством, будто во рту правил «мерседесом», нет, это я жевала жвачку, нажевав себе американскую челюсть, я отстаивала свободу, изжевывая вину, в мою пору в жвачках был дефицит, а Иона появилась позже, поскольку годы идут и текст нуждается в исправлениях, соответствующих набегающему времени, но мне хочется вспомнить, как жвачку доставали для кегельбана в середине 70-х; избранный лошадиный круг, оглохнув от рока, вкушал толику западной жизни, разрешенной в качестве снисхождения или поощрения или просто недогляд сквозь пальцы: ладно, пусть немного как бы по-жуют. Ох уж эта мне интеллигенция, — вздыхал бывалый майор в телесериале.

Из пещерных теней к ночи выбирались на поиски пропитания, в столовки не поспевая, шли в ресторан, наслаждаясь рюмочкой-другой, но обычно денег не густо: в комплексе у ВДНХ до полуночи вылась с первого этажа на второй очередь одиноко-читающих-газеты как в метро, похоже на раздачу бесплатного обеда в Нью-Йорке, что как-то приободряло.

Итак, Иона ощущала себя на уровне классическая традиция связывает Орфея с пробуждением гомосексуальности, он отвергает нормальный эрос не для аскезы, но для более глубокого наполнения, как Нарцисс он протестует против подавления Ион же, и это его слова, более-менее почувствовал себя человеком, лишь когда перестал скитаться по чужим углам, стало быть, значительно позже.

Хипово в троллейбусе Ион протискивал Иону к стеклу, на остановках берег от холода, в такси придвигал, в кино тоже сугубо лично за что-нибудь держался в кино, и в водопаде волос распущенных она банально глупела, как в гроте горы волшебной.

Но и в холодном троллейбусе, также на зимней автобусной остановке, и в маленьком кинотеатре «Встреча», также на ветру к кассам «Иллюзиона» вязались плутоватые ночные людишки, присаживался на радиатор отопления горбун. — Пусть пойдет с нами — в углу пьет из бутылки, — с сожалением она прощалась с влюбленным горбуном, частью ее и толпы, мизинцем ее правой ноги. — Так я его ощущаю! — любовался бы, бедняга, на их любовь, как в кино.

Странные желания, но поскольку Ион ее, во-первых, спас (у кого-то с шестнадцатого этажа свесилась вниз посмотреть), а во-вторых, подобрал: — Тебе просто крупно со мной повезло, не бросилась бы, так под забором сейчас валялась точно, — то ничего странного в таких желаниях, знал, на что шел. В каком-то смысле идеальный партнер именно тот, который способен доставить массу неприятностей.

Лежа на спине (рассветный потолок), рисуя по ковру с прибитым оружием: два кинжала старинной чеканки, шпага, зазеленевшая к концу острия, охотничье ружье, вдохновенно она врала, что не та, за кого он ее принимает, вообще не женщина, не человек.

Откуда тебе знать, кто я? — приподнималась она на локте. — Я сама не знаю, как ты? можешь знать.

Меня тоже нет, — поддакивал он.

Вдвоем в кресле перед раскрытым балконом. Солнце, внизу морозный туман, ярко утренние дома. Туман забирается языками, шершаво-влажными.

С узкого балкона Иона возвращалась к его горящим атласным губам, атласным от тысяч поцелуев: перепутаем счет, чтоб мы не знали, чтобы сглазить не мог нас злой завистник.

Нижние, земные облака растворяли город в невесомость. И Иона исчезала, нежностью изведаясь, как русалка ласками, исхудав с перелюба: вот бы сейчас и умереть.

И кинжал на стене. Он почти был согласен

друзья-одноклассники торчали под рок. Влюбился — значит, тоже «торчит из-под нее». Торчать можно из-под чего угодно, даже из-под венка торч. К концу десятого торч ломовой — Иону ведет, как от скрежета по стеклу, но вот опять перешагивает она лужи по кирпичам в Сокольниках, сидит на скамейках, ждет в подъездах, пока мальчишки вмажут. И ей оголяют локоть, вгоняют иглу, в вену не попадут. Она вырывается. Катят куда-то на старой «Победе», человек семь, по полу перекатывается бутылка водки, и К. говорит, что он уже импотент. Он Иону в седьмом классе любил, но она ему отказала, и теперь от наркотиков он импотент, хотя сейчас они целовались, но это — цветы за-поздалые. Но он не жалеет — на бабу лезть, это не кондیشن. Это значит кайф не понимать, не только задачи по математике, каналы у таких забиты, он из-под Ионы и без всех этих дел торчит и будет торчать вечно.

Вечный торч. А также словечко «поплыла» с ярко выраженным отрицанием. Если вдруг девчонка запьянеет у кого-то на коленях или в медленном танго вдруг закружится голова, тотчас найдется диагност со стороны оценить в лупу. Ай-я-яй, киска, поплыла!

И назавтра обязательно всему классу.

Так, отчасти нелепо, блюли мальчишки целомудрие, навешивая комплексы.

Собрались на даче, шторами плотно закрыли окна, с участка не видно. Магнитофон посреди, сели вокруг, в случайном луче солнца плясала пыль с зимы. Сизые, маслянистые пласты дыма будоражили легкие. Передавали друг другу, как индейцы, трубку мира. Иона в подвернутых джинсах, с мальчишеской стрижкой, проникалась всеобщим братством, растворяясь в дыму. Была еще Лелька крашенная, но это дело другое, как была, так и осталась, с Андрюшей потом пошла на веранду, только тут Иона и узнала, что они пара, а Иона с мальчишками по-братски вповалку на тюфяках, под ватными одеялами, кто-то на нее ногу ночью положил. Легкие раздувались, как меха, в груди светло, туманно, и нетрудно разглядеть сияющую фигуру, идущую с недосягаемо высокого потолка. Иона заглянула в его любящие глаза и — потеряла сознание.

Мама скажет: Иона была девочкой неиспорченной это наша тайна, и я постараюсь ее не выдать, я не брошу тебя, хоть ты и Лиса, мы будем жить вместе, но прошу тебя, не компрометируй и меня, ты не должна показываться на людях в обликах Лисы, не должна засыпать ни с кем, кроме меня, я не ревную и не посягаю на твою свободу, но подумай, что скажут люди, а они обязательно скажут, представь, кто упустит такой случай, им обязательно воспользуются.

Ион обнимал вернувшуюся блудную:

Так где же ты была?

Гуляла.

Гуляла?

Да, гуляла в лесу. Это невыносимо, я была в лесу.

Что — невыносимо?

Сам знаешь, что.

Ну будет, будет, — грудная клетка его растворялась, вбирая нежное существо. Краем глаза заметив головы в зеркале, он посторонился, сопоставив. — Стоп! С кем ты была в лесу? То есть как одна? Вот так одна гуляла? Ах ты вообще ничего

Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей

листка отрывного календаря, носимого по неспаханым полям, по-над вырубленным лесам. Накличет Эжен Потье гром великий, противореча нынешней миролюбивой политике, что вместе тоже есть абсурд и парадокс.

Как волосинка, как нитка с пальто, накручиваемая на палец, чтобы узнать начальную букву имени любимого, — чешуйка бронтозавра из коллекции дикувинок: современный образец любящей души-бумажки, раздраженно изучаемой на пути самости.

Нет, я сама! Всего сама хочу. То, что не сама — неинтересно. Как истинный труженик не выношу, когда стоят над душой. В момент творческий трансмутирую душу в предметы искусства, а вы подглядываете из-за плеча. Приятно бездельникам глядеть как кто-то работает, они от этого сексуально возбуждаются, от акта сокровенного. А ну пошли вон!

Трудом добываются сверхспособности, реализуются мечты.

Иногда кажется, что можно все. «Кажется» можно вычеркнуть — можно все. «Можно» вычеркнем, — все. Все. И ничего

что же касается возлюбленного Иона, то он через минуту свалил на поддороге. Ринувшись в удадь, как привик, он, вместо растворения и «умирания», вознесся на огненной дуге, сам дуга и есть, вознесся, полетел... и вырвался, выскочил, обезумев. Рухнул. Закутался в одеяло темное шерстяное без пододеяльника, которым они сверху накрывались в холода, закутался, чтобы только подалее, с головой зарылся и — к стенке, зуб на зуб не попадает, озноб пытаетсяскрыть.

Ионушка! Под хламом перьев попискивало цыплячье. Ионушка? Жив?!

Жив Ион. Только что родился

минуя болтающуюся раму в окне, заканчивал звездное сеянье дождь; плоскости мебели из шторма на корабле обрели привычную устойчивость; задетая взрывной волной комната, помотавшись в космосе уличной лампой, нарастала другими квартирами-ячейками и заняла положенную ей площадь.

Перестав дрожать, но не найдя подходящих случаю слов, полуобернулся Ион к безмолвно лежащей Ионе, так безмолвно вытянувшейся, что и не было ее, и стал то ли в утешение, то ли, чтобы занять себя машинальным движением, пока работает мозг, отыскивая нужные аргументы, поглаживать кончик ее безымянного пальца на мертво-запрокинутой на подушке руке.

Он поглаживал, а она молча, терпеливо, недвижно этому поглаживанию вникала. И вдруг вникла.

Неостывшее тело из сверхсолнечной яркости погасшее до раскаленной лавы, тяжелыми волнами бороздящей умерщвленные волей лабиринты, насторожилось. Броуновский хаос лавы замер: так разбитый лагерь ушам своим не верит, заслышав заветные звуки трубы: из-за гор, из-за дол идет подкрепление, из-за гор, из-за дол пальца безымянного, нет, не верит разбитый лагерь, не успеть к нему прийти на помощь, но уж разбираются доспехи, точатся клинки, выстраиваются бегом доблестные ряды с щитами, летят стрелы, пули жужжат, погромыживают орудия, и принято на первый взгляд странное, но мудрое решение из окружения противника отступить и, сомкнувшись тесными рядами, выставив щиты, без потерь, соединиться с поющей трубами основной армией, взяв головокружительную безымянную высоту.

От поглаживаний его машинальных палец взбужал, ярчал, накалялся, от огромности терял контуры, раскаленная лава тела всего, покинув ночную долину и прочие сверхновые объекты, себе не веря, к нему подбиралась, и вот, еще немного, еще немного, думала Иона в пальце, еще чуть... я им и взорвусь!

Но из задумчивости очнувшись, Ион в поглаживании за-

стыл и с осторожностью сапера палец свой от ее пальца отделил.

А как там узники... — сказал он шершавым хрипотом (хрип + шепот) и затаился

на рассветной улице Иона скомкалась — вот ее боль и удел, сбегать на улицу к пяти утра, перебравшись на пол, в темноте отыскивая немудреные свои вещи, в ванной заметив бледное, виноватое, растерянное от боли лицо, и в коридоре с ним неловко попрощаться, вышедшим, как маленький, нагишом, все еще надеясь, что остановит. Даже поцеловать-то ужаснулся, отечески тронув лоб и руку спрятав за спину; ожегся.

Расщелкивала дверные застежки, скорее — там воздух, там дождь, он охладит, воздух, он наполнит жизнь, словно она вне нас, в природе, мы только не замечаем, что жизнь наша в нас не содержится, а природа, она — спасет. Потерянный человек начинает чувствовать окружающее, чего до тоски своей не замечал, и хорошо если не как груз, дополнительно барабанивший по мозгу, а как многообразие и величие целой общей жизни, частицей которой он является (а может даже не частицей, а всем и является? догадывается вдруг он и о бывших треволнениях догадывается, с недавних его звоном погремущи, которым он был оглушен... в том-то и дело, что начинаем мы, по молодой жадной глупости своей, погремущкой забавляться, радуясь, что она нас забирала до потери пульса, а кончаем тем, что бежим, схватившись за голову от звона).

Иона, выйдя на городской асфальт, забрызганный темными пятнами, будто впервые увидела основательность зданий и лупящиеся их поверхности. Крошки. Окурки. Стеснилось ее сердце, и озиралась она на них, точно бедный Евгений из Петербурга, с той только разницей, что еще не бежала.

Бедный мой, бедный... Просунул голову в окно, а она ну его целовать, рыдать: бедный мой... то не одни узники бедные, он сам бедняк! Как стрелку часов попытался он перевести ее на узников, страдающих без секса, которым они так бессовестно занялись. Только что ведь проговорили об узниках вечер, и Иона налюбоваться не могла, скрестив ноги в постели и приподымаясь от невыразимости чувств, когда он преподносил очередной факт, ему известный, ее всплескивало, и не знала она, что делать, что же делать, что-то же сейчас же надо делать, но оставалась сидеть, любясь на своего Иона, расхаживающего по комнате в большом возбуждении. Надо было что-то подписать, и договорились, что подпишут. Ион сначала не хотел ее впутывать, но раз уж она с ним, то все одно, лишняя подпись не повредит. Иона была согласна!

Ты отдаешь себе отчет, чем это тебе может обернуться? — хмуро оборачивался Ион. — Могут выгнать с работы. Исключить из университета. — Пусть! — радостно говорила Иона. Ион улыбался куда-то туда, кому-то, всеми зубами, и мягкая его улыбка удивительным образом становилась крокодильей. Показал зубки, показал! думала Иона, гордясь им и восхищаясь.

И потом как стрелку часов попытался он перевести ее на узников. Как для русского интеллигента так забываться и уходить в свое забытие... — А как там узникам... То есть будь Иона настоящей, то поехала бы к политзаключенным предлагаться им по очереди, чтобы скрасить их быт, или уж по крайней мере не имела бы секса, или уж если иметь, то только так, для галочки, как отместиться, как в туалет сходив облегчиться, от мысли об узниках не отвлекаясь и страдая им всеми фибрами... ведь отчасти именно этими узниками ты еще здесь и жива, не будь их сопротивления, а? а? А она вон оно что — вместо галочки и ненависти к себе — комплексы разметала, телом нагим всплыла и мчится и исчезает в огненной любви-дуге в неизвестно какие пространства. И видите ли, нет ничего, нет ничего, нет ничего — кроме любви!

Для русского совестливого интеллигента, если общество несправедливо, и он ничего не может поделать, гадко быть приватно счастливым, гадко любить, а не ненавидеть, — вот что выходило со слов Иона, но Иона, лежа безмолвно, отчетливо понимала, что он не прав. И что узники — узниками, совесть совестью, но то, что с ними — главное, и что он по-

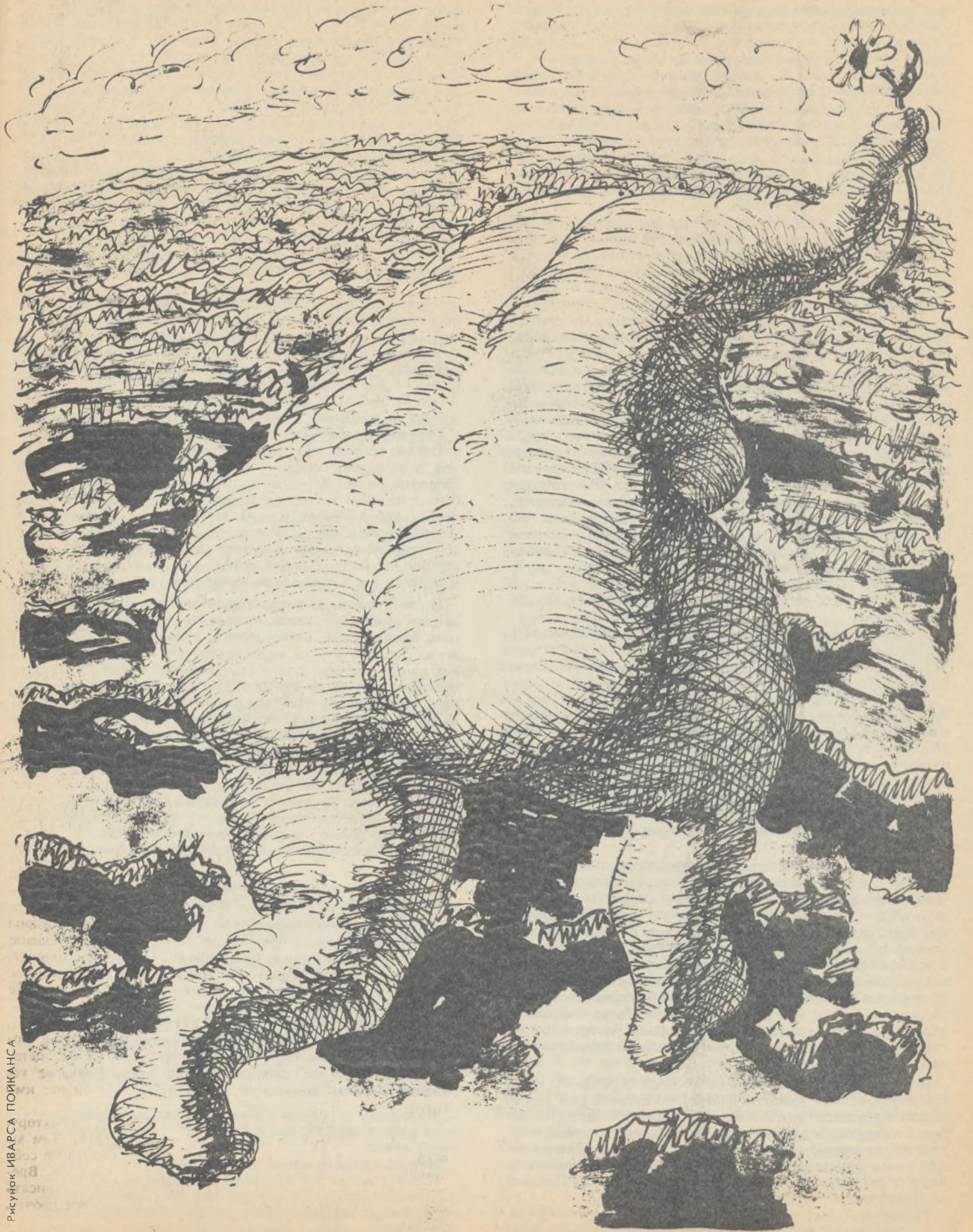


Рисунок ИВАРСА ПОЙКАНСА

просту выворачивается, испугавшись самого главного. Причем конца-то, чувствовала Иона, конца-то в традиционном-то смысле, по-видимому, и не было бы, а было бы только начало, которому они так и не сподобились.

На коленях стояла бы она на простыне белой, сползшей с постели, вложив молитвенно лоб свой в ладонь его и плакала от принадлежности части целому в ослепительном, ослепительном сиянии того второго солнца неземного, что залило их светом в темноте, невидимой Немезиды, что и карающая длань, и судья, и судьба. Слезы счастья не иссыкали бы назавтра у Ионы, словно в плащ волшебный им окутанная, картошку бы чистила, рубашку его стирала, к чему, вообще-то говоря, не склонна.

Вот дрожат от нежности его руки, как мебель и картины убраны претензии-амбиции, чистый воздух гуляет по свободному помещению, — в эту энергию вступает она, не замечая ни границ тела, ни кожный покров, ни дыхания, ни испарения, и чем ближе к нему, тем больше нет никого. В головокружении входит она в его дом и исчезает.

Вот он держит ее на одной руке, и от доверия к мудрой его руке она исходит в него, истекает, подобно фигурам Дали, вся-вся истекает в него.

В щелях загона стриженные пятна тореро: бык на них бычится, дыбится, землю роет, холку гнет, с сивым брюхом он и хрен — нарисован Пикассо, — вот какова теперь их участь. Тряпка кумачовая, выцветший флаг, сорванный с древка сельсовета, — символа раскулачивания, продрозверстки, культа личности и выжимания детских голодных слез, на него они набычились, им тореро обмотался вокруг пояса, тряпка выцвела, пылью пахнет, бык томится за воротами, а как выпустят, загородку сломает — полетит, сам не свой, зенки бешеные слепнут, кругом зрители, что ни мужик, то удостоверение в нагрудном кармане, причем, говорит, винтик, законы исполняю. Да какого же хрена бычьего винтик, а думать за тебя будет кто? Никак нет-с, не положено по штату . . . а быка того, добьем его.

Вот против чего взбунтовалась, если разобраться, — против совести!

Но стрелку часов не перевести. Часы были солнечными.

Еще и будильник тикал с тумбочки.

Ты Лиса, ты не человек, — наконец-то, прикинув, сказал Ион

боль душевная на нетерпимой своей стадии расправилась, и вместо нее пошло-пошло, как бесконечный вдох, как шарик надуваемый, из газовой первомайской установки, похожей на лоток «газводы», вентилем не перекрываемый, надуваемый шарик-счастье. Всем организмом на холодной пятичасовой утренней улице вспомнила Иона о торжествующей волне и восторжествовала вновь, и вместе с торжеством любви ее и зеленый бледный луч народился за бетонными сводами.

Над собой, над ним торжествовала Иона, понимая, что к любви имеют они отношение косвенное, повод, а не причина, но имеют, но она, любовь, есть! и как же ни от чего не зависит, как же в сравнении с ней мелки они, и это чудесно! иначе какая бы гигантская бессмыслица, если бы ничтожество их означало венец творения! Могучим поступательным ходом расправлялись легкие, светом вымещалась боль, так могуче, как красные колеса паровоза на дитя надвигаются, но проносятся мимо, а ликование мимо не пронеслось, Иону подломило, она с ним не справилась и была выброшена в никуда: опять потрескавшийся асфальт с песчинками-галками, облупленными от миллиметровой резкости зренья.

И снова та душевная боль, от которой погнало ее, перехлестнуло, свело с ума, она переходила рельсы, шла ровно, вышла к прудам отдышаться у травы, опять ослепла, от березки к березке перебираясь за стволы, наощупь села и согнулась, но вскоре начала расправляться, пошла-пошла-пошла волна: торжество ее и свет. Любовь в ней торжествовала, что она, любовь, есть. Иона не выдерживала ее пир. Поехала на мгновение в отсутствие. Пруд.

На закате Иона стояла у деревенского колодца и смотрела, как какой-то дед наливает ей воды. Этот дед и она — были

одно, по тому, как наливал он ей молча воду, как не глядя подавал, видно было, что он тоже был с ней как одно, а еще толстые продавщицы в сельпо, куда зашла купить хлеба, пока шла от лотков танцующей (блядской, определила про себя Иона) походкой, уставились на нее, и выйдя на воздух, Иона поняла, что и с животастыми этими двумя бабами она общее, прямо в несвежих их фартуках; пробежали, разгоняя велосипед, мальчишки-подростки — у Ионы поплыло сознание, на станционной платформе выпуклою линзой являлся перед ней товарняк, вагон за вагоном, и по окружности мимо нее текло, утекало пространство, и весь мир, наверное, сверзился, даже деревья, кусты; в траве в лесу у Ионы тело забилося, выгнулось мостком, сгустела, отяжелела к закату инфракрасному разлитая по миру любовь, но чудо еще могло произойти.

Иона потом говорила себе: я вернулась только потому, что ожидала, что чудо повторится

зачем вообще эти крайности и безумства, эта дикая спонтанность примитивных людей, одержимых фанатизмом ощущений, — она чувствует щекой, как он пожимает плечом.

Это значит — приносить дары в храм, но не постригаться в монахи, — слабо упрекает она его в шею, шепотом на его плече. — Это не любовь, это фарисейство.

Это не любовь, а азиатчина какая-то, — спорит он. — Ты просто не женщина, а государство.

Они рассуждают, кто как «кончает». Впервые.

Славно проведя мелодию, завершив ее в унисон, как зрелые полночные особи — в душном ресторане джазовый саксофон — они не должны гневить судьбу, они должны быть довольны, что им так повезло, их встреча в этом плане — крупная обоюдная удача. Не секрет, что для интимной жизни основа основ. Если она не притворяется, то им крупно, действительно крупно повезло! Сколько разбитых судеб, сколько несчастных людей, которые и не подозревают о том! В постели они должны быть полностью свободны.

Ни воздуха, ни пространства, ни молний, ни озона, ни огней, ни сердца, ни красок, ни звезд в изнеможении сладостного белого крема, от которого пустеют зрачки, багровеют веки, который кто-то впрыскивает им в паховые лимфы как на-сла-жде-ние. Будто кто-то третий между ними, черный и лохматый, на-сле-дил. Такое наслаждение не стоит наслаждающегося. Она так это и говорит: на-сле-ди-ли. И оргазм — разве оргазм? Вообще, что значит оргазм, почему для этого нет настоящих, правильных слов? Что за переводы с иностранного . . . Слово «кончать» — вообще тошнотка. Ну какой это оргазм! Высвобождение. Эя-ку-ляция — подчеркнуто выводит она буквы, и эта осведомленность, в ее-то лета, его бесит. Ты откуда знаешь это слово? Вижу, у тебя, деточка, порядочный опыт. Сколько у тебя их было? Сколько у тебя было до меня жеребцов, и со всеми ты так?

Нет-нет-нет, только с тобой, я потому и с тобой, что только с тобой.

А хоть одну молитву ты знаешь?

Я могу молиться в любви. Любовь рождается из молитвы.

В их отношениях намечается конфликт. В который раз Ион ласково пытается пригнуть ей голову, но теперь, после того ч у д а, Нойбертом ее не проймешь, выдирается кошкой из воды, с полной правотой и даже готова объясниться. Идейно подкована, шутит он. Он, конечно же, прав в своей самозабвенности, плоть — суть одно, но и Иона несомненно права в сопровитвлении, становясь сутью лишь тогда, когда светится. Вот тогда, от святого постижения единого, можно в доказательство все. Ибо губы твои, глаза твои и все остальное — абсолютно все одно, как у рубашки подол, рукава: без разницы же, чем обтереться?

Мало того, — поясняет Иона, — когда я вернулась, целую тебя в щеку, знаешь, что я целовала? Ч т о целую в образе твоей щеки?

Ион ее сжал, не давая продолжить.

Или ты всегда так целуешь? — вырывалась Иона. — Неужели вы целуете так всегда? Мы-то, женщины, о том не подозреваем. Я ведь впервые поняла, что . . . мы целиком и полностью . . . ммм . . . свято, когда светится . . . как засты-

нет — опохабится... то, что свято, то похабно? да? градус... алхимия.

Под сосной сидел Ион в зимнем лесу, как Мороз сидел в зимнем лесу, разбегенная, скользкая дорога, на нее вынесло Иону в пургу, и что-то Ион с ней страшное сделал, она тотчас забывает — что, но ужас остается, потом и ужас забывает, верить страху не хочет, это заглянуть в щель любимых глаз и узреть крокодила! Ах нет же, нет ничего, один свет и любовь! Не будет она думать, что ловушка, вот и не будет ее... Что же страшное он такое сделал — сердце располосовал, вывернул? быстро, многоопытно? она не успела опомниться, как уже все кончено, и лицо его, настезье распахнувшееся, опять любимое, дорогое, единственное. Только не знала теперь она, такой ли стала, как была раньше? И словно бы, что бы ни делала отныне, все было по его плану, только она думала, что это ее желание.

Сдвинувшись на край, тряслась Иона в свой черед, прогнувшись во внезапной трезвости.

Что такое чудовищное по своей преступности сделал он с ней в зимнем лесу? Распотрошил и доволен остался?

Страх, должно быть, вызван эгоизмом. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершен в любви», — это она знает наизусть

нож всаживается в невинного барашка, судорога бьет его, не всегда нож сладок у любимого, хотя, иногда кажется, вот бы и умереть.

Или, может, он хочет в жертву ее принести, отвезти в лес, там разжечь костер? Вдруг огнепоклонник. Что она о нем знает. И можно ли так доверяться.

Ты Лиса, ты не человек, — объясняет он, что его мучит, наверно он должен сказать... Он не говорит: вчера; он говорит — тогда произошло нечто странное, чего я действительно, ты права, испугался. Мне почудилось, что я держу в твоём облике лису, ты словно бы нарушила границы, захватила территорию и одновременно потеряла себя. Я ли держал тебя в облике Лисы или лису в облике тебя. Впрочем, — как бы бормочет он сам для себя, — все, кто надеется владеть фата-морганой, глупцы.

Но лисицы — это лжецы?

Стать подлинным мучительно, однако нам нет нужды при творяться друг перед другом при условии, что ты ни с кем, кроме меня, не будешь Лисой. Ты подумай хорошенько, все — не те, за кого себя выдают, правда, кое-кто забывается порой, но все же заметь, держат контроль, и это в их случае их — спасает

карлик, меня любит карлик, с печальным размягчением видит Иона. Всем девушкам раздали номера, ей помедлили, прежде чем дать. Ко всем выходят нормальные юноши-красавцы, она одна пусто стоит в кругу, как на танцах у стенки, тербя листочек.

И к ней подходит карлик.

Ну что ж, карлик, ей жаль его, да стыдно перед людьми. И танцевать-то карлик не умеет, не удастся потанцевать как юноши и девушки, насупленно топчется горбун, и тогда начинает она танцевать одна.

И танцует она так, что все замирают. Еще бы — ей за двоих приходится стараться, за троих, считая стыд перед людьми.

А в другой раз она его целует, а он боится ее поцелуев. Тогда волей изгоняет она из себя желание, а остается только любовь, идущая от сердца. От сердца тянется к нему золотая нить, и горб его пропадает, веселым мальчишкой прыгает карлик в восторге постели. Да и не карлик уже — истинно дитя.

И она плачет счастливо: духовным дитя стал карлик — ее уродец, лишь отчасти состоявшаяся ее любовь стал духовным дитя. Прогресс.

Очнувшись, она преисполняется отвращением к нему: ах, ну как же можно все это любить!

Она прогоняет кадры: угрюмый карлик-горбун, не помнящий себя от смеха мальчишка, мужающий, терпеливый, молчаливый человек, и наконец, сияющий взвездным све-

том — он. Она знает, что все в нем заключено, но только она должна постараться. «Аленький цветочек» — любимая сказка.

Она сама висит на золотой нити, соединяющей их, стоит нити погаснуть, как и она мертва.

Она знает — прихоть. Оборви нить, карлик останется карликом, она останется собой, ничего не изменится.

Она играет с экраном, так можно поднимать и понижать давление, человека присоединяют датчиками, он смотрит на экран и манипулирует внутри себя, стараясь изменить цвет. Она химичит в лаборатории, чтобы карлик вырос в настоящего человека и даже более того. Это ее творчество. Это она сама да и посуди, кто еще кроме меня захотел бы жить с Лисой, она лисица, скажут они, она не человек

а что тут скажешь. — Все правильно.

Под кустом на пятках сидя, комкает лицо нещадно, из-под мышек торчат рыжие клоки, вся рыжая, да еще в оранжевом бикини:

Что толку от твоей цели. Каждую секунду, каждый миг все меняется. Ничто не остается на месте. Вот озеро — его неподвижность лишь видимость. Ускорь пленку времени, ты поймешь и это. Назвав предмет, явление, люди тем самым привязывают себя, застревают на духовном пути. Или, что еще хуже, назвав, на этом успокаиваются. Та же твоя экология. А эти «Красные книги»... — она фыркнула. — Занесут и будто радуются. Еще один вид, видите ли, занесли. Им важно констатировать, второстепенное возводится в первую степень.

Называние — это деньги! — сообразилось в Ионе. — Слушай, как верно, а? Вербализация — это деньги. Однако я забеспокоюсь, если выйду к озеру и не буду знать. Обязательно кого-нибудь спрошу.

Ну скажу, как оно называется, что от того изменится? Это и зло.

Успокоюсь. Сориентируюсь.

Нет нужды в этикетках. Вот смотришь ты на озеро или чайку. Тебе зачем, чтобы было написано, что это озеро, а не зола? Когда ты видишь его, чувствуешь, обоняешь, ты же не страдаешь манией постоянно твердить себе, что это озеро? Твоя успокоенность тоже ничего не стоит, тебе она не нужна, просто выключенное состояние. Вспомни, даже актеров, чтобы заиграли без фальши, приходится встряхивать и как можно сильнее, задеть за нутро, вот тогда выдают, если не успокоятся.

Это в кино, а в театре иное...

Ну так это скорее кино, а не театр, — рыжая подруга перевела взгляд на озеро, увела себя от мира в очарованную даль.

Словно не ты живешь во времени, а оно тобой, тебя проживает?

На жизнь насмешливо глядел и ничего во всей природе благословить он не хотел, — улыбнулась подруга. — Если ты будешь сознавать, что делаешь благо другим, понимаешь ли, то это бестолку...

Ну ладно, ладно, дух отрицанья, дух сомненья, понятно, что не ум, честь и совесть нашей эпохи. От этого меня упаси. Но, говорят, когда человек начинает думать о спасении других, — в его организме открываются неиспользованные резервы. И как насчет времени? Может, в этом и заключается отдача, когда оно тобой...

Ты не зарекайся, — советовала подруга. — Очень сложно не обольщаться. Может статься таким подвигом эгоизма, который и не распознаешь, как, ну, обычные проявления, когда там хапают и прочее. Вот так и начнешь спасать мир... И не забывай, что отдавая, лишь раздаешь долги, — печально обронила подруга. — Все мы здорово задолжали.

На словах хорошо — отдавать больше, чем брать. А на деле получается, что лучше и не пытаться, бесполезно. Живи как живешь... Что улыбаешься, я подозреваю, ты к этому и клонишь. Но как? Как еще мочь, как еще уметь! И удивительно, что ты против призвания. Я с детства запрограммирована. Откуда известно, может, тем самым себе соответствую. В меня вложена программа, я должна ее отработать.

Хорошо, пусть будет так, — соглашалась подруга, словно бы Иона большее понять пока не способна.

Есть во мне, конечно, некая ребячливость, — тревожилась Иона, ерзая на коврике. Подражая подруге, она сидела на пятках уже затекших, но не сдавалась. — Как тогда «будьте как дети»?

Подруга, прикрыв глаза, покачивалась. Прежде чем ответить, даже если знала ответ, она все одно, для пущей точности своего знания прикрывала глаза, как бы получая ответ наново, а не повторяя то, что ей раньше было известно. Иона ждала терпеливо, с уважением: дай себе труда Иона без суеты каждый раз вспоминать, где что лежит, и тогда уже брать, наверное, многие проблемы решались бы сами собой.

Ты работаешь впустую, — в паузе вдосталь нажужжали комары, пролетела стрекоза и тенью, спружинив к земле, стая качнулась чаек. — Отдачи пока нет. Это игра твоего эго. Тешишь себя и свое самолюбие.

Иону это очень задело:

Но сидит же во мне долг, как заноза. На роду мне написано.

Все правильно, каждый играет свою роль. Именно как заноза... — хитро улыбалась подруга.

Согласна, наверное, ты права, да. Но я хочу делать добро, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Я хочу. Это искреннее желание. Но только как? Ты можешь мне конкретно, на примере, сказать, к а к, или никто этого не знает, а только говорит! Одни слова красивые!

Подруга, сощурив шмелиные ресницы, весело глядела на Иону, как на разбушевавшееся дитя, что было еще досаднее:

Ты же как будто не фригидна. По крайней мере я так себе уяснила из твоих слов. Бедные женщины, большинство из них даже и не знает, что это такое.

Здесь-то какая может быть связь! — досадовала Иона.

Подумай.

Сейчас постараюсь изобразить этот процесс, — с издевкой устраивалась Иона на пятках, качаясь — от копчика по позвоночнику к макушке и стараясь ни о чем не думать; прикрывала веки, сосредоточившись на безмыслии... *Suggest* — предлагать, внушать, наводить на мысль; намекать; *suggestive* — наводящий на мысль, вызывающий мысли, а также соблазнительный. Суггестивная реакция — мысль, реализованная в психических или телесных процессах. Ионе предлагалось всем телом, а заодно и всей вокруг природой, вплоть до летучей гряды редющих облаков и сладостного шума полуденных волн, вызвать в себе соблазн, соблазнить себя на понимание. Отдача отдаче рознь... Или ты сохраняешь благопристойность и очень красиво немного живя, немного играя и изображая, пока не зацепит за живое... или, так сказать, плюсьешь на окружающее и мчишься к цели, но при этом почему-то бесконечно рыдаешь, словно на дне огромного чана греха — собора или мира соборного, где органно резонирует плач, возвращаясь сверху громогласно, как чей-то грозный, или — и вот тут стена невидимая между — как два мима, два паяца бегаете вы вдоль стены, лаская стекло.

Секс — высшая медитация. Настоящий секс, — уточнила подруга, — а не животные спаривания, выше которых сейчас никто не способен.

Слова противные, — морщилась Иона.

Тоже проявление самости, — сказала подруга. — Люди не любят правды. Предпочитают утешения.

Разделение на низшее и высшее — чистая условность, — подруга как бы подсказывала.

Ну извини, одна, значит, но пламенная страсть? — иронизировала Иона, но как всегда на ум ей наплывало то свое «чудо»; да нет же, было оно, а раз было, значит... бывает, может быть... и беда не «чуда», а Ионы, что больше не повторяется, это Иона ему не соответствует, а «чудо-то», оно всегда есть, и присно, и вовеки.

Господи, как же хорошо, что оно со мной случилось... хоть раз... Что бы я делала без тебя, Господи, если бы не знала, что...

Да у тебя и ничего не получится, не только секс, если не будешь любить. Вообще ничего — все впустую. Попы-

тайся, убедишься на собственном опыте. Никто тебя не услышит, никому будет не нужно. Обычное, рядовое условие. Прежде чем на что-то претендовать, надо по крайней мере побыть в роли Христа. Ну не Христом, так хотя бы христосиком.

Ты слишком категорична и, по-моему, однобока.

Я предлагаю самый простой путь, самый легкий. «Ноша моя легка». Просто странно, почему все шарахаются, предпочитают походы с полной боевой выкладкой, чтобы растянуться на земле, чтобы уже и язык на бок, до посинения.

И над головой чтобы погромыхивало, — дорисовала Иона. — Ты же не христианка...

Да какая разница, — сказала подруга.

Напоенная счастьем земля уходила в чашу. За ярко-зеленым горбом берега полотнищем вздувалось синее пространство — там по бегущим в разные стороны течениям скользили белые, синие, красные яхты, виндсерфинги, катерки. Ветер тянул складками их мчание

что это за магия — самовыражение? Не просто ли духовный экзгибиционизм, что ранил стрелой едва ли не в младенчестве, когда на дачной улице, спускающейся к реке, от реки же, из вечернего тумана, стал появляться в сумерках страшный человек, поднимающегося от реки из дома на околице, где по ночам напаивают сонным зельем гостей, убивают случайных путников, а на чердаках, лестницах и в подвалах висят незримые дышащие внутренности, кишки вокруг столбов. Застенчиво улыбаясь, человек останавливался на пригорке, озирался, подзывал детей несмело и ссыпал во влажные ладошки леденцы. И девочкам он щедрее ссыпал прозрачных камешков, прикрывал, загибал пальчики, придерживал у себя, отпускал.

Мы бежали как зайцы с поджатыми хвостиками, вдруг кричали, что конфеты отравлены, бросали, топтали, воскабливая липкие, тарашась от тех метаморфоз, что начнутся в наших желудках. Я монах в красных штанах! — кричал кто-то. А я в синих! Мы будто вправду видели что-то белое в сумерках, нежное, выпущенное из продырявленной ваты, непохожее на весь закопченный вид убийцы. И весь вечер были возбуждены и необъяснимо счастливы. И у нас был взрослый человек с леденцами, не принадлежавший к миру взрослых, из пригорков, туманов, реки и страшного дома, вступавший с нами в отношения на равных.

Оттого в пустой комнате в одиночестве одну из девочек посетило желание. Захотелось страшиле передать привет. Окно выходило в сад, улицы не видно, но привет мог быть передан небом и птицами. Трехлетняя девочка вскарабкалась по спинке кровати на подоконник холодный гладкий шершавый от трещин и телеграфировала привет детским горячим тельцем в окно. И это охлаждение подоконником и пролетевшим ветерком и принесло ей первую творческую радость.

Дальше вот что. Без привязанности любви взрослая женщина почувствовала себя так, как дитя в воде без надувного круга. Оказывается, постоянное присутствие любимого в мыслях спасало и поддерживало. Неприятности обтекали, она их не замечала, подводным водорослям страхов было не запутать, ибо зажимы нервов не волокли на дно. Устали не замечаешь, днями напевая о нем! И никого не хочешь, не ходишь, как самка, как бутылка с брагой, нет, спокойна, точно пробка сверху открыта, спокойна, грехом не бродишь и чиста.

Ватный страшил нивелировался в психушке или тюрьме. В разьеженном гусеничными колесами дерне испустили дух кишки и сказки. Кое-кто, правда, спасся в ближайший лес, пугая оттуда тех, кто желал пугаться, но большинство пугаться не желало, возясь с тракторами и личным транспортом.

Любимый же страдал по автомобилю. Отчего и сам постепенно уподоблялся механизму, который требует чистки, еды, смазки и тепла.

Взбираясь горною тропой, раздувая ноздри от наслаждения настоящего воздуха, вместе с тем испытывал он желание спихнуть природу: рубить ее — не перерубить. В природе было нечто, что, напитав, начинало раздражать —

слишком много жизни, да, слишком много жизни, иметь ее — не переиметь. Но однажды, глянув в вечернее небо, вместо знакомой звезды, низко стоящей на востоке, он увидел компьютер, на следующую ночь разглядел в созвездии Тельца последнюю модель «Москвича» и восхитился в хитрой концепции, согласно которой мир природы в неизбежном грядущем сойдет на нет, разлука неминуема, но тоскующая память человечества воссоздаст природу изнутри своей сути в качестве поэтического, художественно активного самопознания и самоосуществления. В созидающей фантазии отмершая природа станет знаковой системой самой жизни в отличие от искусственно созданной, технической, заполняющей ночное небо.

Гордый, что пропитается мифами о природе вместо самой природы, тем самым выйдя на новое суперпознание, вмещающее познание предков, но качественно его превосходящее, любимый ощущал природу уже условно-лихо, как прохождение лучей, за которыми нет ничего, как сноп их над головами кинозрителей, создающий изображение. Уязвимость собственной плоти его уж не пугала: нечто, что он вмещал, шло по хвое, ласкаясь горным ультрафиолетом, и подлежало уничтожению, свертываясь со всем тем, что заключалось в клетках. Из эллипса, существование внутри которого детерминировало свои законы и представления, в частности, идею абсолюта, любимый вышел, создав себе другой, свой собственный, с другими законами, которые не подчинялись прежним.

Любящая его женщина была под покрывалом, на котором начертаны прежние верования старого эллипса: святые, Иисус, ангелы. Быть может, они ее охраняли настолько, насколько она сама того желала, но это было ее личное дело — лежать под покрывалом с головой, набитой образами. И он был в этом синклите, приподымая покров над глупышкой; но в целом их эллипсы не совпадали: она была в прежнем, пугливая трепетная лань, мечтающая о спасении в ужасах разбойного дома.

Идиоты-даунцы торчали по микрорайонам, в ступоре этих существ не таилась ли загадка нового мышления, неподвластная радиации, как акулий генокод? — думала женщина, выбираясь из-под покрывала, чтобы оставить на время религиозность и отчаянно удержать то, что в любимом иссякало, сохранялось лишь чуть, и что он уже откровенно презирал.

Наделив поглощающую его пустоту смыслом «поэтической активности», он перестал тревожиться, собратья-механизмы не заставляли томиться, как то делала с ним ранее природа. Любой из механизмов в принципе можно было разобрать, погладить, осязая, вновь собрать, разрушить, сотворить, будь тот даже из японских микросхем. Он помнил, что в какую-то свою бытность, из которой он выродился не без участия системы информационного воспитания вкупе с системой потребления, ибо потребление и стало творчеством масс, отчего постоянно активизировались, работали, развивались одни центры человеческих организмов в ущерб другим, глуша их бездействием, так что пуповина, связывающая с природой, питающаяся ее тайнами, отсохла, и он, не умея, не зная и не желая сопротивляться процессу, обнаружил себя однажды иным, владеющим орудиями ремесла, но имитатором, поддельность которого могли различить лишь редкие спецы, он помнил, что сила, заставлявшая его когда-то томиться и хвататься за все, что было под рукой, лишь бы как-то излить свое томление на окружающий его мир, отчего он постоянно чувствовал себя дилетантом, была не чем иным, как томительным желанием приласкать одуванчиковое желто-зеленое поле, кипень леса, серебро воды — не в состоянии огладить это хотя бы потому, что длань его была мала, он брался ласкать жаром своей души.

Далее в иные сокровенные моменты видел он в природе не случайное соединение стихий, а идею, которая одновременно и была творцом, и проезжая мимо волнистых холмов и низин с озерами света, разделял его мысль, трепеща от той возможности, что открывалась в Нем, которой он тоже наделен был, которой мог принять соучастие наряду с этим, великим, и на которую, казалось, на счастье которой не хватило бы жизни.

Телесная малость была конвертом фокусника, из которого можно было вынуть письмо с безбрежным смыслом.

Он проезжал мимо пирога. И ни куска...

Позже он мог проследить, как образовалась в нем пустота, а вместе, зависть к самобытованию природы и зависть ко всем тем, кто еще был сам по себе тоже.

Энергия и честолюбие, направленное на потребление благ, свили гнездышко в одной из долей мозга, забота о деньгах, а также их трата стали доставлять ему удовольствие привычки. (Свыше дается привычка, а не то, из чего она состоит. Выбор определяем мы сами).

Как запойный алкоголик, впервые выявил он свою заикленность на жизненной борьбе лет в тридцать, когда на отдыхе за городом обнаружил, что не хочет отдыхать, в отдыхе не нуждается, отдыхать ему, собственно говоря, нечем, ибо он превратился в механизм, забравшийся на определенный уровень, одолевший его, употребивший, и чтобы не пробуксовывать на месте, должный продолжать честолюбивое восхождение танка, чтобы затем, покрутившись дулом, сориентироваться, если же все мыслимые барьеры будут взяты, по шаруку он будет развезать, как по собственному подворью, сосущая пустота подкрадется к сердцу, избегая ее, он станет меломаном, гурманом на старости лет, он, как никто иной, отдаст должное живописи и архитектуре, устрицам и кинзе, крахмальным воротничкам и бальным туфлям... целый оркестр заиграет единственно для него, в пустом зале ни одна пошлая дама не позволит себе махнуть веером, кашлянуть или заскрипеть креслом, ни одно пошлое сознание не станет диссонировать, впуская в зал скуку или свою замороченную музыкой тупость.

Не стоит забывать, что и музыканты — люди. Он бы устроил так — на зеленом ли лугу, в бело-кирпичном соборе? — что творцы единственно творили бы для собственного наслаждения, не чувствуя, что их покупают, они бы стали — друзья, или все же он, не доверяя их искренности, которую не купишь, смог бы быть невидимым среди них, вникая в стихию их творчества, чтобы они потеряли иммунитет к внешнему миру и остались бы только с ним, заразившись им так, чтобы без него не мочь.

Возможно, да-да, возможно, это будут последние творцы, с той живостью организмов, с разметанностью волос, с брюхами и сопением, с чавканьем и суггестивностью, когда даже и не поймешь, чем, собственно говоря, мыслят, и почему, собственно говоря, они творят, последние из распиздяев. Эти человеческие бактерии перестанут производить по причине отсутствия среды, они протухнут, так как природа им нужна, как свежее молоко для квасцов.

Они протухнут, протухнут!

Ему некому будет завидовать, умертвив собственную плоть. Он наконец-то станет спокоен, отправляясь на технологическую свалку, уверенный, что никто не избегнет общей участи. Как клеенка с фруктами и овощами будет над ним небо с механизмами вместо звезд, потому что и звезды — тоже гигантские механизмы, только не им сотворенные.

Море крови и зверств нашего мира отменив за ненадобностью, построив собственный эллипс, гарантирующий сохранность прав, признав себя наслаждающимся механизмом и все делая для продолжения этого наслаждения, сведя природу к нулю, чтобы не раздражала спонтанной дикостью и алогизмами, томлением и любовью, он задаст себе вопрос: как можно быть счастливым, совершив преступление. Память человеческая есть память о преступлениях. Не прощать себе — это и есть совесть, решит наш гордец.

Или это не с ним произойдут такие унижительные метаморфозы?

Или это я стану суперразумом о трех головах без тела с датчиком управления, магнитно вцепившись в запястье, с проводками, проросшими в вены? Или это не так уж и не-хорошо. Или как

изо дня в день чего-то ждать, может, почту? там письмо, от кого? Она ждет, чтобы что-то случилось и боится этого, ждет и боится, ветер шалый носится в ослепнуть можно поднебесье, рябина уронила ягоды на асфальт, курица на де-

святый день разбила насиженные яйца, и что-то еще вычитали в Библии, какие-то зловещие предзнаменования, а во сне спрашивают: какой хочешь — счастливый или несчастный конец? и во сне она сомневается, не зная, что сказать, потому что счастливый конец — как-то однозначно, несчастный же таит в себе множество последующих причин; топчут рябину каблук — семя не прорастет, а четверть века тому, она помнит, стояла луна в ореоле, ночь призрачно светла, выла собака, они вышли на крыльцо под сливу, подобно луне висящий был шар или купол, или медуза, только недвижимый. Они опять выходили на крыльцо, шар не исчезал, но не все его видели. Потом говорили, одни видели, другие нет. Они входили в дом с чувством, что что-то началось, но нет: висит шар, воеет собака, на рассвете поблек.

Как, каким образом большинство отодвигает это. Каждый живет, боясь признаться. Приходит гостья, сидит, говорит, все как обычно, вдруг замолкает с таким выражением! Потом справилась, беседа потекла как прежде. Кто-то ей: вот, дескать, паркет вздулся после ремонта, бракоделы, ходить нельзя. Как она хохотала! как ненормальная. Она-то, глядя, решила, что зрительная галлюцинация. Только бы не выдать себя, было у нее единственной мыслью.

Угол кровати, в темноте сереет постель, мрак шерстяных одеял, уличный пар от дыхания. Форточка открыта, на ночь рефлектор отключен, батареей нет, постель лежало заледенела, о простыню можно ожечься — зато требуемое одиночество в мастерской черлака или полуподвала. И ложиться лучше в одежде, от мерзлых матрасов стынет спина, часам к четырем выпрыгнуть к рефлектору греться — кожи не жаль; или начать разоблачаться постепенно — комочки пяткой за край. Прийти, где никого и никто не придет, и так медленно-медленно двигаться, у огня посидеть, в постели мерзлой уснуть и в ней же разогреться, — в снег провалившись в сосновом лесу, крутит метель, где-то дымок — переходу вождельный порог.

Свернувшись в одно измерение, она потеряла себя, заблудившись в быстрых снах, «и это характерное, характерное стремление выжить во что бы то ни стало», — произнес кто-то мерзким писклявым голоском, и когда накинудились, вспороли от шейных позвонков до поясницы, она ничего не могла поделать, было в ней тысячу гипнотических пудов.

Но точно ли успели . . . или только распоролы до костного мозга. С неподъемным усилием перевернулась, понимая, что подставилась — надуло весенним ветром. В комнате было ненормально светло. Луч лунный лег на стену яркой трапецией, из форточки шум и бег стихий, замечывает подоконник, все в движении — мчит, и голова ясна. Лежа настоже, с остаточной болью в позвоночнике, не шадила она себя. Сотрясение стекла от порыва ветра пронзило страхом, но ум был насмешлив и суров.

Потянувшись к полу, включить бы клавиши рефлектора, на теплых досках одеться в потоке горячем . . . Впервые ночь была настолько враждебна . . . А если опять погрузиться посмотреть, посмеют ли? Она уже знала, что посмеют. А если пусть делают, что хотят . . . пусть.

И это характерное, характерное стремление выжить во что бы то ни стало! — мысленно она передразнила их голосок, он для них словно сигнал трубы был . . . Одна художница словцо им придумала современное: «сукидце», «вот тут он меня гложет, — находит художница на себе место, — уж и голодом его, и чем только . . . совсем вроде бы нет, но если корешок остался, не заметишь, как такие опять куши!»

А комплексы — механические игрушки-зажимы, которые в любви как от взрыва слетают, — это все те же «сукидце». Пошли вон, суки собачьи!

Кто вы такие, указывать мне, изголяться! Да, кто?

От обиды за нарушенную плоть лепило ресницы. Во-первых, без конца с тобой, как повар с картошкой, и в жизни, и даже там, в сновидческой области, а во-вторых, она, оказывается, выживает, вон оно что . . . а остальные тогда что, если уж она выживает, остальные не выживают тогда уж, что ли? И не только выживает, но во что бы то ни стало! Спротивление ее подлости жизни, по-видимому, лишь обходной маневр, а на деле-то ишь что задумала скверное, да? жить задумала, так что ли выходит?

Но умирать, но дать впитаться в твою кровь и мозг, превратить тебя в себя . . . и бесстрастно все это наблюдать . . . Да делайте вы что хотите, а я вон пошла! А если привязана к себе, да, и если твари ей эти отвратительны.

Есть способ убрать кошмары, представляя себя на месте тех, кто одолевает. Вот отец плюхается с разгона, как гребовая доска, или тот сосед, что с ведром, которому встретилась на пути, ах, тяжело дышать! Вот ребра тебе сжали, бесноватые, сердцу больно, плачешь и вдруг сдаешься. О господи, пораженно тут тебя выпускают, ослабляя хватку после стольких лет сопротивления.

Далеко рассуждать она теперь боялась. Мысли — свора собак на поводке. Повлечешься за одной из них, наиболее сильной, и утащишь неизвестно куда, где и будешь на нее энергию накручивать. Как бы мыслями чего не натворить. Трезво надо, разумно. Сдерживаться — по воспитанию. А лучше вообще ни о чем . . . Я спокойна, я спокойна, я спокойна . . . расслаблена, я спокойна . . . Мир и покой. Покой и любовь. Так в критическую минуту человек подбирается, просто образцовым становясь строителем коммунизма.

Любое шевеление могло быть чревато. Позвоночником она давила на матрасы, чтобы не было щели, куда бы сунулись. Успели или нет? Отвратительная правда, выдуманная зарубежным кинематографом, что если тебя . . . то и у тебя, значит, наутро . . . клычки. Сон что смерть, сказал Вергилий, с Сивиллой в ад спускаясь. Призраки загромождают психику кирпичными обломками оттого, что весенним ветром надуло, в шапке следует ходить, не пичонжиться.

Мысли свои она видела. В объеме лба выстреливают трасирующими пулями. Какой постоянный их фонтан! Это без мыслей порядок, не тронет никто, но стоит повлечься хоть за одной . . . За одной только можно влечься мыслью, теплой и отрадной, это о Христе, сосредоточиться на Нем и . . . пусть, пусть.

Экономно, нехотя, как если бы ничего такого, одевалась она, стараясь не поворачиваться спиной, как бы всюду лицо . . . Одевалась, вышла, радость подавив . . . выгнали.

Колени подмерзли, шосс хрустело. Ни души. Но много-много вокруг неизвестного воздуха, отчего спешит путник по белому ровному покрову, где-то запоздав, домой поскорей . . . и никаких мыслей у него иных в голове, лишь бы дойти и ботинки мокрые снять, поставить сушить под батареею. Жутко ведь как-то светло. И это характерное, характерное стремление выжить во что бы то ни стало . . .

Отказаться от жизни, чтобы не бояться

но день-два хмурой угнетенности, опять ей память отшибло! Картонные будто дома с краской, только что нанесенной. Спусти и подьемы. Верхний город, нижний. Волшебство распыскано по улицам, будто дезодорант. Мирное соседство религий, их упорядоченность и терпимость. И вот незаметно как поймала себя на том, что опять идет радуется освещению, краскам и каштанам. Как с гуся вода! Прошла и агрессивность как аллергия на и х манную кашу, и то специальное не подымание глаз, та обиды и здоровая злость . . . Взгляды опять не оскорбляли, хотя могла теперь представить отчетливо, чем при случае обернутся. Могла теперь дерзко усмехнуться в глаза.

В который раз она опять заводит разговор . . .

И поначалу как бы сама настраивается, как бы заново переживает. Выбранный слушатель — жертва. Не знает, что приготовлен ушат. Она пробует интонацию: мрачная ли безысходность, горькое всезнание опыта или дерзостный цинизм? В любом случае она не такая, как они, она по ту сторону. Точно наигрывает одну и ту же мелодию, но каждый раз на другом инструменте. Чутко вслушивается в откликающийся звук, смотрит ясно и испытующе, или напротив, уводит несчастно глаза, в них влага. И раз, и другой, и третий, так или иначе, как бы они ни притворялись, стремясь ужаснуться или посочувствовать (один даже отказался знать наперед, но она настаивала!), рано или поздно, и в их глазах она видит одно. Тогда можно встать и уйти. Она торжествует, хотя опечалена крайне. Хочет опять умереть. Никто ее не поймет. Не понимают самого главного — это ничто. Все загораются, словно заговорены. Даже старухи. Старухи, те вообще через одну гомосексуальны. И она видит сон:

в одной половине актового зала мужчины, в другой женщины. Полная конфронтация. Никто друг друга не понимает и больше не стремится понять.

Переобиделись. Переотчаялись. Переразочаровались.

Каждому теперь легче со своими: мужчинам с мужчинами, женщинам с женщинами. И все оттого, что в женщинах проснулось самосознание. Что, лучше бы, чтобы оно не просыпалось, разве? Такое вот противостояние.

Но Иона одного сумела себе выкликать — уж неизвестно чем она его взяла, вплоть до набора социального. Нерешительно оставил дружные черные ряды, предатель. Тяжко Иона вздохнула. Тяжкий труд. Ну вот. Ведь и это не то. Что она ему даст? Именно что — с о б л а з н и л а. Чудо-то, где оно? Сердце говорящее — где? Где истинное слово? А раз оно не получается — такая конфронтация совершенно верна. До тех пор.

Какой-то проклятый круг. Точно свечи в глазах. Глубокий туннель, в конце погребальная свеча. Желтое полыхание. Чем больше провоцируешь ужасов, тем зверей больше. Никого ужасы давно не пугают. Только дразнят.

В очередной раз она смотрит в глаза мстительно, издав лека заводит... возможно, произошло не с ней...

в тусклом коммунальном коридоре центра столичного, решив передохнуть от стерео-грохота, на висячем черном телефоне устраивали они Танькину судьбу, пока та подбирала с пола одежду гостей, рушащуюся с вешалки. Иона говорила в трубку, потом кто-то говорил в трубку, потом передавал трубку, и падали со смеху, как и красная Танька, орущая на всю коммуналку:

«Пошел он...! — тут одежды у нее рушились. — Нет, скажи ему, чтобы передал, пошел он...!»

«Ты не права, может быть, он хороший человек», уговаривали Таньку.

«Танюш, ты явно не права, главное, чтобы человек был хороший».

Иона ходила по подиуму в новом пальто, сочиненном, как силуэт у хоккеиста. Шупали плечи. Из чего они у тебя? Из поролон. Еще бы гребень выстричь, выкрасить разноцветными перьями. К концу вечера правда разукрасились, Иона в том числе. Огромные синие губы, обведенные фломастером, вдоль носа фиолетовая линия, его заостряющая, помадой расчерчены веки и уши, волосы взбиты, старушка, попавшаяся в тусклом коммунальном коридоре, охнув, прислонилась к стене. Иона растянула вампирский рот: «Не бойтесь», гулкий чужой голос. В маске утрачивается пол, свободно. Комната грохотала каблуками, как взбесившийся товарняк на железнодорожном перегоне. В соседней смежной бородачи на корточках рассуждали про экологию. На корточках Иона с ними немного посидела, произнесла пыльную речь, обменялись телефонами единства в движении, а потом пошла вытряхивать пальто из кучи.

Смыв краску в ванной, плюхнулась на чьи-то колени из-за подножки, которой ее подсекли и довольно больно:

Мы будем сегодня любить друг друга?

Перехватили у входной двери. Нырнула под руки. Еще пара предложений от неизвестных в метро, и на автобус. Иона решила прогуляться бабьей осенью с блистающей лунной. Ждет, пишет, ждет. Ах, воздух какой, парной, пряный, вот в лес погулять его никогда не вытащишь. Да какая прогулка вдвоем... Нет, одиночество, только одиночество. Все ведь испортит... Замечталась она, соизмеряя шаги и звездное небо, когда автомобиль ослепил, отчего на дороге, рванувшись в длину, метнулась ее силуэт. Вдоль шоссе лес, мотор подозрительно быстро заглох за спиной. Она оглянулась. Ускорила шаг. Сошла на тропу для пешеходов. За деревьями — забор детского сада, сторона глухая, но есть же калитка, ворота... Забиться в калитку, трясти, забор перемануть на стрессе. Иона застыла. Тихо, как тихо, куда делся автомобиль? В лес свернул, уехал? Нет там никакой дороги. Переступила... Безмолвные дома с позвонками освещенных подъездов... окно горит. По какому-то, непонятно какому опыту знала она, что кричать и биться в забор бесполезно. Нарочно не выйдут, согнувшись в три погребели, крикам внимая. Да и будить людей, когда на тебя еще не

напали, тоже как-то... Обходным путем, через лес бежать к автомату позвонить, чтоб вышел встретить!

На цыпочках, беззвучно подошла она к толстому стволу, глянув на кусты — зарыться бы в листву палую... однако как разумом допустить ползть тут в листьях?

Должно быть, крался он вдоль шоссе по перелеску, потому что вышел тогда, когда она хотела уж от дерева отделиться, посчитав, что сигнал тревоги сработал в ней вхолостую. Человек возник на шоссе, разъяренно озираясь, и, уже не скрываясь, загромычал по асфальту. Мимо пробежал и остановился подсеченно, медленно, медленно ногу, как в вату, занес ногу и медленно в ее сторону развернул, медленно, сомнамбулой, себе не веря, точно на то дерево пошел, за которым она стояла. Дерево в два обхвата. Ясень. Или вяз. Не могло быть видно ее. Медленно, медленно шел он, себе не веря. Чем-то иным были они для себя обнаружены, видимы. Декорациями из толстых стволов и заборов не заслонить. Иона все не могла допустить поверить...

Он подошел и обнюхал ее.

Что вам надо, — сказала она трезво и разумно, — идите своей дорогой.

Обнюхал!

И отныне она доверять будет только инстинкту! На цыпочках, беззвучно шла она к дереву, чтобы зарыться за ним в листву, это был приказ, в листву, зарыться в листву, но она его не выполнила!

Потому теперь и маячил перед ней наряд ее смерти. Хотелось потрогать белеющую остроту лезвия, чтобы убедиться, что не игра — нож и смерть.

Повернись и не оглядывайся, — голова как у палача наглухо в капюшоне, молнию застегнул под крутой подбородок, — будешь оглядываться, придется тебя убить.

Белое перышко в пряной теплой ночи, они его как бы не замечали, чтобы не пропороть ее плоть, а ему не пойти в рещтчатую нору, оба как бы балансировали, вслушиваясь в нечто.

Почти с отчаяньем он выкрикнул: — Нет, я все равно это сделаю, молчи! — богоборец, нелепо обхватив ее сзади (по сценарию вызубренному нужно было прятать лицо), и потащил, упирающуюся, в лес, отчего она категорически вцепилась в куст, увидев себя истыканной, истекающей темной кровью на темной траве — по цвету ночному единым, где-то рядом болото, вода и ручьи, от близости их можно быть и съеденной, если уж катиться по гамме вниз до последнего до и позора. (И жертва оказалась бы не менее виноватой!) — Лучше давай по-хорошему, он твердил. — Я там боюсь! — И, послушный, он повлек ее к фонарю, где всякий мог бы их обнаружить, проехав мимо. Там, под фонарем, не страшно. — Туда! — указала она

дорогой, передразнила она свой испытующий улыбчивый голос. — Скажи, есть ли разница в страсти твоей и того человека в капюшоне.

— Какого человека, милая.

— Того, который встретил меня однажды ночью, когда я решила в той ночи погулять, прежде чем вернуться к тебе. изменившему. Обидно, что перед этим было блаженное прошенное настроение, я ни о чем не думала, ничего не боялась, только не хотела идти домой.

— Это существенно, дорогая.

— Ты полагаешь.

— Разумеется. Насчет дома — это существенно.

— Я вот спрашиваю, есть ли разница, но разница, конечно, есть. С тобой его не сравнить. Возможно от моих de profundis он стал импотентом или был таков, но в остальном... ты понимаешь, о чем говорю? Он даже был нежнее, чем ты иногда. Я говорю о самом процессе. О том, что у вас внутри. Кстати, на садо-мазо не отзываюсь, теперь проверено.

— И напрасно. Многое теряешь. Мир надо познать.

— Все немеет, совершенно чужое тело, и мое, и его. Я только злюсь. Это гордыня?

— Злюсь и вижу, что земля пустынна, мы — два единственных на ней, одержимых похотью автомата, причем один, я, отдаться зову природы из-за гордыни не способен.

То есть из-за гордыни ли, или из страха, или просто не терплю унижений... пустая-пустая земля и два автомата, и никого, и главное, и не хочется, чтобы кто-то помог. Не хочу я ни от кого помощи... Почему так, дорогой? Ни стыда, ни-че-то... И вот в этом и ч е г о, чтобы было хоть что-то, надо было не бояться, надо было идти на нож. А я струсилась... Как же, поджилки затряслись. Как же так, взять меня и изъять.

И я стала взывать к Богу... Мужчину это потрясло, понимаешь, какой-то тут Господь вдруг объявился, он был просто ошарашен, сковался... так что Господь меня все-таки спас, раз меня не убил. Правда, может, и не собирался...

— А после я поняла, что это Господь явился ко мне в образе ножа, Господь — смерть, а я оказалась не готова. Как я старательно его не замечала!

— Ах, боже мой, интеллигентия, ведь этим же больше всего она страдает! Неготовностью. Проекция на все. Вот так ее угрожающе используют, власти просто ненавидят, впрочем, кого они любят, они так же и рабочих своих, и крестьян... а мы все стараемся вид делать, что не замечаем ножа, увливаем, чтобы потерь было как можно меньше, умники научились еще извлекать наслаждение, ах, какой кайф, когда тебе... придавят любимую мозоль, а потом ты кому-то... Могу отдать должное жизни, могу понять, что у нее своя задача, иначе она сделается импотентской и не сможет продолжиться, но я-то тут при чем?

— Ты всегда была чутка только лишь по отношению к себе.

— Я сказала, что злилась. Я не злилась, я просто никак не могла до конца понять. Ведь это чудовищно. Это невозможно! Ведь он у меня и Бога изъясил, от ужаса у меня мысль о Нем не затеплилась, не осветилась. А знаешь ли, когда по-настоящему испугалась. Знаешь ли, что мне еще все было и занято... А испугалась-то я не тогда

как же мягко, ненавязчиво, ловко заскользила на ночной сцене, как запорхала изысканно-томно, как бабочка, незаметно уходя от ножа, какой прелестный, нежный, обиженный, но и капризный голосок: «Туда»... Нож как сговор, право сильного, (и в какой-то момент он засомневался под ее вопли к его душе, но потом сказал: «нет, я все равно это сделаю, молчи!» и зажал ей рот, а она не укусила, она вообще не сопротивлялась, кроме слов: «Господи, Господи, помилуй...» (сговор, право сильного, к которому уже давно привычка, его право, принятое безоговорочно, никакого возмущения или испуга, как можно было бы ожидать, она приняла его как данность, едва взглянув на белый язычок, который и показан был как-то наполовину, как бы показан, прижат к ее ребрам и тотчас прикрыт, хотя он продолжал держать его в левой руке — левша? как тотчас уразумев его силу, сосредоточилась она уже на одном его владельце, манипулируя его мышцами, нервами и чувствами, и скользкая обходя всякое упоминание о ноже, как если бы его и не было, или как если бы он был непременно и всегда, а по-другому и быть не могло, если учесть, что реален был только нож, она же насухо всхлипывала, мимикрируя для его владельца, сразу сообразив, что лучше притвориться несчастной, что она тут ходит в ночи, потому что уже откуда-то изгнана и плачет, убивается, а вовсе не ищет приключений, а несчастна, несчастна, как он? «да оставьте вы меня, мне не до вас», даже пробормотала она бредово, «вы что, не видите, не понимаете?», притопнула она в отчаянии (но по какому-то иному, не его поводу): «Пусти!» Готова была она вылить на него всю обиду на всех мужчин, а он, еще один, ее уламывал... будто был у него еще шанс ее убедить... или добить окончательно, что одно и то же. И он ошутимо было поехал, но встряхнул головой: «Нет, я все равно это сделаю!», запрограммированный автомат, набитый болванской идеей: — Я еду, я красив, я еду, я красив, я все могу... Механизм, обсыпанный индийским тальком. Это охота — нервы напряжены. Это наконец-то настоящая жизнь, как в кино. Ближний свет выхватывает фигуру на шоссе, тень от нее длинная едет по асфальту и придорожным кустам, прыгает назад, и я тоже — бросаю кар в лес, нож из кармана выскакивает от шелчка, — крадусь, это наконец-то настоящая жизнь как в кино!

и хорошо, что достаточно темно, блеск ее сухих глаз он не видит, а то бы этот фильм был бы для него слишком сложен. Не по зубам интеллектуален.

Нет, и это не то... подумала под лживые всхлипывания, стоя в траве на коленях под фонарем, когда он там переломился в ней и запульсировал. Одна ее голая половина ждала-таки, что в нее всадят острое, хотя он и оглаживал там ее, добравшись, с лепечашей нежностью, которая рвалась из него, рука его пробралась под одеждой и заласкала ее грудь, и приостановившись и застонав, он поднял ее, чтобы целовать в шею

непонятно вообще, кто как себя поведет. Приятельницы вели себя по-разному. Одна спряталась в строительную канаву, легла на глиняное чмокающее дно в пальто из светлого драпа, прижимая две сумки с продуктами, — голоса покружили в тумане, матерясь, и ушли. Другая обманула. Затеяли за ней гонку на автомобиле в четвертом часу утра. Охоту за ней затеяли среди высоток микрорайона. Она сына своего встречать с поезда шла. Из спортивного лагеря в Нальчике. Сын приехал с рюкзаком и сумкой самостоятельно, потому что мать его до утра в чужом холодном подъезде на самом верху время от времени нажимала кнопки звонков, когда внизу взвизгивал тот же автомобиль, и ни одна дверь не отворилась,

Непонятно, кто как себя поведет. Третья отлежалась с сотрясением мозга, стукнули в ее подъезде же, вырвалась. Четвертую в полумраке можно принять за мужчину, старые люди так определенно ошибаются, называя «молодым человеком», и конфузливо извиняются, услышав голос. Полный конфуз от мира, где пол неразличим. Ты заметила, какие в последнее время стали странные человеческие фигуры?

А пятую вообще-то говоря и полезно бы когда не получилось сзади и стоя, да еще нож в левой руке, сказал: «Встань на коленочки»... Иона не могла не усмехнуться.

Эта способность на все — кажущаяся, в этом спасения нет. Спасение и мужчины и женщины в том, что женщина проклята — проклятие ее в вынужденности любить. Без сердца — мало что получишь. Без сердца — высвободишься, как вытряхнешься, удовольствие из низких. Стоя на коленях под фонарем, зацепившись взглядом за свет в мужнином окне («Да помоги же»... импотентски простонал он), Иона ему не встала, но упустить столь потрясающий случай, чтобы не пронаблюдать за собой, за действием и эффектом насилия, как там не отзовется ли необычно... и понемногу все же к нему приладилась, так что получилось вполне «похорошему», как он твердил со своим ножом.

Измену бы Ион пережил, изнасилование нет. В изнасиловании виновата она сама. Что ей до бандоги, гораздо больше ее интересует, собственно, Ион. Она теперь не в силах понять, чем отличается похоть человека в капюшоне от страсти ее любимого

нет, нет, так нельзя, невозможно так... бежала Иона по улицам с ясным сознанием, пока адреналин поступал в кровь, и твердила: так нельзя... так нельзя, невозможно так, — но как бы отдельно от себя, и наконец собранно прекратила бег и всхлипывания — мимикрию, наедине с собой не требуемую, вдруг поняв настолько простую истину, что жаль, что ее не изнасиловали раньше...

Врожденной хитростью, отнюдь не героически, выкарабкалась она без особых потерь, благодаря удачной игре (составляющие: ум, образование, вся, так сказать, культура), без боли и оскорблений, даже с приобретением — опыт же. Но не все так хитры и изворотливы, не все, наивные души, прячутся за деревьями, слыша приказ зарыться в листву, когда еще и угрозы не видно, не всем честь и бесчестие не составляют различья, не все, словом, так далеко продвинулись, но жить должны, и жить, и продолжать жизнь, и вопрос тут один — ты за или против жизни

о мой любимый, о смысл, о счастье жизни моей, чем же секс твой, мой любимый, отличается от секса того человека в капюшоне? Да ничем!

(Окончание следует)



ХІ
ИЗ ЦИКЛА «ДРУГ МОИХ ДРУЗЕЙ . . .»

РОДНИК

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА

